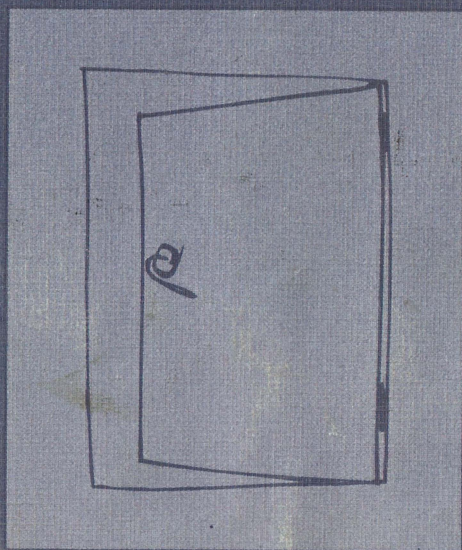



Поляки и русские



В глазах друг друга

Российская академия наук
Институт славяноведения
Польская академия наук
Институт литературных исследований
Институт «Открытое общество»

Поляки и русские в глазах друг друга

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2000

Редакционная коллегия:
И.Е. Адельгейм, Б.В. Носов
В.А. Хорев (ответственный редактор)

Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В. А. Хорев.
М.: Изд-во «Индрик», 2000. – 272 с.
ISBN 5-85759-119-8

За многовековую историю русско-польских отношений с обеих сторон сформировались достаточно устойчивые негативные стереотипы, поддерживаемые как той или иной идеологией, так и исторической памятью о конфликтах. Это проявилось в народной культуре, в литературе и искусстве, в исторических исследованиях. В то же время в русском и польском обществах существовала тенденция к взаимному объективному познанию истории и культуры народов, к преодолению негативного восприятия поляков русскими и русских поляками.

Весь этот комплекс проблем и является предметом исследования авторов коллективного труда, в основу которого положены материалы российско-польской научной конференции «Восприятие поляков русскими и русскими поляками», состоявшейся в Москве в конце 1997 г.

© Институт славяноведения РАН, 2000
© Оформление. Издательство «Индрик», 2000

ISBN 5-85759-119-8

Содержание

<i>От редколлегии</i>	5
<i>Я. Мачеевский</i> Стереотип России и русских в польской литературе и общественном сознании	6
<i>В. Хорев</i> Имагология и изучение русско-польских литературных связей.....	22
<i>В. Мочалова</i> Польская тема в русских памятниках XVI в.	33
<i>С. Фалькович</i> Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка	45
<i>Б. Носов</i> Представление о Польше в правящих кругах России в 60-е гг. XVIII в., накануне первого раздела Речи Посполитой.....	72
<i>Е. Цыбенко</i> Русская литературная критика второй половины XIX – начала XX в. о русско-польских отношениях.....	83
<i>М. Понксиньский</i> Русские и Россия в польской культуре конца XIX – начала XX вв.....	93
<i>Л. Горизонтов</i> Выбор носителя «русского начала» в польской политике Российской империи. 1831–1917	107
<i>А. Липатов</i> От «ублюдка Версальского договора» до «братской страны соцлагеря» (государственное искусство и идеологические стереотипы)	117
<i>Зб. Ярославский</i> «Советский человек» в польской соцреалистической поэзии	133
<i>И. Адельгейм</i> «Расширение речи» (Иосиф Бродский и Польша)	144

<i>З. Зентек</i>	
Игорь Неверли и проблематика польско-русских стереотипов	154
<i>Т. Агапкина</i>	
Польша по путевым впечатлениям русских писателей (стихи и очерки 30-х – 70-х гг. XX в.)	164
<i>В. Тихомирова</i>	
Россия и русские в польской лагерной прозе	184
<i>С. Мусиенко</i>	
Русская литература в творчестве Марии Домбровской (Домбровская и Л. Толстой)	197
<i>О. Цыбенко</i>	
Русские поэты Серебряного века о польской культуре (Игорь Северянин)	204
<i>Т. Добжиньская</i>	
Поэтические способы концептуализации: образ Есенина в стихотворении Тадеуша Кубяка «Ваганьковское кладбище»	217
<i>О. Белова</i>	
«Лях-девятьденник» и «москаль-людоед» (представления этнических соседей друг о друге).....	226
<i>Е. Левкиевская</i>	
Конфессиональный образ поляка в русской народной и письменной традиции.....	231
<i>Л. Софронова</i>	
Образ поляка на русской и украинской сценах XVIII в.	239
<i>Ю. Лабынцев</i>	
Белорусско-русская идея во II Речи Посполитой: Церковная, политическая и литературная деятельность сенатора В. Богдановича	252
<i>Л. Щавинская</i>	
Восточнославянское, польское и западноевропейское в литературной культуре Подляшья XV–XIX вв.....	264

От редколлегии

В октябре 1997 г. в Москве состоялась польско-русская научная конференция «Восприятие поляков русскими и русских поляками». Она была организована Институтом славяноведения Российской академии наук совместно с Институтом литературных исследований Польской Академии наук и состоялась благодаря финансовой поддержке Института «Открытое общество».

Помимо сотрудников двух академических Институтов с докладами на конференции выступили полонисты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова проф. Е.З. Цыбенко и доц. В.Я. Тихомирова, проф. С.Ф. Мусиенко из Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.

Зачитанные на конференции доклады и составляют содержание сборника, предлагаемого вниманию читателей как совместный труд русских и польских исследователей-полонистов.

Статьи сборника, несмотря на широкий диапазон рассматриваемых в них тем, объединены вокруг основной проблемы: взаимного восприятия поляков и русских (прежде всего в художественной литературе, но также в исторических трудах, публицистике, путевых заметках, дневниках и письмах, в некоторых видах искусства) в разные исторические периоды.

За многовековую историю польско-русских отношений с обеих сторон сформировались достаточно устойчивые негативные стереотипы, поддерживаемые как той или иной идеологией, так и исторической памятью о конфликтах.

В то же время в русском и польском обществах существовала тенденция к взаимному объективному познанию истории и культуры народов, к преодолению негативного восприятия поляками русских и русскими поляков.

В настоящее время в связи с обновлением общественной жизни в России и Польше эта проблема является особо актуальной и вызывает большой интерес в научных и политических кругах. По ней в России и Польше идут оживленные дискуссии. Дискуссионность, проистекающая из поисков научной истины, отличает и многие статьи настоящего сборника. Но именно наличие разных точек зрения, разных авторских позиций будет, на наш взгляд, способствовать всестороннему и тщательному изучению сложных литературных и культурных явлений, а также выработке новых теоретико-методологических подходов к освоению богатейшего материала русско-польских культурных и литературных взаимоотношений.

Стереотип России и русских в польской литературе и общественном сознании

1. Первые контакты поляков с русскими

Эта тема не раз поднималась в историко-культурных исследованиях – ее касались авторы многих научных и публицистических работ¹. Так, недавно появились две книги, целиком посвященные проблематике взаимных представлений русских и поляков: «Лях и москаль» Анджея Кемпиньского² и «Полячишки и москали» Антония Гизы³. Однако, апеллировали они, особенно первая, к традиционным образам соседней нации, «закодированным» в ментальности обоих народов. Кемпиньский использовал главным образом пословицы и поговорки, в меньшей степени черпая материал из литературы⁴. Опираясь, разумеется, в своей статье на работы предшественников, я обращаюсь прежде всего к литературе и другим письменным источникам. Я также использую живую традицию, услышанные мной мнения о русских, рассказы о контактах с ними (моя семья по обеим линиям происходит из бывшего Королевства Польского) и даже – отчасти – собственный опыт и наблюдения.

История стереотипа русского в польской ментальности насчитывает пять столетий. До этого его не выделяли из древнерусской общности, а стереотип давнего русина создавался на примере украинцев. С этими соседями и общались в Средневековье поляки – контакты бывали и мирными (частые браки Пястов с украинскими княжнами Древней Руси и Рюриковичей с польскими), и военными. Русином был для них галичанин, а затем киевлянин. Остальная территория, последним властителем которой до периода раздробленности был Ярослав Мудрый, средневековому поляку была просто неизвестна. Европейская слава Великого Новгорода берегов Вислы практически не достигала, а о Тверском, Владимирском, Московском княжествах там, скорее всего, и вовсе не слышали. Даже белорусов, значительно более близких территориально, поляки не выделяли из древнерусской народности. Скорее всего, в то время еще не вполне осознавалось, что сами русины уже делят себя на мало-, велико- и белорусов.

Поэтому только на исходе XIV века, после заключения союза Польши с Литвой стали отличать русинов, оставшихся вне владений Гедиминовичей-Ягеллонов, от тех, вместе с которыми создавалось общее государство, названное вскоре Речью Посполитой Обоих Народов (хотя на самом деле оно было Речью Посполитой по крайней мере четырех народов – не считая пруссов и инфлянтов). Впрочем, граница между теми и другими русинами

долгое время была подвижной. (Ведь под властью Литвы в XV веке оказались Смоленск, Курск и даже Вязьма.) Она установилась лишь в XVI в., после войн Стефана Батория с Иваном Грозным. Причем установилась окончательно – принимая во внимание, что и сегодня граница между Россией и Украиной, Россией и Белоруссией проходит (с небольшими отклонениями) приблизительно так, как в конце XVI в. проходила граница между Речью Посполитой и Московским царством.

Тогда и начал формироваться стереотип «*rosjanina*», хотя самого слова еще не было. Оно появилось в польском языке, как известно, только в XVIII в. Поскольку понятие великороссов, как они сами себя называли, не прижилось в Польше, название народа образовано от названия государства. Его властители носили титул сначала великих князей, затем царей московских. Поэтому и их подданных стали называть – «*Moskwicini*» или «*Moskale*». Эти определения не имели тогда уничижительного оттенка, возникшего позже, в XVIII, а особенно в XIX в. Одновременно с ними использовался и прежний термин «*Rusin*» – хотя и гораздо реже, так как постепенно осознавалась его неточность. В XVI, а особенно в XVII в., это название все чаще стало применяться исключительно по отношению к белорусам и украинцам. В течение XIX в. слово «русин» постепенно стало синонимом «украинца». (Удивительная вещь: хотя сами украинцы уже в XVII в. стали себя называть именно так, в Польше с трудом воспринимали это определение как национальное, а не региональное. Такая точка зрения отчасти сохранялась еще в межвоенном двадцатилетии. Официально украинцев во II Речи Посполитой называли русинами.)

Несколько иначе выглядело дело с прилагательным «*ruski*». Возможно, под влиянием русского языка это определение до сегодняшнего дня трактуется как менее обязательный синоним прилагательного «*rosyjski*». Исключительно в сленге существует еще и определение «*rusiek*», имеющее уничижительный оттенок.

Возвращаясь к стереотипу москвитянина, как он начал формироваться в XVI в., надо отметить, что на его характер оказывал большое влияние тот факт, что контакты поляков с Россией тогда были прежде всего военными. Торговые пути в то время Польшу и Москву не соединяли, путешествовали также мало. Ситуация стала меняться только в XVII в., а особенно в XVIII столетии. Радикальные же изменения относятся к XIX в.

Стереотип этот трансформировался по мере того, как менялась драматическая история взаимоотношений двух народов. В этом отношении моя точка зрения не совпадает с мнением А. Кемпиньского, в названном выше исследовании трактующего его как неизменный во всех его исторических воплощениях.

Безусловно, существовали в этом стереотипе и постоянные элементы. В общих чертах это – противопоставление польской свободы и россий-

ской неволи, польского безвластия и российского деспотизма. Образ покорного, терпеливо сносящего все притеснения и даже произвол власти русского человека подтверждали факты из эпохи правления как Ивана Грозного или Николая I, так и Сталина. В то же время, то, что могло бы разрушить подобный образ, оказывалось либо отдельным эпизодом (например, деятельность декабристов, конституционных демократов начала XX века, весна и лето 1917 г.), либо относилось к историческим периодам, остававшимся вне сознания поляков – как, например, традиция Великого Новгорода. В течение всего Средневековья этот город-государство был главным центром великороссов. Москва-смогла соперничать с ним только в XV в., незадолго до того, как подчинила себе Новгород в царствование Ивана III, а затем уничтожила его в XVI в. в правление Ивана Грозного. Стереотип русского, будь он создан на примере новгородцев, мог оказаться очень похожим на автостереотип поляка. Политическая структура этого государства в XIV и XV в. и польского в XVI и XVII вв. были практически идентичны (сословная демократия, глава, избираемый голосованием, договоры, заключаемые с ним, подобные польским «*pacia conventa*», вече и министры, ограничивающие власть князя, и т. п.).

Однако в конце XV в., прежде чем поляки получили возможность ближе познакомиться со спецификой Великого Новгорода⁵, государство вошло в состав абсолютистского Московского царства, а через сто лет его столица была разрушена. Поляк просто не успел узнать, что самодержавие – не единственная традиция великороссов. (Кстати, подобным образом обстоит дело с сегодняшней ситуацией: в Польше не вполне осознают, что с этими традициями ничего общего не имеет и Россия Ельцина – с той разницей, что теперь у поляков больше шансов утвердиться в этом мнении, чем в прежние времена.) Ведь в истории нашего соседа проявлялась, несмотря ни на что, и традиция демократической мысли, да и сам царский абсолютизм имел разные облики: известны и относительно либеральные его разновидности – как, например, начало царствования Александра I или Александра II.

Таким образом, в течение всех пяти веков существования стереотипа России в нем присутствовал один постоянный элемент – убежденность в том, что русский прирожден терпеть несвободу и притеснения со стороны властей. Эта точка зрения определила также характер образа северо-восточного соседа Речи Посполитой еще у его истоков. Он ясно прочитывается в «Записках о московской войне» Рейнгольда Гейденштейна, «Походе на Москву» и XIII Песне из «Вторых Книг» Яна Кохановского, в которой автор противопоставляет человеческому и дружелюбному по отношению к своим подданным польскому королю Ивана Грозного – надменного «тирана северного края».

Заметим, что такая характеристика русского властителя не помещала тому же Кохановскому несколькими годами ранее, во время второго междуцарствия, предложить Ивана или его сына на польский престол. Россию оценивали как деспотичную – в отличие от Польши – страну, но не опасались ее. Кохановский, очевидно, считал, что оказавшись в свободной Польше, царь подчинится господствующим там ценностям и – подобно Ягелле двумя столетиями ранее – не станет насильно вводить у нас самодержавие.

Специфика России не воспринималась в тот период как что-то угрожающее Польше. Более того, она и не подвергалась тогда особенно резкому осуждению. Конечно, «тирания», «*absolutum dominium*», несвобода воспринимались в Речи Посполитой отрицательно. Но они господствовали в большинстве стран известного тогда мира, не являясь отличительными чертами одной лишь России (ситуация изменилась в XIX в.). В определенном смысле это была норма, которую – в позитивную сторону – нарушала лишь Речь Посполитая. (Отсюда уверенность поляков в том, что они находятся под особой защитой Бога.)

Сама же жестокость, наблюдавшаяся в государственном устройстве Московской Руси и в обычаях ее жителей, считалась следствием не только человеческих особенностей, но и объективного фактора – климата. Россия для поляка XVI и XVII вв. ассоциировалась не с Востоком (как в XIX или XX вв.), а исключительно с Севером. Восток – это Турция и Крым, то есть мусульманский мир. Север же – это долгие зимы, морозы, ветры, плохо поддающаяся обработке земля, – одним словом, нелегкая жизнь, порождающая суровость нравов. Вот как другой поэт, уже середины XVII в., характеризует русских:

Есть на Севере народ огромный, живущий просторно,
Его не ограничивает, кажется,
Даже ледовитое море, там утренние зори
Поздно восходят, а дальше земли безлюдные.
Посмотришь на его лицо: непривлекательное и грубое.
Старый это, однако, народ, который больше известен
Своей жестокостью, чем другие народы, и живет на своей земле
Испокон века, и имеет сильную армию.
Где-то после потопа спрятал он свои семьи
В глубокую тень и далекие жилища.
И без сомнения, живя в таком уединении
От мира, где и сам Аквилон их защищает,
В вечном холоде, окруженный со всех сторон
Сарматскими необъятными чашами, которым, наверно, и не снились
Никогда римские секиры, боевая готовность
Персидских монархий и Александров.

Но живя от века в этой своей грубости, по сравнению
 С европейскими странами, свое устройство и свои обычаи,
 И имя свое, и принятую с Востока веру
 Сохранили до сих пор⁶.

Прежде чем Самуэль Твардовский из Скшипны в своей поэме «Владислав IV» так охарактеризовал русских, произошли исторические события, благодаря которым поляки смогли очень хорошо узнать своих соседей. Это был период «смуты».

Многие тысячи граждан Речи Посполитой находились тогда – нередко по несколько лет – в государстве Московском. Они составляли значительную часть армий самозванцев – воевали в корпусе, поддерживающем притязания королевича Владислава на царский трон. Хватало и действовавших на свой страх и риск обыкновенных авантюристов, грабивших и мародерствовавших, пользуясь временной слабостью России в период «великой смуты». Эта «деятельность» наших земляков в государстве Московском внесла решающий вклад в кристаллизацию у русских негативного образа поляка-притеснителя. Этот стереотип оказался исключительно устойчивым – его следы можно обнаружить еще сегодня. (Причем, связывался он именно с поляками, хотя среди притеснителей были также литовцы, белорусы и украинцы – последние составляли даже большинство, по крайней мере в армии Дмитрия Самозванца.)

В то же время события начала XVII в. значительно углубили знания Речи Посполитой о России. Она представлялась огромной страной – богатой, но относительно слабой: хотя в конце концов поляки и украинцы и вынуждены были уйти не солоно хлебавши (а многие погибли), в течение многих лет большая их часть свободно рыскала по огромной территории, возвращаясь с добычей. По сути, поражение потерпели войска интервентов, а не само польско-литовское государство, которое, сохранив мир, расширило свои границы (например, на несколько десятилетий вернуло себе утраченный в XVI в. Смоленск).

Все это привело к тому, что на русских стали смотреть свысока в еще большей степени, чем раньше. Правда, влюбленный в свои свободы польский шляхтич так же свысока смотрел и на немцев или французов. Собственно говоря, уважительно он относился только к туркам, искренне их при этом ненавидя. По отношению к христианским народам такой ненависти или даже неприязни первоначально не было (при Яне Казимире и Собеском она временно появилась в отношениях с французами). Что касается русских, то накапливались новые их черты и характеристики. Прежде всего, их культура расценивалась теперь как более низкая, чем культура собственная и культуры тех стран, вместе с которыми поляки переживали период Воз-

рождения. (А такое чувство превосходства отсутствовало во времена первых контактов.) Затем стали ощущаться конфессиональные различия. Это было связано прежде всего с эволюцией религиозных отношений в самой Речи Посполитой. В XVI в. православие не могло восприниматься как чуждое – оно было вероисповеданием почти половины жителей Речи Посполитой, кроме того, в стране было огромное количество протестантов. Но в меру того, как число последних убывало, а среди приверженцев восточного обряда стала распространяться уния, «польскость» все больше стала отождествляться с католицизмом. И тогда «схизматичность» России начала ощущаться как знамя чуждости, особенно когда она стала выступать в роли защитника православных, в конце существования Речи Посполитой уже весьма немногочисленных.

Итак, поляки воспринимали русских как чужих. Их оценивали как народ, отличавшийся рабской покорностью, более низкой культурой, чуждой религией, а также другими – более или менее заметными – особенностями и пороками. Но не было ни ненависти, ни страха (присутствовавшего в отношениях с Турцией или Швецией) – хотя последующие войны с Москвой, в царствование Яна Казимира, не были для Польши успешными. Об этом свидетельствуют произведения литературы XVII в.: от мемуаров Станислава Жулкевского «Начало и развитие московской войны» через поэмы Самуэля Твардовского до «Воспоминаний» Яна Хризостома Пасека. (А среди них – и первый рассказ о Сибири.⁷) В числе их персонажей много русских, но отношение к ним партнерское, еще лишенное появившейся впоследствии обиды. Его можно назвать даже несколько снисходительным. Ярче всего его демонстрирует первая энциклопедия, появившаяся в эпоху королей саксонской династии, – «Новые Афины или полная Академия всяческих наук...» ксендза Бенедикта Хмелевского. Во «Второй части» ее читаем о русских: «Слова своего не держат, к пьянству склонны, карающих благодарят, мести не замышляют. Простой это был недавно народ, теперь же, при Петре I Алексеевиче, большой приобрел глянец – царь в молодом возрасте с интересом посетил Австрию, Саксонию, Пруссию, Голландию, Англию, Францию, привез оттуда в свое государство людей благовоспитанных, с их помощью московских грубиянов просветил, открыл политические школы, семинарии для просвещения шляхты в грамоте и политике, основал новые города, крепости, торговые заведения <...>. Пуще всего такой навел среди своих подданных строгий порядок битьем батогами, кнутом, отсечением голов <...>. Императорский и всякого начальства приказ они почитают словно глас Божий, выполняют, словно их в пекле пытками подгоняют...»⁸.

2. Брат – враг

Во второй половине XVIII века Россия открывается для поляков с новой стороны – в качестве притеснителя, угрожающего независимости их государства. Возможность оказывать силовое давление и вмешиваться во внутренние дела Польши она получила еще при Петре I, однако опасность не сразу была замечена. Ее осознали только во время правления Станислава Августа, когда могучий сосед проявил себя в роли захватчика и агрессора, а слабая Польша вступила в неравную борьбу за свою независимость. Поляк стал воспринимать русского соседа как главного врага и обидчика. Эту роль окончательно перестали играть Швеция и Турция, зато вновь выступили немцы – уже на втором месте, после русских. В столкновениях русские оказывались сильнее, что очень травмировало поляков. Унизительное положение они пытались компенсировать, подчеркивая, даже вопреки очевидным фактам, свое превосходство (отсюда мессианизм), упорно выискивая все, что могло бы свидетельствовать о низком уровне русских, перечисляя их действительные и мнимые недостатки, отказывая им не только в достоинствах, но и в обладании какими бы то ни было нейтральными чертами. Появляются негодование и оскорбительный тон, совершенно отсутствовавший в прежних высказываниях о «москалях». В одном из текстов периода барской конфедерации, за описанием насилия, учиненного российскими войсками над гражданским населением и духовенством города Беча, следуют такие слова: «Ты, читающий это, кем бы ты ни был, если что-нибудь есть в тебе человеческое, задумайся и присмотришь хорошенько: разве ты можешь увидеть хоть маленькую искорку человечности в этом разнузданном сброде, взросшем на севере среди самых хищных зверей? Содрогнись от горя, Святая Добродетель, и посмотри – разве у этого мерзкого стада есть с тобой хоть что-нибудь общее? Обливайся кровавыми слезами, опечаленная Отчизна, оттого, что еще перед твоей кончиной дикое бешенство разрывает и терзает твои внутренности»⁹.

Конечно, разделы Польши, присоединение большей части Речи Посполитой к самодержавному государству, русификация и кровавые расправы, которыми завершались очередные восстания, привели к тому, что образ русских стал прежде всего образом врага, захватчика, палача (резня в Праге в 1794 г.). Желание порвать с ним всякие связи было естественной реакцией. И в то же время это был народ славянский – то есть брат. (Особенно ясно осознавали это романтики, придававшие национальному и племенному родству огромное значение.) В этой ситуации возникли две тенденции. Приверженцы первой из них, наиболее радикальной, не отвергая биологического подхода, заявляли, что насилие русских над польским народом, с духовной точки зрения, перечеркива-

ст всякое «семейное родство». Райнольд Суходольский в «Полонезе», популярном во время ноябрьского восстания 1830 г., писал:

Кто сказал, что москали –
Это братья нам, лехитам,
Первым в лоб тому пальну я
Пред костелом Кармелитов¹⁰.

(В бывшем монастыре кармелитов при Великом Князе Константине была государственная тюрьма.)

Сходную позицию в XIX в. (особенно в моменты конфликтов) занимали многие поляки – возможно, даже большинство из них. Из крупных писателей к ней был близок Зыгмунт Красиньский, полный ненависти и презрения ко всем русским и не видевший для них места среди европейских народов.

Но была и другая точка зрения, предлагавшая различать царизм и обслуживающие его высшие слои – и русский народ. Ее приверженцы считали, что народ не несет ответственности за преступления своего государства и по-прежнему остается братским. За преступления отвечает только власть, точно так же притесняющая и угнетающая простых россиян. Власть очень охотно исключали из славянского общества. В качестве главного аргумента при этом приводили заметное участие немцев в управлении российской армией и администрацией, а также тот факт, что начиная с Петра III и Екатерины II немецкой была сама царская династия (только формально Романовых, на самом деле – Голштин-Готторпская).

Из выдающихся поляков такой точки зрения придерживался Мицкевич. Она ясно прочитывается в «Отрывке» III части «Дзядов» и многих других его высказываниях. Близок к ней был и Словацкий. Впрочем, она имела и более массовое распространение. Это подтверждают символические похороны пяти казненных декабристов, состоявшиеся в Варшаве в дни ноябрьского восстания. В то время родился и лозунг «За вашу и нашу свободу», который при зарождении своем был адресован именно русским. Это было связано с мессианскими иллюзиями, согласно которым поляки выполняют специальную миссию демократизации России. Поэт-романтик Кароль Балиньский писал в стихотворении «Прощание»:

Куда бы ни забросил нас царский приговор,
Мы обманем его спесь.
Мы несем с собой права человека!
Мы несем чуму свободы!¹¹

Накануне же январского восстания публицист пророчествовал: «Этот несчастный русский народ, невольник чужой династии, имеет великое будущее. На земле Суворовых родились Рылеевы и Пестели, а когда русский народ пробудится вполне, тогда победит идея свободы и вольности народов – идея, провозглашаемая и проповедуемая Польшей»¹².

Тенденция видеть источник зла исключительно в царском правительстве, а не в русском народе, была политически выгодной, но не всегда находила подтверждение в действительности. Были отдельные эпизоды (и даже периоды), когда русские открыто выражали угнетенному народу свою симпатию, а были и моменты усиления антипольских настроений в обществе – как это произошло, например, после 1863 г. В таких случаях и поляки возвращались к позиции радикального отрицания *всякой* России.

Надо сказать, что на протяжении рассматриваемых полутора столетий взаимоотношения двух народов претерпевали значительные изменения. В начале XIX века был период, который мог предвещать совсем иное развитие этих отношений. После третьего раздела оказалось, что наибольшие свободы поляки получили как раз в русской части Польши. Если на землях, отошедших к Пруссии и Австрии, происходила форсированная германизация всех областей общественной жизни, то под властью Павла I и Александра I польский язык удержался в учреждениях и образовании, сохранялись и остатки шляхетского самоуправления. После 1815 года именно русский царь настоял на том, чтобы Венский конгресс сохранил большую часть Варшавского княжества как автономное образование, возвратив даже ему название Королевства Польского (во главе с Александром в качестве конституционного правителя). Александра поляки почитали тогда избавителем, а России готовы были простить все обиды. Первые годы Королевства Польского – время интенсивного партнерского сближения двух народов, открытости во всех дискуссиях, касавшихся прошлого. К сожалению, период этот оказался коротким, хотя и имевшим определенное влияние на дальнейшее развитие стереотипа русских в Польше. Но поправка конституции привело к ноябрьскому восстанию 1830 года, затем – к январскому 1863 года, к установлению политики, ведущей к полному поглощению Россией «Привисленского края» и русификации поляков. (Следует напомнить, что после 1832 г. было ликвидировано как особое государственное образование Королевство Польское, закрыты университеты в Варшаве и Вильно, распущено Общество друзей науки, вывезены в Россию библиотеки, введено военное положение, сохранявшееся на территории, аннексированной Россией, весь XIX и начало XX века с интервалами в несколько лет. После 1864 г. были закрыты польские средние школы, польский язык запрещен в государственных учреждениях, а в конце

концов – даже в начальной школе. Цензура наложила запрет на все области политической жизни и большую часть общественной. Темой-табу стала новейшая национальная история. Даже использовать слово «Польша» было запрещено.)

Все это, разумеется, не могло не вызвать ответной реакции. После военных поражений она выразилась в пассивном, но весьма продуктивном сопротивлении. Оно имело две формы. Прежде всего – создание альтернативных национальных структур: домашнего воспитания, частного начального, среднего, а порой и высшего обучения («Летучий университет» в Варшаве). К счастью для поляков, Россия XIX в. была хотя и полицейским, но не тоталитарным государством. С определенными ограничениями, но сферу частной жизни она уважала. В ее экономике действовали рыночные законы, признавалось право собственности. Следовательно, она не могла трактовать домашнее обучение как нелегальное, не могла запретить издания частных газет на польском языке, польские театры и пр. Сложилась парадоксальная ситуация: в стране, где официальным языком был русский, бурно развивались польская периодика, литература, театр. Не смогли зато удержаться ни одна русская газета (кроме субсидированной государством), ни один русский театр, а прибывавшие в Варшаву с целью русификации чиновники и военные становились завсегдатями польского театра.

Последнее обстоятельство было связано с другой формой сопротивления: с бойкотом всего русского. Он касался не столько личных контактов (хотя и это имело место), русских газет и театров, сколько игнорирования окружающей действительности, враждебной по отношению к полякам. Поскольку вместо «Польша» следовало писать «страна» – избегали и слова «Россия». (Вокульский в «Кукле» Пруса торгует с «империей» или «востоком».) Литература, в других отношениях реалистическая, создавала своеобразную «не-реальность»: в изображавшейся ею современной Польше отсутствовали российские полицейские и вывески на кириллице. Очень редко мелькнет какой-нибудь простой, добрый русский, например, купец из Москвы, с которым герой романа познакомился в Сибири (впрочем, как они оба там оказались, остается неизвестным). Цензура не позволяла писать о том, что было существенно для национальной жизни поляков – в качестве реванша последние игнорировали царское правление и Россию вообще. Этот – хотя и стихийный – бойкот соблюдался с необычайной тщательностью и выдающимися писателями (например, Ожешко, Прусом, Сенкевичем), и писателями «второго-третьего ряда». Никто не смел его нарушить.

Русская часть Польши являлась тогда главным центром польской культуры, но последняя развивалась также и в эмиграции, и в других частях Польши. Австрийская часть Польши получила... после 1866 г.

широкую автономию и полную возможность национального развития. В Париже, в Галиции и даже в Познани поляки о России могли писать свободно. Но ситуация в Варшаве и Вильно способствовала тому, что ее образ был однозначно негативным во всех аспектах – моральном, культурном, политическом. Что касается последнего, России прежде всего отказывали в праве возглавлять славянские народы. Более того, была поставлена под вопрос сама принадлежность русских к славянам. Парадоксальным образом, это происходило тогда, когда и русские склонялись к мысли о том, что поляки – предатели славянства, прислужники латинского Запада, заслуживающие исключения из славянской общности.

Распространенным стало представление поляков о русских как об азиатах, наследниках татаро-монгольского государственного уклада или даже их прямых потомках, лишь с небольшой примесью славянской крови. Дошло до того, что к народу, который испытал почти трехсотлетнее жестокое татарское рабство, в известной песенке времен январского восстания обращались: «Прочь в Азию, потомки Чингисхана!».

Эта точка зрения существовала на уровне обыденного сознания. Но формировались и «научные» теории, исключавшие русских из славянства. Эмигрантский публицист и этнограф Франтишек Духиньский выдвинул тезис о «туранском» происхождении русского народа. Так он назвал завоеванные великими киевскими князьями в XII веке и их потомками угро-финские племена, населявшие верховья Волги. По его мнению, именно они, поверхностно, лишь в языковом отношении «славянизированные», и были настоящими предками сегодняшних русских, вошедших в себя и другие уральско-алтайские племена, унаследовавших их черты, принципиально отличающие их от славянских русинов¹³.

К счастью, несмотря на неблагоприятную политическую ситуацию, не все поляки второй половины XIX в. погрязли в радикальных антирусских настроениях. Продолжала находить своих последователей и позиция, различающая народ и власть. Раздавались также здравые голоса тех, кто понимал, как опасна ненависть для того, кто ее испытывает. Этой точки зрения придерживался Циприан Норвид. Он полемизировал с теориями Духиньского, предостерегал от нравственных aberrаций, связанных с тем, что молодые поколения «сначала воспитываются в традиционной ненависти к москалям <...>, потом учатся любви к ближнему по сухо-официальному катехизису»¹⁴. Норвид разъяснял полякам, что русские (а также немцы) останутся нашими соседями и после обретения независимости. «Хотя бы мы сегодня победили Москву, то ведь завтра мы вступим с ней во взаимоотношения и даже взаимодействие – так как мы не остров, окруженный морями, мы должны принять объективные условия, в которые поставлены»¹⁵. Стоит уже сейчас работать на будущее добрососедство, доказывал он.

Был, впрочем, и еще один фактор – обыкновенные человеческие отношения, существенно влиявшие на стереотип русских и модифицировавшие его в польском сознании. Его можно обозначить формулой Мицкевича:

3. «Друг – москаль»

И здесь мы приходим к следующему важному наблюдению. Ведь все, о чем говорилось применительно к XIX в., было лишь одной стороной медали. Но в Королевстве Польском или в Литве поляки, даже дружно бойкотируя русских, отвергая их прессу и литературу, не посещая их театры, все же постоянно с ними контактировали. Они не могли обойтись без учреждений (а нередко и работали в них), так как платили налоги и совершали акты купли-продажи, их охраняла от грабителей царская полиция, они вели процессы в российском суде, ходили, наконец, в школы. Хотя польскому языку и истории они обучались частным образом, но заканчивали также и официальные школы – хотя бы для того, чтобы учиться дальше в университете, в том числе за пределами Королевства или за границей. В обычной школе изучались такие предметы, как математика или биология, – их можно было освоить и на русском языке.

В Варшаве или Вильно не составляло труда бойкотировать русских в обществе. Однако поляк, сосланный в глубь империи, не мог себе этого позволить – он находился один среди чужих. Он заводил с местными жителями знакомства, а то и дружбу. Нужно добавить, что в Россию попадали не только осужденные, но и обыкновенные люди в поисках работы. (В Королевстве Польском польской интеллигенции найти ее было трудно.) Со временем их становилось все больше. На рубеже веков в одном только Петербурге число поляков превышало сто пятьдесят тысяч. Здесь были польские общества, журналы, издательства. Они обладали значительно большей свободой, чем в Варшаве или в Вильно. Книги, которые в Королевстве Польском не могли пройти через цензурное сито, с легкостью выходили в царской столице. Многие тысячи поляков проживали также в Москве, Киеве, Одессе и, разумеется, Сибири.

Эти люди не бойкотировали русских: подчеркивая свою «польскость», они достаточно близко с ними общались. Практически, они принадлежали уже к двум культурам. Их отношение к русским и русской культуре не могло быть отрицательным (хотя они могли сохранять негативное отношение к царизму и его антипольской политике).

И последнее отступление. В течение многих лет я провозглашаю сформулированный вместе с Рышардом Пшибыльским тезис о том, что поляки двух последних веков делятся на три категории: насильно вывезенные в Германию и очарованные немецкой культурой; выве-

зенные в глубь России и очарованные ею; наконец, оставшиеся на родине и влюбленные во Францию. Когда-то я даже попытался опубликовать эту гипотезу, но цензура ПНР ее не пропустила.

Конечно, эта формула основана на поэтике шутки – и в своей краткости она, возможно, что-то искажает. Но, в общем, она достаточно точна. По политическим мотивам каждый поляк нес в себе некоторый негативизм по отношению к культуре захватчика. Для его преодоления приходилось использовать силу. Но в то же время он мог и поддаться обаянию той или иной чужой культуры. Обе они – и немецкая, и русская – принадлежали к ведущим европейским культурам, причем последняя именно в XIX в. переживала свой расцвет.

Конечно, это обаяние постепенно проникало в сознание поляков и меняло – по крайней мере отчасти – отрицательный стереотип русских.

Добавим к этому тот очевидный факт, что в период подневольного положения Польши не только шли войны и вспыхивали восстания. Были и продолжительные периоды тягостного для поляков, но мирного сосуществования. Можно было увидеть русских в ситуациях, когда проявлялись их чисто человеческие качества. Убедиться в их сердечности, дружелюбии. Увидеть, что российские чиновники имеют такие, незамеченные ранее, пороки, как склонность к выпивке и коррупции – этим можно было воспользоваться (подкупали даже цензоров). Становилось ясно, что многие русские не отождествляют себя с властью, что у них свое отношение к существованию польско-российского конфликта, а их готовность помочь в этом вопросе может простираться очень далеко. Такая активно пропольская позиция встречалась даже среди высокопоставленных чиновников. К ним принадлежал, например, «ополяченный» (в чем его упрекали многие коллеги по царской администрации) мэр Варшавы в 1875–1892 гг. Сократ Старынкевич – единственный русский, чье имя сегодня носит одна из площадей столицы Польши. Едва ли не каждая интеллигентская семья в Королевстве Польском и на «отобранных землях» могла назвать «врага», который ее предостерег, защитил, помог спрятаться, избежать опасности.

Позволю себе привести здесь рассказ, услышанный мною лично от одного из моих дядей (а такие истории есть почти в каждой семье). Итак: отец дяди, органист сельского прихода недалеко от Серадза, помимо своих прямых обязанностей, учит крестьянских детей читать и писать по-польски, а также отечественной истории. Снабжает местных жителей патристическими книгами, из своей библиотеки. Ненавидящий его сосед – поляк – доносит на него русским властям. Что делает комендант полиции? Направляется к нему с отрядом полиции, но, приказав подчиненным двигаться окружной удобной дорогой, сам мчится короткой, чтобы предупредить органиста: «Через полчаса сюда приедут с проверкой. Спрячьте все неблагонадежное». После чего возвращается к своим.

Отец дяди успел вынести и отдать крестьянам то, что могло вызвать подозрение. Ревизия уехала, ничего не обнаружив. А уезжая, комендант полиции еще шепнул на ухо органисту: «Будьте осторожнее с таким-то соседом – это он донес».

Что руководило комендантом полиции, решившимся совершить поступок, который можно расценить как предательство России? Ведь он наверняка считался порядочным царским подданным, возможно, даже русским патриотом. Но у него была собственная совесть и собственное понимание государственных интересов. Доносчиков он, без сомнения, презирал, смелых же людей – уважал. Он не считал, что российское государство развалится, если поляки будут иногда читать патриотические книги, а вот новые аресты нарушат общественное спокойствие. Поэтому он и предупредил даже не знакомого ему лично поляка о грозящей опасности.

Но прежде всего, это доказывает, что, служа государству, он не отождествлял с ним себя настолько, чтобы поступать против собственной совести, вопреки собственному представлению о справедливости и государственных интересах (возможно, им руководило и нежелание портить отношения между Россией и поляками). Это было специфически русской чертой, особенно заметной для поляков при сравнении русских с немцами, практически никогда не нарушавшими инструкций властей.

И еще одна русская черта, возможно, не так заметная в описанном выше случае, но отчетливо выраженная во многих рассказах и записках ссыльных. Я имею в виду глубокую солидарность – вне зависимости от национальной принадлежности – тех, кто страдает от своего низкого социального положения. Солидарность против тех, кто находится «наверху». Русские нередко подавали руку своему официальному «врагу», помогали ему переносить страдания.

Все это привело к тому, что образ русских, каким он сложился в сознании поляков в конце XIX в. и перешел в XX столетие, не был однозначно негативным, были в нем и положительные черты. После этой конфронтации русские оказались гораздо ближе полякам, чем они были для них до «великого конфликта» – в XVII – начале XVIII в.

4. Финал

Так обстояло дело в начале XX века. После же революции 1905 г. польско-русские отношения подверглись радикальным изменениям. Меньше они коснулись политической области: более либеральной стала цензура, разрешены были польские частные школы, польские научные и общественные организации, в определенный период – даже политические партии. Однако автономии Королевству Польскому не вер-

нули, в государственных школах преподавание велось на русском языке, обязательным он являлся и в государственных учреждениях.

Огромную роль играло, однако, психологическое освобождение. Польки поверили, что ситуация может быть изменена к лучшему. Это создало основу для формирования серьезного политического движения, ориентированного на соглашение с Россией. Возглавил его Роман Дмовский, ранее участник конспиративной антиправительственной деятельности, и руководимая им «Национальная Демократия». Она участвовала в выборах в Государственную Думу и таким образом, вместе с российскими либералами, пыталась добиться демократизации страны. Развивалась, правда, и антироссийская тенденция, во главе которой стояли Пилсудский и Польская Социалистическая партия. Тем не менее Дмовского поддерживало мощное политическое движение (в первых выборах в независимой Польше он получил почти 50% голосов), и он находился в значительно более выгодном положении, чем прежние сторонники соглашения с Россией – Адам Ежи Чарторыйский в начале XIX в., не говоря уже о Велёпольском.

Последнее десятилетие перед освобождением Польши – вновь (как и после 1815 г.) благоприятный для польско-русского сближения период. Прекращается бойкотирование русских, в Польше пробуждается огромный интерес к русской литературе. Политические перевороты в России в 1917 г. и – прежде всего – обретение независимости решительно уничтожили все препятствия и основания для обид и претензий.

Это, впрочем, не означает, что они немедленно исчезли. Тем не менее, межвоенное двадцатилетие во многом сблизило наши народы. Пользуясь возможностью избежать коммунизма, из российской провинции на родину вернулись миллионы поляков, очарованных русской культурой, и это отношение они передали своим новым соседям, живущим уже в собственном, свободном государстве и не обязанным бойкотировать все русское. Большую роль в этом сближении сыграла также русская белая эмиграция, в Польше достаточно многочисленная – напомню, что несколько белогвардейских частей вместе с поляками защищали Варшаву от большевиков в 1920 г. Во всяком случае, в межвоенное двадцатилетие в польских кабаках можно было услышать русские песенки, массово переводилась и великая литература XIX века и то, что выходило в СССР и в эмиграции. Влияние русской культуры ощущается в творчестве крупнейших польских писателей этого периода.

Конечно, ситуация ухудшилась после совместной с Гитлером агрессии СССР на Польшу в сентябре 1939 года и последующих преступлений российских коммунистов против польского населения, а также послевоенной зависимости ПНР от советской Москвы. Однако этот опыт был значительно менее болезненным для образа русских в Польше, чем пережитое в XIX столетии. Теперь никто не отождествлял всей России с

коммунистическим угнетателем. Российские диссиденты издавались подпольно рядом с польской антикоммунистической литературой. Среди руководителей демократической оппозиции были польские русисты, распространявшие среди соотечественников знания не только об истинной русской культуре, но и о множестве страданий, принесенных московскими коммунистами своему собственному народу.

Сегодня, когда все разделяющие нас барьеры рухнули, когда в обеих странах наступили перемены, за которые наши народы боролись, впервые за двести лет открылась возможность для русских и поляков рассмотреть взаимные представления друг о друге без ограничений и недомолвок.

Примечания

- ¹ Эта проблема рассматривается в следующих работах: *Ogonowski Z. Z dziejów megalomanii narodowej* // *Polityka*. 1977. № 25; *Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie* / Red. B. Galster. Warszawa, 1978; *Dzwonkowski W. Rosja a Polska*. Warszawa, 1991; *Tzibir J. Moskwićin w sarmackim zwierciadle. (Obraz Rosjanina w literaturze polskiej)* // *Polityka*. 1991. № 48; *Karpiński W. Polska a Rosja: z dziejów słowiańskiego sporu*. Warszawa, 1994.
- ² *Kepiński A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu*. Warszawa; Kraków, 1990.
- ³ *Giza A. Polaczkowie i Moskale – wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917)*. Szczecin, 1993.
- ⁴ Кроме того, Кемпинский не отделил с достаточной четкостью стереотип русских, называемых также, особенно в древности, русинами, от стереотипа украинцев, которых тоже так называли (как и белорусов).
- ⁵ В XIV и XV вв. в Польше, конечно, уже кое-что знали о Новгороде – но скорее о богатстве города, а не о его свободах.
- ⁶ *Twardowski Samuel ze Skrzypny. Władysław IV, król polski i szwedzki*. Leszno, 1650. S. 8.
- ⁷ *Kamieński-Dłużyk Adam. Diariusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc. Rzecz z rękopisu opublikowana w: «Warta. Książka zbiorowa ofiarowana księdzu Franciszkowi Bazyńskiemu»*. Poznań, 1874. S. 378–388.
- ⁸ *Chmielowski B. Nowe Ateny.... Część II, Lwów 1754*. S. 432.
- ⁹ Postępek szkaradny przez wojsko moskiewskie w mieście grodowym Bieczu die 5-go kwietnia 1770 wykonany, a przez tego, który na to patrzył, opisany / Oprac. J. Maciejewski i M. Rudkowska. «Napis» seria III, 1997.
- ¹⁰ Цит. по: *Poezja powstania listopadowego / Wybrał i oprac. Andrzej Zieliński*. Wrocław, 1971. S. 36.
- ¹¹ Цит. по: *Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożona przez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego*. Warszawa, 1975. S. 21.
- ¹² *Ludwik D. Z dziejów Polski // Czytelnia dla młodzieży*. Lwów, 1861. № 15. S. 113.
- ¹³ *Duchinski F. Zasady dziejów Polski, innych krajów słowiańskich i Moskwy. Cz. 1–3*. Paryż, 1858–1861.
- ¹⁴ *Norwid C. Z pamiętnika (o zemście) // Pisma wszystkie / Opr. J.W. Gomulicki. T. VII*. Warszawa, 1971. S. 40 – 41.
- ¹⁵ Там же. С. 129.

Имагология и изучение русско-польских литературных связей

О русско-польских литературных отношениях написаны многие сотни, если не тысячи, работ. Их освоению постоянно сопутствовали и теоретико-методологические размышления. В русском литературоведении, например, в 60–80-е годы нашего века в результате оживленных дискуссий утвердилось положение (принятое и полонистами) о двух аспектах сравнительно-исторического изучения литератур: изучение непосредственных, так называемых контактных связей – влияний, заимствований, реминисценций, филиаций и т. д., с одной стороны, и типологических сходжений – с другой.

Такой подход к исследованию литературных связей принес и продолжает приносить свои плоды, но в последние лет десять широкое распространение получила продуктивная, на мой взгляд, концепция литературных отношений как части диалога культур, воплощенного в художественном тексте.

С этим связана принципиально важная переориентация многих исследований: они все чаще обращаются к комплексу взаимосвязей духовной культуры двух народов. Литература является важнейшим компонентом этого комплекса, но все же одним из его составляющих, к которым относятся и народная культура, фольклор, разные виды искусства, религиозная мысль и письменность, общественно-политические идеи, историко-философские концепции и многое другое. Об этом отчасти свидетельствует программа нашей конференции, в которой принимают участие литературоведы, историки, культурологи, этнолингвисты.

Сегодня филолог, изучающий литературные отношения, все более становится историком культуры. Он стремится рассматривать литературные факты, в том числе «литературные связи» как составные части культурного процесса, рассматривать их в контексте явлений данной национальной культуры, как единого целого.

В рамках такого комплексного подхода к культурному взаимодействию нарастает интерес к сравнительно молодой научной дисциплине, получившей название «имагология»¹.

Имагология ставит своей задачей выявить истинные и ложные представления о жизни других народов, стереотипы и предубеждения, существующие в общественном сознании, их происхождение и развитие, их общественную роль и эстетическую функцию в художественном произведении. Она рассматривает образ другого народа, кото-

рый складывается не только в литературе, но и в других «текстах». Но первостепенным ее предметом является все же литература, ибо из всех феноменов культуры доминирующую роль в формировании национального сознания, во всяком случае в Польше и в России, играла литература (по крайней мере до середины XX в., до расцвета кино, телевидения и других средств массовой коммуникации).

Имагология, как это явствует из самого названия, изучает «образы», «картины» чужого мира и, стало быть, не сводится к исследованию стереотипов, которые являются «застывшим» образом, некоей постоянной, идеальной моделью, не существующей в реальном мире. Однако она по необходимости занимается в первую очередь именно стереотипами – долгоживущими общественно-историческими мифами. Стереотип является определенной формой генерализации отдельных явлений, он унифицирует представления об этнических и общественных группах, институтах, явлениях культуры, личностях, событиях и т.д. и обладает исключительной силой убеждения благодаря удобству и легкости его восприятия. «Он содержит, – замечает Я. Тазбир, – как бы «знания в таблетке», что весьма существенно в эпоху, когда люди за недостатком времени охотно прибегают к упрощениям. Он потрафляет нашей лени, поскольку апеллирует к имеющимся знаниям, которые приобретены сравнительно легко и легко передаются следующим поколениям»².

Стабилизация этнических стереотипов – комплекса представлений одной этнической группы о другой либо о самой себе (автостереотип) происходит прежде всего в литературе. Эти представления отнюдь не всегда совпадают с объективной исторической реальностью, а являются выражением убеждений данной группы. Но даже если они противоречат фактам, они рождаются и закрепляются в определенных исторических, национальных, политических и экономических условиях и сами становятся исторической реальностью, наследуются и обогащаются в разные эпохи, приобретают новые символические значения, актуализируются в зависимости от идеологических и политических потребностей.

В основе этнических стереотипов лежит этноцентризм, который присущ каждому народу. «Каждый народ, – формулирует эту мысль В.Н. Топоров, – осознанно, полуосознанно или неосознанно – несет свою идею, свой мир представлений и о себе, и о другом. И поэтому эти естественные и даже необходимые различия своего и чужого на фоне бесспорно общих задач жизнеобеспечения становятся предлогом, почвой, местом, где начинаются несогласия, различия, споры и ссоры»³. Формирование же и стабилизация этнического стереотипа определяются многими факторами длительного исторического процесса.

Исследовательские задачи, выдвигаемые имагологией, являются весьма актуальными. Они непосредственно связаны с потребностями современной культурной и идеологической жизни, с осознанием того, что образ «другого», часто весьма далекий от реальности, имеет не меньшее историко-культурное значение, чем она сама. Эти образы организуют схемы восприятия иного жизненного опыта. Создаваемые творческим воображением автора, опирающегося на сложившуюся культурную традицию, они играют активную роль в формировании ментальности современников и даже представителей следующих поколений. Речь не идет здесь, как полагают некоторые, о выявлении с помощью имагологии чужого так называемого национального характера (не фантом ли это вообще?). Образы чужой жизни, как правило, складывающиеся в большом историческом времени в традиции, в инвариантные, устойчивые структуры сознания, отражающие исторический опыт своей нации, не только обогащают знания о другом народе, но, может быть, в первую очередь, характеризуют собственную этническую ментальность.

Таким образом, речь идет – повторю еще раз – о выявлении истинных и фальсифицированных представлений о другом народе с точки зрения их происхождения и общественного воздействия.

Способствуя объединению усилий представителей разных гуманитарных дисциплин и являясь для них общей базой, имагология в то же время позволяет расширить рамки традиционного сравнительного литературоведения. Она вводит в него новый аспект – исследование отражения жизни других народов в литературных и паралитературных (летопись, хроники, путевые заметки, дневники, письма и т. д.) произведениях.

Новый аспект изучения польско-русских литературных связей не означает отказа от прежних достижений в этой области русских и польских исследований, в том числе послевоенного времени, и не отменяет сложившихся ранее подходов к теме, тем более, что и с их помощью предстоит наверстать упущенное. Ведь следует признать, например, что в годы существования «социалистического лагеря» многие важные явления замалчивались, без внимания оставлялась важнейшая социокультурная проблематика. Первостепенное место уделялось революционным, интернациональным связям, изучение которых считалось единственно возможным вкладом в идейное воспитание масс. Если говорить о польских мотивах в творчестве русских писателей и соответственно о русских мотивах у польских авторов, то примерами тенденциозного подбора произведений могут быть такие антологии произведений польских и советских писателей на тему дружбы народов (издания на польском и русском языках), как «Книга друзей» (1975) и «Содружество» (1984), как многочисленные

сборники типа «Братство по оружию» (М., 1988) и т. д. и сопутствующие им литературоведческие работы.

Очевидно, что авторы подобных антологий и описаний выполняли определенный политический заказ. Но очевидна и научная ограниченность и тем самым общественно-политическая ущербность одностороннего изображения историко-культурных процессов.

В последние годы в Польше появился ряд «имагологических» исследований, касающихся создания образа поляка и русского в художественной литературе каждой из стран. Но нельзя не заметить, что часто их авторы из одной крайности (рассмотрение только проявлений взаимной симпатии и сотрудничества) ударяются в другую (подчеркивание враждебности между народами). Об этом можно судить даже по названиям книг: «Лях и Москаль», «Из истории антипольских фобий в русской литературе», «Полячишки и Москали: взаимное видение в кривом зеркале», «Русское варварство» и т. д.⁴

Большинство этих работ, имеющих разное познавательное значение, охватывают средние века и новое время до февраля 1917 в России. Наибольшую ценность, на мой взгляд, представляют те исследования, в которых анализируется существующий сегодня в литературе России и Польши образ соседней страны и связь этого образа с теми стереотипными представлениями, которые складывались на протяжении веков. К ним относятся, например, многочисленные работы Януша Тазбира, Анджея Дравича, ряд статей из сборника «Народы и стереотипы» (Краков, 1995, под редакцией Терезы Валас)⁵ и другие.

Поле для исследования в этой области весьма обширно, особенно, если учесть, что почти незатронутым остался весь XX век.

Рассмотрим (в силу необходимости – тезисно) образ Польши и поляков в творчестве русских писателей после 1917 г. до наших дней (за исключением эмигрантской литературы, которая требует отдельного разговора) и связь этого образа с теми стереотипными представлениями о поляках, которые сложились в русской литературе предшествующих эпох и о которых мне доводилось писать раньше⁶.

Можно сказать, что отношения между Россией и Польшей веками складывались как отношения тяжбы и дружбы. В этих сложных взаимоотношениях решающую роль играли такие факторы, как географическое соседство русского и польского народов, порождавшее военно-политические конфликты, их разная конфессиональная ориентация, разница между шляхетской демократией в Польше и державно-монархической властью в России, участие России в разделе Польши, вызвавшее антирусские национально-освободительные восстания. Под влиянием этих факторов в русской литературе XVII–XIX вв. сформировался негативный стереотип поляка. Этот доминирующий стерео-

тип не был единственным, но несмотря на все знаменательные исключения, именно он укоренился в массовом сознании и сохранился в исторической памяти поколений. Между прочим, не в последнюю очередь благодаря тому, что однажды созданный художественный образ не отменяется последующим развитием литературы, а продолжает «работать» на восприятие читателя одновременно с другими, более поздними.

Польский вопрос в России, обращение русских писателей к польской теме и ее интерпретация всегда находились под мощным воздействием политической ситуации. В начале XVII в., в период «смуты» характер обширной антипольской литературы в Московской Руси определил отпор польской интервенции; в XIX в. – польские национальные восстания вызвали к жизни волну недоверия и вражды к тираническим «москалям» в Польше и «коварным» и «кичливым Ляхам» в России. В XX в. представления о Польше в России формировались под влиянием революции 1905 г., событий Первой мировой войны и, конечно, Октябрьского переворота 1917 г., а затем польско-советской войны 1920 г., «четвертого раздела» Польши в сентябре 1939 г. и т. д.

В советский период политизация польско-русских культурных отношений в России по сравнению с предшествующими эпохами даже усилилась – уже в духе коммунистической идеологии, а после Второй мировой войны – и с целью советизации Польши. Политика советизации явилась наследницей русификации Польши (ее части, принадлежавшей царской России) в дореволюционные годы.

В 20–30-е годы в советской литературе велась целенаправленная антипольская пропаганда, создавался образ Польши-врага. Если в предшествовавшей литературе преобладала картина единого польского общества, охваченного национальными стремлениями в ущерб российской государственности, то теперь – в соответствии с идеологической доктриной – изображалось общество, раздираемое классовыми противоречиями. Традиционный отрицательный стереотип поляка отождествлялся теперь с «панам» и «белополяками», контрреволюционерами, буржуями и помещиками. Им противопоставлялся представитель трудового народа, нуждающийся в помощи советского государства.

Эта схема воплотилась в 20-е годы в стихах и очерках В. Маяковского о Польше, в агитках Демьяна Бедного. По одному и тому же «классовому» шаблону (Польша – враждебное России бутафорское государство, где правит бал «крикливая военщина» и нищенствуют трудящиеся) скроены репортажи 20-х – начала 30-х гг. о Польше Лидии Сейфуллиной, Николая Асеева, стихотворения Николая Тихонова, Ильи Сельвинского, Алексея Суркова и др.

Характерным примером может быть обширный очерк Ильи Эренбурга «В Польше» (1928). Эренбург писал о «поляках Достоевского», по кото-

рым русские судили о Польше, но не только не оспаривал негативных суждений Достоевского о поляках, а дополнял созданный ранее стереотип новыми отталкивающими чертами. Даже традиционная для русской литературы похвала красоте польских женщин не лишена ехидства: «У варшавянок красивые ноги и умеренная спесь»⁷. В целом же в Польше, по Эренбургу, «манией величия поражен мозг не человека – народа»⁸.

В прозе 30-х гг. классовый подход к польской теме наиболее полно демонстрируют романы Николая Островского «Как закалялась сталь» (1932–1934) и «Рожденные бурей» (1937), роман Ванды Василевской «Пламя на болотах», опубликованный в 1940 г. в СССР.

Неприятное отношение к Польше подогревалось и обращением к историческим сюжетам. В стихотворении «У смоленских башен» (1938) Николай Рыленков писал:

Не сюда ль полки поляков
Собирались на разбой
И грозил вельможный Краков
Править русскою судьбой⁹.

На фоне советской антипольской литературы 20–30-х гг. выделяется проза Исаака Бабеля. В цикле рассказов «Конармия» (1923–1925) он запечатлел драматизм польско-советского столкновения, порожденного ходом истории. Бабель восхищается Польшей и ее культурой, но она представляется писателю обреченной на гибель, как воплощение зла старого мира, против которого поднялись «нищие орды».

В поэзии этого периода выделяется несколько стихотворений, посвященных значительным явлениям польской истории и культуры. Это стихотворения Бориса Пастернака, посвященные Шопену: «Баллада» («Бывает, курьером на борзом...»), 1929 и «Опять Шопен не ищет выгод» (1931); стихотворения, написанные в воронежской ссылке Осипом Мандельштамом: «Пламенный поляк – ревнивец фортепианный» («И маленький Рамо...», 1937), «Утешь меня Шопеном чалым...» («За Паганини длиннопалым...», 1935). В этом стихотворении поэт в нескольких строках создает замечательный образ, в котором нашлось место и историческим реминисценциям, и традиционно понимаемым чертам польского национального характера, которые восхищают поэта:

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.¹⁰

Но такие стихотворения были исключительным явлением в русской литературе тех лет. Доминировал в ней навязанный политической пропагандой стереотип классового врага – польского пана-белополяка, который отождествлялся в массовом сознании со всей Польшей. А робкие попытки противопоставить ему представителя польского трудового народа, наделенного положительными качествами, не дали сколько-нибудь значимых художественных результатов.

С особой силой враждебность к «панской» Польше проявилась в произведениях, главным образом поэтических, авторы которых откликнулись на «освободительный поход» Красной Армии в сентябре 1939 г. – в стихах Михаила Исаковского, Александра Твардовского, Василия Лебедева-Кумача, Евгения Долматовского, Владимира Луговского, Павла Антокольского, в очерках одного из ведущих партийных писателей того времени Петра Павленко и других произведениях.

Ситуация кардинально изменилась в годы Второй мировой войны, особенно ближе к ее окончанию. Начиная приблизительно с 1944 г. резко возрастает количество произведений, посвященных Польше, и в них очевидна попытка пересмотреть ранее господствовавшие схемы. Это было связано с созданием в СССР Войска Польского и просоветского правительства в Люблине, с политическим курсом советского руководства на общественные преобразования в Польше по советскому образцу.

В многочисленных произведениях с польскими мотивами, которые создали русские писатели в годы войны и первые послевоенные десятилетия, выделяется тема войны и связанные с ней сюжеты: польско-советское братство по оружию, мужество и героизм польского народа в сопротивлении фашизму, гитлеровские лагеря уничтожения на территории Польши – Освенцим и Майданек. В этих произведениях преобладает сочувственное отношение к полякам, хотя главная их цель – обличение преступлений немецких фашистов.

В них просматривается стремление не столько пересмотреть стереотипные представления о Польше, сколько убедить – по политическим причинам – русского читателя в том, что в годы борьбы с немецким фашизмом и затем строительства социализма рождается новая Польша и новый тип поляка.

Ослабление административного диктата в Польше после 1956 г. вызвало в России огромный интерес к польской культуре, которая стала своего рода мостом между русской и мировой культурами. Значительно расширяется спектр русских произведений с польскими мотивами, в которых поляк часто является примером свободолюбия. Из большого массива подобных произведений назову романы и повести В. Богомолова «Зося» (1963), В. Астафьева «Последний поклон» (1968),

С. Крутилина «Липяги» (1963–1965), Г. Семенихина «Пани Ирена» (1963), пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия» (1967), очерки и зарисовки К. Паустовского («Третье свидание», 1963), Ю. Юзовского «Польский дневник» (1964), Ю. Нагибина, В. Огнева и других, стихотворения Ё. Слуцкого, Б. Пастернака, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Д. Самойлова, М. Петровых, А. Кушнера, Е. Винокурова, Л. Мартынова и многих других.

Обширный тематический пласт стихотворений – польская история и культура. Обратясь к ее знаковым представителям – Копернику, Шопену, Мицкевичу, Словацкому, к современникам – Тувиму, Броневскому, Галчиньскому и другим, поэты показывали общечеловеческую значимость творений польского духа, величие народа, давшего миру гениев. Появилось и немало произведений, так сказать, «туристической» поэзии – с описанием польских пейзажей, костелов, памятников, и, конечно, красоты польских женщин. Некоторые из них не лишены пошловатого оттенка, как, например, стихотворение Ст. Куняева «Уезжая в направлении Варшавы...».

Я увидел знакомый пейзаж,
столь же милый в России и в Польше,
разве храмов заметно побольше
и дешевый мужской трикотажа¹¹.

Однако вплоть до середины 80-х гг., до начала «перестройки» в СССР в официально издаваемой литературе не затрагивались такие острые темы, как сговор Сталина с Гитлером за счет Польши, депортация поляков в глубь СССР, Катынь, Армия Краева, армия Андерса, Варшавское восстание и др. Поэтому по-прежнему можно говорить о неполноте, а следовательно, и искажении в русской литературе образа Польши и картины польско-русских отношений в годы Второй мировой войны.

Лишь с конца 80-х гг. стала возможной публикация произведений, авторы которых без пафоса и декларативности стремились проникнуть в суть исторических судеб Польши, польско-русских отношений, постичь тайны «польской души». Только в 1989 г. были опубликованы «Баллада о вечном огне» А. Галича, известная ранее по «самиздату» и магнитофонным записям. В ней поэт одним из первых в русской литературе сопоставил гитлеровские преступления в Польше со сталинскими в России, судьбу польского народа – с судьбой русского. К такого рода произведениям относятся и стихотворения В. Высоцкого («Дороги, дороги...», 1988 – о Варшавском восстании), Ё. Слуцкого («Что-то есть в поляках такое!» – «Месса по Слуцкому», 1987), И. Бродского,

Е. Рейна, В. Корнилова, Н. Тряпкина, Н. Сапира, Н. Астафьевой, В. Бриганишского и др.

Появляется новая трактовка польской истории и современности, образа поляка в прозаических произведениях. В автобиографической повести Е. Ржевской «Далекий гул» (1988) автор восхищается одной из своих героинь, пани Марией, которая олицетворяет «неистребимую польскую женственность – тоже ведь крепь нации, животворность». В повести Юза Алешковского «Синенький скромный платочек» (1991) Польша выступает примером для подражания. «Польша, ничтожной по размерам, вы перетрухнули, – обращается повествователь к представителям власти, – а уж какую кучу в галифе натрясете, когда наша рабочая скотинка взбрыкнется, думать весело»¹².

В романе Леонида Бородина «Царица смуты» (1996) о политической и религиозной распре между Русью и Польшей в начале XVII в. создан новый образ Марины Мнишек. У Бородина она – не разбойница, чародейка и еретичка, какой она изображалась раньше в русской литературе, а волевая, но беззащитная женщина, которая хочет быть справедливой царицей московской «без бояр-захребетников и прочих никчемных людишек, без меры расплодившихся в русской земле»¹³.

В 1996 г. появился и исторический роман, в котором искусно сплетаются судьбы русских и поляков в XIX в. – роман молодого писателя Антона Уткина «Хоровод», получивший высокую оценку в критике.

Один из персонажей этого романа, русский офицер Посконин заявляет своему польскому собеседнику, полковнику Квисницкому: «Ведь ваша милая Польша – прямо средоточие всякой загадочности. Ну и бунтов, непременно, крамол и татьбы, так сказать. – А для нас, поляков, – парировал Квисницкий, – средоточие всякой загадочности – дремучая Московия»¹⁴.

Другой персонаж, отставной офицер русской армии, вспоминает о «польской кампании» (1830 г.) и говорит о поляках: «Да и что за народ, посудите сами, хохлы не хохлы, наш брат славяне, а туда же за Европой тянутся, кости ловят, объедки подбирают...»¹⁵.

Несмотря на то, что в последнее десятилетие в русской литературе появилось много ценных произведений (число примеров можно было бы умножить), разрушающих негативные стереотипы Польши и поляков, суждения, подобные высказываниям героев романа А. Уткина, распространены и сегодня. И на бытовом уровне, и в художественных произведениях, и в публицистике, особенно националистического и коммунистического толка. Стереотип «неблагодарного поляка», восходящий к пропаганде 20-х гг., возрождает, например, Евгений Долматовский в художественном очерке «Международный вагон» (1986): «Освобожденная Октябрьской революцией Польша не оказалась свободной: ее втянули в борьбу с Советской Россией. И правильно написал Алексей Сурков в

когда-то знаменитой песне: „Помнят польские паны конармейские наши клинки“ <...>. И теперь, как тогда, западные соблазнительщики воспользовались обостренным национальным достоинством поляков, чтобы преобразовать его в оголтелый национализм»¹⁶.

А заместитель главного редактора газеты «Правда» Вл. Вишняков в статье «Кто расстрелял польских офицеров» (1996) вслед за автором книги «Катынский детектив» (1995) Ю. Мухиным оправдывает палачей из НКВД: «Катынское дело раздувается сегодня для того, чтобы сделать нынешних поляков такими, какими они были в 1939 году <...>. Чтобы Польша снова стала алчной европейской проституткой, надеющейся, что если угодит кому-то, то ей за это что-то „обломится“»¹⁷.

С точки зрения В. Кожина «обвинение России в „разделе Польши“ – это „русификационная пропаганда“ и „участие России в разделе Польши“ конца XVIII в. – либеральный миф»¹⁸ (дескать, Россия тогда вернула себе то, что ей всегда принадлежало).

Примеров подобных высказываний, вбивающих клин в отношения между Россией и Польшей, можно привести немало. Осознание необыкновенной живучести, устойчивости негативных стереотипов Польши и поляков в России, в русской культуре (и, думается, соответственно русских в Польше), показывает, какая огромная работа ожидает всех нас, историков культуры, изучающих русско-польские культурные взаимоотношения, чтобы решительно противодействовать попыткам вновь навязать России образ Польши-врага, образ поляка-носителя смуты.

Примечания

- ¹ За рубежом этой проблематикой заинтересовались значительно раньше, чем у нас. См., например, немецкоязычные работы по имагологии: *Dyserinck Hugo. Zum Problem des «images» und «mirages» und ihrer Untersuchung im Rahmen der vergleichenden Literaturwissenschaft // Arcadia. Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft. 1966. 1. Heft 3; Fischer Manfred S. Komparatistische Imagologie // Zeitschrift für Sozialpsychologie, 1979. № 10; Boerner Peter. Das Bild von anderen Land als Gegenstand literarischer Forschung // Sprache im Technischen Zeitalter. 1975. № 56; Riesz Janosz. Zur Omnipotenz nationaler und ethnischer Stereotypen // Komparatistische Hefte. 1980. № 2; Rick Werner. Poetische Bilder von Völkern als literaturwissenschaftliche Problem. Zu Wert und Grenzen komparatistische Imagologie // Weimare Beiträge, 1986. № 1 u.a.*
- ² *Tazbir J. Stereotypiczny żywot twardy // Mity i stereotypy w dziejach Polski. Warszawa, 1991. S. 29.*
- ³ *Топоров В.Н. Образ «соседа» в становлении этнического самосознания: русско-литовская перспектива // Славяне и их соседи. Этно-психологический стереотип в средние века. Сборник тезисов. М., 1990. С. 5.*
- ⁴ *Кеipiński A. «Lach i Moskal». Z dziejow stereotypu. Warszawa, Kraków, 1990; Orłowski J. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVII do roku 1917. Warszawa, 1992; Giza A. Polaczowie i Moskale, wzajemny ogląd w krzywym*

- zwierciadło (1800–1917). Szczecin, 1993; *Opacki Z.* *Barbaria rosyjska. Rosja w historiografii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego.* Gdańsk, 1993.
- ⁵ См., например, одну из последних статей Я. Тазбира: *Tazbir J.* *Pomiędzy stereotypem a doświadczeniem* // *Kultura i społeczeństwo.* 1996. № 2; статью А. Дравича: *Дравич А.* *Пропась, которая во мне болит и жжет. Образ русского польским пером XX столетия* // *Вышгород, 1997. № 3*; сборник: *Narody i stereotypy.* Kraków, 1995.
- ⁶ *Хорев В.А.* *О стереотипе и убеждении в литературе (на материале польской и русской литературы)* // «Путь романтический совершил...». М., 1996; *Если бы мы все были такими... Польская тема в российской словесности XX века* // *Вышгород, 1997. № 3.*
- ⁷ *Эренбург И.* *Виза времени.* М.; Л., 1931. С. 151.
- ⁸ Там же. С. 192.
- ⁹ *Рыленков Н.* *Истоки. Стихи.* Смоленск, 1938. С. 10.
- ¹⁰ *Мандельштам О.* *Стихотворения.* Библиотека поэта. Л., 1978. С. 179.
- ¹¹ *Книга друзей.* М., 1975. С. 237.
- ¹² *Дружба народов, 1991, № 7.* С. 39.
- ¹³ *Знамя, 1996, № 5.* С. 26.
- ¹⁴ *Новый мир, 1996, № 10.* С. 54.
- ¹⁵ Там же. С. 103.
- ¹⁶ *Новый мир, 1986, № 5.* С. 37.
- ¹⁷ *Правда, 28.3.96.*
- ¹⁸ *Наш современник, 1998. № 10.* С. 153.

Польская тема в русских памятниках XVI в.

Подход к этой обширной теме подразумевает различие обыденного этнического сознания, выражающегося в приверженности к языку, обычаям, культурному наследию¹, и идеологического наполнения этнических определений как формы «государственного» патриотизма (в частности, для обоснования военной экспансии), естественных для соседствующих народов сравнительных сопоставлений, взаимных описаний по типу «свой – чужой» – и противостояния, обусловленного принадлежностью к различным – римскому и византийскому, католическому и православному – культурным кругам.

Общепризнанное в настоящее время отрицание тождества между культурно-языковой и этнической общностью подтверждается и историей русско-польских взаимоотношений рассматриваемого периода². Культурные различия, в первую очередь обусловленные конфессиональными, выступают здесь с особой выразительностью именно на фоне этнической близости, а также языкового родства и географического соседства, как бы призванных объединять народы Речи Посполитой и России.

Период русской истории, начавшийся в 1492 г. войной Ивана III с Великим князем литовским Александром и завершившийся в 1582 г. (заключение перемирия в Запольском Яме) окончанием военных походов Стефана Батория на Русь, вместил, по подсчетам В.О. Ключевского, 40 лет русско-польско-литовских военных конфликтов. Усложнились задачи внешней московской политики, которая теперь, когда Великая Русь образовала единое политическое целое, поставила на очередь вопрос о политическом объединении всей Русской земли, и из этого вопроса вышла вековая борьба двух соседних славянских государств, Руси и Польши³.

Памятники русской литературы и фольклора, дипломатическая переписка этого периода, посвященные тем или иным эпизодам многочисленных военных столкновений между двумя государствами, отразили современные представления о поляках, в значительной степени обусловленные их приверженностью к иной (а следовательно, ложной) вере.

Контрастом по отношению к представлениям об общности происхождения, свойственным ранним этапам этнической истории и нашедшим свое отражение в трудах славянских летописцев (Длугоша, Нестора), выступало осознание внутриславянского противостояния, вызванного расколом между западным и восточным христианством.

Современные исследования показывают, в частности, что антикатолические настроения были присущи православным славянам и обнаруживались даже в тех случаях, когда они оказывались под гнетом иноверцев-осман⁴.

Эпистолярное наследие Ивана Грозного⁵ содержит значительное число свидетельств, дающих представление об отношении к латинской вере и ее носителям в русском православном обществе. Согласно современным источникам, русский царь «резко отклонял и отвергал учение папы, рассматривая его как самое ошибочное из существующих в христианском мире: оно угождает властолюбию папы, выдуманно с целью сохранить его верховную иерархическую власть, никем ему не дозволенную; царь изумлен тем, что отдельные христианские государи признают его верховенство, приоритет церковной власти над светской»⁶.

В принадлежащих перу русского царя посланиях польским королям и государственным деятелям этот мотив чрезвычайно заметен. Так, от присутствует в упреках Сигизмунду II («*Господь везде повелевает смирение, а ты, по завету антихриста, восхваляешь гордость*»⁷), Яну Ходкевичу («...нашему Величеству не подобает с вами, безбожниками, говорить, ибо вы, злодеи, подобно змее, изливаете яд на христиан»⁸), «из христиан ты стал отступник и лжехристианин <...> а ныне ты – поругатель и разоритель святой истины, православной христианской веры <...> потому ты и изливаешь яд, подобно скорпиону, что стал служителем тьмы и врагом Бога»⁹).

Иван настойчиво противопоставляет неистинную веру Батория (это постоянно подчеркивается его происхождением: «*А жил ты в державе басурманской*», «*а сроки указываешь по басурманскому обычаю*», «*и если Бог соблаговолит тебя из такого княжества возвести на такое великое государство, то ты в этом государстве введи такие христианские обычаи, которые достойны такого великого государства*»), поляков вообще («*а вера латинская – полухристианство*») – истинной православной вере русских («*Мы же, смиренные, во Христа крестились, во Христа облеклись, во Христа веруем*», «*А мы как христиане по христианскому обычаю со смирением увещеваем и браниться с тобой не хотим, потому что тебе со мной браниться – честь, а мне с тобой браниться – бесчестье*»).

Тот факт, что трансильванский (а следовательно, зависимый от турецкого султана, тем самым – как бы сближенный с мусульманством) князь Стефан Баторий был избран на польский престол (1576–1586), постоянно подчеркивался Грозным с целью компрометации польского короля в глазах христианской Европы, возбуждения подозрений в подлинности и прочности его веры. В этой перспективе

Грозный оценивает и религиозную терпимость, которой был известен Баторий. Так, русский царь, осознающий себя носителем единственно истинной веры, не скупится на язвительные замечания, касающиеся распространения Реформации в Польше («*а паны твои держатся иконоборческой лютеранской ереси. А ныне мы слышим, что в твоей земле явно устанавливается вера арианская, а где арианская вера, там имени Христа быть не может, потому что Арий имени Христову истовый враг, а где ариева вера, тут уже Христос не нужен, и не подобает эту веру звать христианством и людей этих называть христианами, и о христианской крови тем людям нечего беспокоиться*» – 1579; «*А ныне мы видим и слышим, что в твоей земле христианство умаляется; поэтому-то паны твоей рады, не беспокоясь о кровопролитии среди христиан, действуют наскоро*» – 1581), что в представлении Грозного свидетельствует как о слабости католической веры, так и о несостоятельности государственных и церковных властей Польши. Понятная гордость подспудно звучит в этих замечаниях победоносного борца с распространением ереси в собственной стране, жестокого гонителя всякого «самосмышления». (Показательно, что знаменитый русский еретик эпохи Ивана Грозного, Феодосий Косой, согласно учению которого все люди равны, независимо от национальности и вероисповедания, вместе со своими сторонниками бежал от преследований именно в Польшу, где присоединился к арианам¹⁰.)

Распространение Реформации в Польше Иван считает и непосредственной причиной польско-русского военного конфликта: «*Только когда появилось в твоей земле лютеранство, воевода виленский Николай Янович Радзивил и иные паны начали спор о Ливонской земле ради пролития христианской крови*» (с. 197). Характерны и обобщенные характеристики поляков как «*иконаборцев*», встречающиеся, в частности, в письме 1577 г. к предводителю польских войск в Ливонии, князю Полубенскому, которого русский царь наделяет пародийно-издевательскими титулами («*дудка*», «*шут*», «*вице-регент бродячей Литовской земли*»¹¹ и др.).

Вероятно, развивая эти темы в посланиях к Баторию, Грозный имеет в виду не только своего непосредственного адресата, но и – возможно, в первую очередь – Папу Римского, чьей поддержки он искал в попытках прекращения изнурительных военных столкновений с Польшей. Эти поиски заводили русского царя весьма далеко – вплоть до упоминания в письме Флорентийского собора 1439 г. («*на этом соборе постановили, что греческая вера и римская должны быть едины*») и вопроса о единстве церквей – по крайней мере, в риторической перспективе: «*Называетесь христианами, а ведь папа и латиняне вечно твердят, что вера греческая и латинская едина. Так держатся ли твои паны такого же христианства?*» (с. 205).

Разумеется, Иван IV не только оценивает религиозное состояние польского общества, но отмечает и элементы демократии, определенные свободы, присущие государственному правлению в Польше. Они неизменно вызывают его критическую реакцию – так, князя Курбского русский царь осуждает, в частности, за то, что тот не захотел жить под властью *«данных богом государей, а захотел самовольства. Ради этого ты и нашел себе такого государя (имеется в виду Сигизмунд II Август. – В.М.), который – как и следует по твоему злобесному собачьему желанию – ничем сам не управляет, но хуже последнего раба – от всех получает приказания, а сам же никем не повелевает»*¹².

Выборность короля в Польше обуславливает, по мнению Ивана IV, случайность, временность и неполноту, а следовательно, слабость его власти. Так, в послании королю Сигизмунду II, написанном Иваном IV в 1567 г. от имени М.И. Воротынского, прямо говорится: *«Ты не волен в своих делах, потому что ты – не наследственный государь, а посаженный <...> А правление твое такое, что ты не только над вверенными тебе людьми не волен, но и над самим собой <...> Если ты в собственных делах не волен, как же тебе управлять государством?»*¹³.

В другом письме этому польскому королю указывается на жестокое ограничение его личной свободы, вытекающее из *«самовольства»* его *«панов»*: *«А это ли, брат, хорошая свобода воли, что твои паны <...> разлучили тебя с королевой Варварой, отравив ее?»*¹⁴.

Недостаточность, неполноценность центральной власти в Польше сопряжены, по мнению русского царя, с излишним самоволием шляхты, отчего польское рыцарство предстает в его посланиях *«бродячим, а не вольным»*, королевская рада – впавшей в *«сатанинскую гордость»*, поведение (*«обычай»*) советников и окружения короля – *«изменническим»*.

Русский царь настойчиво повторяет свое мнение о подчиненном положении выборного польского короля и в письмах к Стефану Баторию: *«а ты со вчерашнего дня на таком великом государстве, тебя <...> избрали народы и сословия королевства Польского, и посадили тебя на эти государства управлять ими, а не владеть ими. А они люди со своими вольностями, и ты присягаешь величию их земли»*.

Существенно подчеркнуть, что выборность польского короля резко негативно оценивается Иваном Грозным в контексте представлений о божественной и человеческой воле: он противопоставляет себя, ставшего царем всей Руси *«по Божию изволению»*, польскому королю, получившему трон *«по многомятежному человечества хотению»* (с. 180–181). Таким образом, польское государство в целом и лично польский король выступают как нарушители божественного миропорядка, а следовательно, оказываются вне пределов христианской системы ценностей.

Шляхетская демократия, расцветшая во второй половине XVI в., предстает в оценке Грозного как сословный эгоцентризм, разгул индивидуализма в ущерб стремлению к общей пользе: «*Но ты, – пишет он Курбскому, – не найдешь себе там утешения, ибо там каждый о себе заботится*». Русский царь в письмах к Стефану Баторию многократно с осуждением упоминает, в частности, и присущие его адресату – очевидно, как представителю чуждого индивидуализма – личностные свойства – *гордость, безмерную гордыню, высокое высокомерие, хвастовство, заносчивость*, однако, как представляется, эти оценки – по крайней мере, в количественном отношении – уступают обвинениям в неистинной вере.

Постоянны в посланиях Грозного противопоставления присущего русским христианского и свойственного полякам нехристианского образа действий, в том числе – и в процессе военных действий. Именно в этом ключе последовательно представляется польско-русский военный конфликт в целом, неизменно именуемый *пролитием невинной христианской крови*. Повтор этого наиболее часто употребляемого в посланиях образа служит усилению темы гонения христиан (к Сигизмунду II: «*нашу изменную раду, отступников от истинного православия учинил у себя в раде, и от тех мест и посемест кровь христианская не престалась лить*»; к Баторию: «*тебе и твоим панам нужно только удовлетворить свое желание зубить христиан*»), преступления против веры («*Оно и видно, что ты действуешь, предавая христианство басурманам!*»), выраженной в посланиях, что делает ее едва ли не центральной (один из многочисленных примеров подобного переходящего границы назойливости повторения: «*Видно, твоя рада, желая лить христианскую кровь, всю твою землю склоняет к пролитию христианской крови. Пожалели ли твои паны о христианской крови...*»). Постоянные противопоставления создают контрастную доминанту писем Грозного: христиане – неверные («*А что просишь оплатить военные сборы, это ты взял из басурманского обычая, «этого у христиан не ведется, это ведется у басурман*»).

В этой перспективе описываются и военные столкновения, в частности, взятие Изборска, где Полубенский «*надругался над Божьими церквами и иконами*», или – позднее – Сокола: «*...а над мертвыми надругался беззаконным образом, как не слыхано и у неверных: убить кого-нибудь в бою и оставить – это военный обычай, а твои люди поступили собачьим обычаем: выбирали трупы воевод и лучших детей боярских, разрезали у них животы и вынимали у них сало и желчь как бы для колдовства. Ты пишешь и называешь себя государем христианским, а дела у тебя делаются недостойные христианских обычаев: христианам не подобает радоваться крови и убийствам и действовать подобно варварам*».

Противопоставление православных как носителей и защитников истинной веры – католикам-полякам последовательно проведено и в русских литературных и фольклорных текстах, посвященных походам Стефана Батория 1579–1582 гг. на Русь¹⁵. Здесь обнаруживаются существенные сходства с оценками, выраженными в письмах царя Ивана польскому королю.

Среди памятников древнерусской литературы на воинскую тему видное место принадлежит «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков»¹⁶, приписываемой псковскому иконописцу Василию¹⁷. Предполагается, что ее создание относится к времени, близкому описываемой многомесячной осаде и героической обороне города в 1581 г., в значительной степени предreshившей исход Ливонской войны.

Некоторые используемые в «Повести» характеристики польского короля («неистовый зверь и неутолимый аспид», «всегда был рад кровопролитию и началу войн», «лютый и свирепый змеиный яд злобы из своей ненасытной утробы изрыгнув...») и его воинов («эти волки, всегда готовые к кровопролитию», «пожирающие трупы псы»¹⁸) могут быть отнесены к традиционной риторике воинской повести, служащей задаче создания образа врага. Вместе с тем, эпитеты, призванные отмечать религиозную принадлежность, используемые, однако, с характерным ее неразличением – ‘все то, что не православная вера’ («агарянин», «литовский безбожный король», «лютеранской своей веры воин»), контрастные противопоставления («На него (Бога) надеемся и уповаем, не то что ты, Оботура¹⁹, в безбожной своей ереси не признаешь его») служат созданию недвусмысленной идейной доминанты: военный конфликт двух государств, столкновение по поводу спорных территорий предстает битвой за христианскую веру с некими не вполне определенными иноверцами – одновременно с мусульманами, язычниками и лютеранами. Ярким примером подобного неразличения является сцена с участием в польско-русских переговорах папского посредника, иезуита Антонио Поссевино: «В это время приехал к нему лютеранской веры римского католического папы протопоп Антоний» (с. 468–469).

Примечательно, что автор «Повести» при описании наступления противника обращается и к мифологической образности, к поэтике сказки: «...как лютый великий змей из великих пещер, он полетел к Пскову; с чудовищами своими летел он на Псков, словно искры огненные в темном дыму, и, еще не долетев, уже думал, что град Псков у него в утробе. Аспидов же своих и приближенных змей и скорпионов великий тот литовский король из утробы извергнутыми остатками хвалился насытить. И так все, как змеи на крыльях, летели к Пскову и высоко-

мерием своим, как крылами, повалить его хотели, змеиными своими языками, как жалами, всех живущих в граде Пскове умертвить думали. Все ценное в нем хвалились вынести в своих адских утробах в свою Литовскую землю, говорили, что оставшихся в живых людей, как сокровище, на хвостах своих принесут в дома свои. И уже мнил себя змеей победителем над Псковом» (с. 424–427). В перспективе, создаваемой подобным рода повествованием, противостояние русских воинов польским символически уподобляется борьбе св. Георгия со змеем или может осознаваться как борьба с язычеством вообще. Баторий в «Повести» и прямо называется язычником (в оригинале – *неверным*): в эпизоде получения известия о гибели его воинов он – по свидетельству автора – в отчаянии едва *«не кинулся на свой меч <...> так обычно бывает с неустовым, а тем более с язычником»* (с. 446–447). Не страшась противоречий, автор «Повести» предполагает – в риторическом обращении к польскому королю, – что тот является и предтечей Антихриста (с. 470–471).

Царь всяя Руси неизменно изображается как *«благоверный»*, обладающий *«умиленностью и мудростью, дарованной от Бога»*, обороняемый город Псков – как *«богоспасаемый», «богохранимый»*, а его жители – как носители *«непреклонной веры»*, сражающиеся *«за Бога»* и *«за православную веру христианскую»*, контрастом чему выступают последовательные характеристики. Русское войско последовательно противопоставляется воинам Батория по признаку наличия/отсутствия христианской веры (*«А литовская бесчисленная сила, как поток водный, лилась на стены городские; христианское же войско, как звезды небесные, крепко стояло»* (с. 438–439); воины Батория стреляют *«по христианскому народу»*, отесняют *«христианское воинство»* (с. 440–443); погибшие считаются *«пострадавшими за веру христову»*, которых надлежит похоронить *«как древних мучеников, погибших от руки литовских мучителей»* (с. 454–455).

Баторий неизменно именуется *«всегорделивым»*, *«лукавым»*, сидящим на *«прегорделивом своем престоле»*, – *«диким вепрем из пустыни, неуголимым лютым зверем»*, и даже письма, которые он рассылает, – *«многогорделивые и безбожные послания»*.

В ответ на подметные письма Стефана государевы бояре и воеводы гордо отвечают: *«Чем лучше нам оставить святую свою христианскую веру и покориться вашей плесени? И какое приобретение чести в том, чтобы оставить нам своего государя, православного великого христианского царя, и покориться иноверному чужеземцу и уподобиться иудеям? Тем более, что они по незнанию или по зависти распяли Господа Славы, нам же, зная своего православного царя-государя, в царской державе которого и прародители наши родились, как оста-*

вить его?» (с. 459–459). Характеризуя королевского канцлера Яна Замойского («жестокосердный тот, великогордый поляк канцлер»), русский автор также помещает свои инвективы в контекст противопоставления божественного замысла и человеческой воли: «Но что твоя безумная гордость, глупый воевода, канцлер <...> Затеял ты выше своего ума дело, выше Бога замысел» (с. 474–475).

Хотя отношение к польскому королю, его народу и предводимому им войску выражается весьма недвусмысленно («О начальник окаянного и горделивого народа твоего литовского, Стефан Обатур, и все твое безумное войско!»), вместе с тем авторы русских текстов изображают врагов без элементов снижения или осмеяния, как умелых (в частности, устраивающих искусные подкопы под город – «подкоп королевский польский, подкоп литовский, скорый и хвастливый, подкоп угорский, подкоп немецкий»), хорошо вооруженных, мужественных воинов «гордонаторная литва», противостояние которым приносит славу русским защитникам города. В описании захваченных ими трофеев ощущается восхищение снаряжением врага: «...вернулись в Псков с победою великою и бесчисленным богатством, принеся очень много оружия литовского, дорогих и красивых самопалов и ручниц самых разных» (с. 450–451).

Один и тот же мотив обращения оружия против поднявшего его польского короля встречается как в письме к нему Ивана Грозного («и лук твой сокрушится, и стрелы твои, по словам пророка, поразят твое сердце» – с. 179), так и в записанной в Олонецкой губ. исторической песне, посвященной осаде Пскова:

*Заправлял он пушечки свои боевые,
О двенадцати ядеришках свинцевых <...>
И наводит собака по семи золотым маковицам.
Отвернулося ядеришко свинцевое.
А Степану королю во груди черныя
Вся сила поганая ослепнула,
И стала она промеж собой сичь и сичь,
Не осталось силы и на семена²⁰.*

Здесь также подчеркивается вытекающая из вассальной зависимости от турецкого султана связь Батория с мусульманством: «Степан земли Полоцкой / Собака царя Крымского», «самолучший татарин».

Вместе с тем, в русском сознании XVI в. бесспорно существовал и иной образ Польши, в первую очередь связанный с представлениями о свободе и просвещении, что побуждало не желавших смириться с московской тиранией искать здесь прибежища. К носителям таких представлений относился и бежавший в Польшу князь Андрей Курбский, видевший в ней землю, где встречаются «люди, знающие не только

грамматику и риторiku, но и диалектику и философию», а потому способные высмеять невежественные письма Ивана (с. 163).

Следует отметить, что эти упреки Курбского – дань полемическому преувеличению, ибо Грозный был для своего времени достаточно начитан и, в частности, был знаком с историей Польши²¹. Первый польский труд, посвященный всемирной истории и принадлежащий перу польского автора – Мартина Бельского – «Хроника всего света» (1551), был, как предполагают, переведен по заказу Ивана IV с польского на русский язык и хранился в его архиве. Я.С. Лурье отмечает, что, освобождая самого себя от излишне строгого «святительского попечения», Иван IV вовсе не склонен был, однако, предоставлять подобные льготы своим подданным, ограждая их от светских литературных влияний²². Об этом свидетельствуют и отраженные – со слов боярина Федора Головина – в записках Самуила Маскевича попытки русского царя путем сожжения бесполезных книг противостоять польским (латинским) влияниям, которые, судя по этим данным, имели место уже в России XVI в. «Говорят, – пишет Маскевич, – что во времена этого тирана один наш купец (ведь у них была свобода перемещения с товарами) привез туда воз минуций <...> Узнав об этом, царь приказал принести ему часть этих книг, которые были, по его мнению, столь мудры, что и сам царь в них ничего не понимал; опасаясь, как бы люди не научились их понимать, он велел их все себе в кремль привезти, заплатив, сколько хотел купец, и приказал бросить их в огонь». Однако, видимо, приказ царя был исполнен без излишнего тщания, поскольку боярин Головин (уже во времена Смуты) не только рассказывает об этом эпизоде Маскевичу, но и показывает ему каким-то образом уцелевшие экземпляры этих книг²³.

Польские влияния, столь распространившиеся в следующем веке, отмечались в эпоху Ивана Грозного и в сфере материальной культуры, о чем свидетельствует, в частности, сообщение в «Записках» Станислава Немоевского о доме, построенном в Москве по польскому образцу: «При Великом князе Иване один боярин, будучи послом в Польше, присматривался к нашему строительству, и вернувшись домой, велел поставить себе дом из тесаного дерева; узнав об этом, Великий князь приказал людям весь этот дом, забросавши грязью, разломать»²⁴.

Польские земли принимали русских беглецов и во времена детства Ивана, о чем он упоминает в первом послании Курбскому, неизменно акцентируя, что после этого они становились врагами православных: «...И от вас, изменников, пришлось претерпеть разные невзгоды и печали — князь Семен Бельский и Иван Ляцкий, подобно тебе, бешеной собаке, сбегали в Литву, и куда только они не бегали, взбесившись, <...> и отовсюду шли войной на православных» (с. 137)²⁵.

Среди выдающихся русских людей, нашедших убежище в польских землях, и первопечатник Иван Федоров, сокрушавшийся (в послесловии к львовскому изданию «Апостола» 1574 г.) по поводу преследований со стороны «злонравных и невежественных» церковных начальников, которые «нас по причине зависти во многих ересях обвиняли». Федоров видит в русских церковных иерархах людей, «не сведущих в науках, которые и в искусстве грамматики не умудрены, и духовного разума лишены <...> Эта ненависть нас и прогнала с земли, и с родины <...> и в другие страны неведомые переселила». Гонимый у себя на родине, Федоров встречает благосклонный прием у «благочестивого государя» Сигизмунда Августа²⁶. Описывая подвластные ему владения как «неведомую» страну, Иван Федоров прибегает к риторическому приему, призванному подчеркнуть его участь изгнанника, ибо существуют свидетельства его пребывания в Краковской академии и получения там степени бакалавра еще в 1532 г.²⁷

Отличавшая Польшу XVI в. веротерпимость делает ее привлекательной для русских вольнодумцев-еретиков, какими были Феодосий Косой и его единомышленники, не находившие места в России Грозного.

Образ Польши и представления о польском обществе, столь усложнившиеся в результате резкого расширения польско-русских контактов разного рода – политических, дипломатических, военных, культурных, литературных – в XVII в., начальное десятилетие которого ознаменовалось Смутой, были отмечены неоднозначностью уже в XVI в., хотя религиозный в целом характер русской культуры этой эпохи обусловил преимущественное восприятие польского общества сквозь призму конфессионального противостояния. Следует отметить, что и в следующем веке эта составляющая занимала существенное место в русском общественном сознании, о чем свидетельствуют и литература, посвященная Смутному времени, и полемические сочинения, однако ее доминирующая роль остается в прошлом²⁸.

Примечания

- ¹ *Исаевич Я.Д.* Этническое самосознание польской народности в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 256–280.
- ² См.: *Флоря Б.Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978.
- ³ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. 4-е изд. Ч. 2. М., 1916. С. 150.
- ⁴ См., например: *Макарова И.Ф.* Католики в общественном сознании болгар XV–XVI вв. // Славяне и их соседи. Вып. 3. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 16–28.

- 5 Послания Ивана Грозного. Подг. текста Д.С. Лихачева, Я.С. Лурье. Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951.
Послания Ивана Грозного польскому королю Стефану Баторию (1579 и 1581 гг.) цитируются по изданию: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. Сост., ред. Л.А. Дмитриева. Д.С. Лихачева. М., 1986. С. 172–217.
- 6 *Горсей Дж.* Записки о России. XVI – начало XVII в. М., 1990. С. 92. См. также: *Поссевино А.* Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983; *Скрынников Р.Г.* Россия после опричины. М., 1975. С. 88–90.
- 7 Послание Сигизмунду II от имени М.И. Воротынского // Послания Ивана Грозного. С. 433.
- 8 Послание Графу Яну Ходкевичу от имени И.Д. Бельского // Послания Ивана Грозного. С. 423.
- 9 Послание графу Ходкевичу от имени М.И. Воротынского // Послания Ивана Грозного. С. 436–437.
- 10 Как известно, Польша часто становилась прибежищем для выдающихся русских людей, которым по тем или иным причинам оказывалось невозможным пребывание в России Ивана IV.
- 11 Послание князю Александру Полубенскому // Послания Ивана Грозного. С. 380–381.
- 12 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Подгот. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков. Л., 1979. С. 156. Далее в тексте письма обоих корреспондентов цитируются по этому изданию. Ср. также: *Скрынников Р.Г.* Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973.
- 13 Послание Сигизмунду II от имени М.И. Воротынского // Послания Ивана Грозного. С. 431.
- 14 Послание Сигизмунду II от имени И.Ф. Мстиславского // Послания Ивана Грозного. С. 425.
- 15 См. Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков. Подгот. текста В.И. Малышева. М.; Л., 1952; Повесть об осаде Псково-Печерского монастыря (БАН, шифр 31.6.27); *Миллер В.Ф.* Исторические песни русского народа XVI–XVIII вв. Пг., 1915; Собрание народных песен П.В. Киреевского. Т. 1. Л., 1977. Ср. также: Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) и дипломатическая переписка, главным образом к заключению Запольского мира. Изд. по поруч. ИАН М. Коялович. СПб., 1867; *Пиотровский С.* Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (Осада Пскова). Пер. с пол. О.Н. Милевского. СПб., 1867 (2-е изд. – Псков, 1882); *Гейденштейн Р.* Записки о московской войне (1578–1582). Пер. с лат. СПб., 1889.
- 16 Текст цитируется по изданию: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. С. 400–477. См. также: *Мочалова В.* Historia sub specie litteraturae // Necessitas et ars. Studia Staropolskie ded. prof. J. Pelcowi. Т. 2. Warszawa, 1993. S. 37–46.
- 17 См.: *Лурье Я.С.* Литература в период образования единого Русского государства // История русской литературы. Т. 1. Под ред. Д.С. Лихачева, Г.П. Макаго-ненко. Л., 1980. С. 273.
- 18 Комментаторы называют этот образ (в оригинале – «мертвотрупабидателными псы») одним из самых сложных в «Повести», полагая, что он заимствован из послания Ивана Грозного Баторию 1581 г. – Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. С. 189, 621.
- 19 Комментаторы отмечают, что автор здесь иронически обыгрывает близкие по звучанию слова Баторий – Обатур (в псковских говорах – ‘гордец’, ‘нахал’). – Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. С. 623.

- ²⁰ Запис. К. Маклюинов, опубл. Л.Н. Майков в: Фил. Вестник, 1885; перепеч.: Жив. Стар., 1906. Вып. 3. Отд. 2. С. 129–130; вторая (97, с. 253–256) – Симб. Губерния – та же, что запис. Языковым, напеч. Киреевским; *Сахаров И.П.* Песни русского народа. СПб, 1839. Ч. 4. С. 346–351 – переделка симб. или арх. текста.
- ²¹ См.: *Казикова Н.А.* Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков. Л., 1980. С. 235–237.
- ²² *Лурье Я.С.* Литература в период образования единого Русского государства. С. 244. См. также: *Пташицкий С.* Западнорусские переводы Хроник Бельского и Стрыйковского // Новый сборник по славяноведению, изданный учениками В.С. Ламанского. СПб., 1905; *Казикова Н.* Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков.
- ²³ *Pamiętniki Maskiewiczów / Opr. A. Sajkowski. Red., wstęp Wł. Czaplinski. Wrocław, 1961. S. 145–146.*
- ²⁴ *Pamiętnik Stanisława Niemcewskiego (1606–1608) / Wyd. A. Hirschberg. Lwów, 1899. S. 172–173.* Ср. также: *Флоря Б. С.* Немоевский о Русском государстве и обществе XVI – начала XVII вв. // *Russia Mediaevalis*. Т. IX, 1. S. 105–114.
- ²⁵ Князь Семен Бельский и окольный Иван Ляцкий бежали к польскому королю Сигизмунду I в 1534 г., накануне его выступления против Руси.
- ²⁶ Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. Сост., ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. М., 1985. С. 292–293.
- ²⁷ См.: *Немировский Е.Л.* Иван Федоров в Белоруссии. М., 1979.
- ²⁸ Об отголосках этого прошлого в наши дни ср.: «Когда нынешних начальников Оптиной Пустыни спросили, почему на территории монастыря нет памятника польским жертвам концлагеря, они сказали, что это «светское дело» и они не хотят в него вникать. Кроме того, добавили начальники, это были люди чужой веры». – *Ерофеев В.* Оптина Пустынь и губная помада // Мужчины. М., 1998. С. 15.

Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка

Национальный стереотип, т. е. стандартное представление одного народа о другом, – явление, требующее вдумчивого изучения. Оно может быть исследовано только в связи с такими понятиями, как национальный характер и автостереотип того народа, об образе которого идет речь. При этом важно сопоставить национальные стереотипы, существующие у разных народов, а если дело касается двух народов, то проанализировать сформировавшиеся у них взаимные представления друг о друге.

В отличие от национального стереотипа, национальный характер – это сложный комплекс подчас противоречивых черт, широкий и богатый набор свойств. Он не вполне совпадает с автостереотипом: собственные представления народа о себе довольно объемны, но не могут быть достаточно критичны и объективны; собственный образ в целом рисуется светлыми красками. Национальные стереотипы, сложившиеся у других народов, бывают как негативными, так и позитивными, но и в последнем случае они не адекватны ни автостереотипу, ни национальному характеру. Национальный стереотип более узок, беден нюансами; обычно выделяется несколько наиболее характерных черт.

Ю.В. Бромлей, подчеркивая, что национальные стереотипы, обычно упрощенные и негативные, расходятся с действительностью, видел источник их возникновения в отсутствии взаимопонимания народов, в плохом, недостаточном знании ими культуры и традиций друг друга¹. Этот тезис, на первый взгляд вполне логичный, кажется далеко не бесспорным. Проведенный в 1996 г. в Польше социологический опрос на тему отношения к представителям других народов показал, что полякам наиболее симпатичны далекие от них французы, американцы, итальянцы, а меньше всего симпатий они испытывают к соседям – русским, украинцам, чехам, немцам². И это закономерно. Ведь нередко именно народы, далекие друг от друга, имевшие мало контактов, точек соприкосновения, а значит, и взаимных трений, как раз по этой причине создают друг о друге вполне благоприятные представления. И наоборот, негативное мнение рождается из близкого и не всегда приятного знакомства и общения.

На складывание стереотипа влияет, с одной стороны, личный опыт отдельного человека, а с другой – общественный опыт, опыт истории, определяющий взаимоотношения этих народов. Последний оказывает более сильное воздействие, так как единичный опыт может воспри-

ниматься как случайность, тогда как опыт общественный, исторический выступает как бы гарантом объективности складывающихся представлений о другом народе.

Национальные стереотипы вырабатываются в результате длительного процесса. Важными факторами его развития являются сами исторические судьбы народов, их переплетение, степень их родства, соседство, взаимоотношения на протяжении веков. Особенно сильно влияют на этот процесс войны и соперничество народов, завоевания и захваты, национальный гнет и национально-освободительное движение, взаимодействие различных социальных систем, экономическое и культурное сотрудничество, идейное и культурное взаимовлияние, совместная борьба против общего врага и пр.

Все перечисленное выше было характерно для взаимоотношений поляков и русских и повлияло на формирование их представлений друг о друге. При этом влияние тех или иных факторов было различно, их значение в разное время менялось. Для определенных периодов можно выделить главные моменты: так, в XVI–XVII вв. это были геополитическое соперничество, войны, религиозная отчужденность; в XVIII–XIX вв. – участие России в разделах Польши, угнетение польского народа царизмом, национально-освободительная борьба поляков и революционное движение в России; в XX в. – создание Советского и Польского государств с различным социальным строем, войны 1920 и 1939 гг., сталинские репрессии, совместная борьба против фашизма, участие ПНР в блоке социалистических государств и распад социалистической системы, развал СССР и создание демократической России на новой политической и экономической платформе.

Национальные стереотипы представляют собой элемент национальной психологии, черты которой также складываются исторически и с течением времени могут меняться, а иногда под воздействием обстоятельств эти изменения совершаются резко, происходит как бы психологическая ломка. Подобное происходит и со стереотипом; этот обычно в высшей степени устойчивый феномен меняется медленно, порой на протяжении жизни не одного поколения, но могут возникнуть факторы, ускоряющие процесс. Такими факторами бывают как важные исторические события (объективный фактор), так и целенаправленная деятельность политически господствующих сил общества. Акцентируя этот субъективный фактор, Ю.В. Бромлей указывал на механизмы, используемые для распространения вражды и ненависти между народами разных культурных и идеологических ориентаций, – политическую пропаганду, масс-медиа, сферу образования, религию, литературу, кинематограф. В этой связи он ставил вопрос о степени устойчивости позитивных или негативных стереотипов: «Почему у одних народов су-

ществуют длительные и устойчивые представления друг о друге, которые не так легко меняются и выдерживают „испытание временем“, а другим народам достаточно недельной кампании средств массовой информации и политического давления, чтобы не только повлиять, но и даже серьезно изменить на массовом уровне представления о каком-либо народе и отношении к нему»³.

Разумеется, целенаправленные действия могут предприниматься также для разрушения негативных стереотипов и формирования положительного образа того или иного народа. Противоречивым оказывается и воздействие объективных факторов, что в целом способствует складыванию неоднозначного стереотипа. Набор элементов, составляющих стереотип, зависит также от позиции конкретного лица – носителя этого стереотипа в своем сознании. Кроме того, одни и те же его элементы могут трактоваться по-разному, а определенные черты и свойства оцениваться как положительно, так и отрицательно. Разница в интерпретации и оценке нередко бывает связана с классовым подходом, продиктована определенными социологическими схемами.

Эти общие соображения относительно национальных стереотипов находят подтверждение при непосредственном анализе процесса формирования в России стереотипа поляка. Как уже отмечалось, в XVI–XVII вв. он рисовался сугубо отрицательно, так как складывался на фоне непрерывных войн и соперничества Польши и Московского государства. Огромное значение имели религиозные различия: в глазах православного русского поляки-«латиняне» были такими же «нехристями», «басурманами», как татары-мусульмане и немцы-лютеране. По словам историка И.П. Филевича, в то время «русские беса представляли в виде ляха»⁴, а В. О. Ключевский утверждал, что поляк и татарин были постоянными врагами истинно русского человека и в XVIII в.⁵ В ту же эпоху Екатерина II в письме М. Гримму давала полякам в высшей степени нелестную характеристику: «продажные, испорченные, легкомысленные, вздорные, деспоты, прожектеры <...> – вот вам живой портрет поляков»⁶.

Разумеется, этот «портрет» призван был оправдать в глазах просвещенной Европы насилие, учиненное над Польшей. Но оно же имело и другую сторону: недоверие и неприязнь к «москалям», унаследованные из исторического опыта конфликтного прошлого, теперь, после гибели Речи Посполитой и захвата Россией ее части становились стойким элементом формирующегося национального самосознания польского народа и воспринимались как черта польского национального характера.

Пищу для укоренения такого взгляда давала вся история Польши периода разделов, которая характеризовалась непрекращавшейся борь-

бой польского народа за независимость, неоднократно выливавшейся в вооруженные восстания. Большинство из них было направлено против России, и это не могло не отразиться в сознании русских. Даже самые светлые умы России не были свободны от предвзятости в своем восприятии проявлений польского национально-освободительного движения. Но одновременно с фактором национальной борьбы поляков возник и такой фактор, как русско-польский революционный союз, направленный против общего врага – царизма. Представление русских о поляках менялось еще и потому, что менялась сама Россия: в ней рождался комплекс вины за разделы Польши, сочувствие к страданиям польского народа, что проявилось уже в конце XVIII в.⁷ Это чувство влияло на интерпретацию черт и свойств польского национального характера представителями русского общества, образ поляка обогащался светлыми тонами, становился неоднозначным.

Таким образом, в складывании представлений русских о поляках и Польше действовали как общие факторы, свойственные каждой соседней паре народов, так и специфические, обусловленные и особенностями русского национального характера, и самой спецификой России как государства. Поскольку оно было многонациональным, многие черты польского характера воспринимались сквозь призму восприятия других народов – украинцев, белорусов, литовцев, которые непосредственно, более тесно и постоянно контактировали с поляками. Это также накладывало отпечаток и усиливало противоречивость польского стереотипа, складывавшегося в сознании русских. Противоречивость составляла его характерную особенность: тут не было симметрии, по сравнению со стереотипом русского в глазах поляка – стереотипом, гораздо более однозначным и определенным. Это объяснялось разницей в положении польского и русского народов: для первого Россия являлась врагом № 1, так как с ней связывалась угроза его национальному существованию; русским же как нации поляки не были опасны и уж тем более не могли рассматриваться как главные противники⁸.

Тем не менее после восстания 1863 г. националистические круги России развернули пропагандистскую кампанию, пытаясь представить поляков исчадием ада и воплощением зла. Основным аргументом было массовое участие поляков в национально-освободительном движении и прежде всего в вооруженных выступлениях против царизма. Как одна из главных черт польского национального сознания отмечалась ненависть к России и русским, на этом базировалось создание образа врага-поляка. Известный журналист О.М. Меньшиков писал в 1911 г. о разделах Польши в работе «Сомнительная родня»: «Под видом „братского“ славянского народа мы ввели под свою крышу закоренелого врага, врага тысячелетнего, который в течение давних веков угнетал Западную

Русь и который в этом угнетении привык видеть историческое свое призвание»⁹. «Заклятыми врагами», цель которых – «внутреннее предательство», «внутреннее и внешнее разрушение России», считал поляков и П. И. Ковалевский. Он утверждал, что в конце XVIII в. Россия добровольно ввела в свой организм яд – «польскую ненависть»¹⁰. Подобные речи звучали из уст российских националистов с трибуны Государственной Думы. В выступлениях И.Я. Павловича, Е.А. Ганжулевича, Г.Г. Замысловского, А.Д. Юрашкевича и других правых депутатов поляки характеризовались как извечные враги России, хитрые и коварные¹¹.

И все же попытки ввести в массовое сознание русского народа понятие «поляк-враг № 1» не удалась. Польский стереотип остался неоднозначным и противоречивым. Лучше всего это можно проследить в тех областях, в которых национальные стереотипы находят наиболее яркое проявление и которые, в свою очередь, становятся факторами его закрепления или размывания, – в исторической науке и художественном творчестве, прежде всего в литературе, театре, а позже кинематографе. Выдающиеся представители русской культуры видели поляков как бы двойным зрением, создавали стереоскопические, объемные образы.

Скорее всего, это был результат слияния и переплавки личных впечатлений, осмысления исторического опыта и гениальной художественной интуиции, не позволявшей подлинному творцу отступить от правды в искусстве даже вопреки собственным убеждениям. Так, А.С. Пушкин отозвался на события восстания 1830 г. известным стихотворением «Клеветникам России», где писал о «кичливом ляхе». Подобную характеристику поляков он дал и в исторической драме «Борис Годунов»: там фигурируют «гордый пан» Вишневецкий, «гордая полячка» – «надменная Марина» (Мнишек); говорится и о «надменном уме», и о «безмозглых поляках», отличительной чертой которых является пустое хвастовство («поляки лишь хвастают и пьют»). В то же время Пушкин, близко общавшийся с А. Мицкевичем, восхищавшийся им как личностью и его поэзией, делает переводы лучших баллад Мицкевича «Воевода» и «Три Будрыса», где создает привлекательные образы поляков – как шляхтичей и шляхтянок, так и хлопа, благородно вставшего на защиту прекрасной любви против воеводы.

Еще более рельефно проступает эта двусторонняя позиция в творчестве Н.В. Гоголя. В повестях, рассказывающих о борьбе запорожцев с поляками («Страшная месть», «Тарас Бульба»), то и дело встречаются такие определения, как «вражьи ляхи», «чортовы ляхи», «поганые католики», «неверный народ», «проклятые недоверки», «нечестивые ляхи», «нечестивые звери-ляхи». Описываются чинимые поляками зверства – убийства, поджоги, страшные пытки и казни. Гоголь пишет о «гордых шляхтичах», которые «важно крутят усы и, важно задравши

головы, разваливаются на лавках» во время пиров в компании «чужих жен», играют в карты, «беснуются и отпускают шутки», «хвастают, говорят про небывалые дела свои». Под стать такой «сволочи» их челядь, которая «ходит козырем», и ксендз, говорящий «срамные речи». Как характерную польскую черту («польские обычаи») Гоголь отмечает стремление к роскоши («великолепные прислуги», «соколы, ловчие, обеды, дворы»). Он пишет о вспыльчивости поляков, об их легкомыслии («красавица была ветрена как полячка»). В качестве серьезного обвинения выдвигается «лукавство» поляков, вспоминаются их «вероломные поступки», говорится о невозможности положиться на польскую клятву: «не верьте ляхам, предадут псяюхи», – призывает Тарас, и его опасения оправдываются.

Изображая поляков, Гоголь все время видит их как бы глазами запорожцев и одновременно собственным взором. И его взгляд оказывается более объемным. Мы видим картины, где поляки выступают храбрыми и умелыми воинами, рыцарями. Перед читателем предстают «прекрасная полячка» и ее брат – «молодой полковник, живая, горячая кровь» – образы, написанные очень лирично и взволнованно, с большой симпатией. Мы узнаем, что зверства поляков были в духе времени, и казаки ничуть не отставали от них в жестокости. Польский король и «многие рыцари, просветленные умом и душой», писал Гоголь, были против жестокости. «Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспределом и дерзкой волей государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожной гордостью превратили сейм в сатиру на правление».

Проведший детство и юность на Украине, Гоголь гораздо теснее, чем Пушкин, был связан с польским миром, и это, несомненно, отразилось в его взгляде на поляков. Л.Н. Толстой был от этого мира более далек, хотя, конечно, имел возможность личных контактов с поляками и на военной службе, и в свете, а главное, готовясь к написанию своей эпопеи «Война и мир», он основательно изучал документы и материалы истории наполеоновской эпохи, в которой поляки и польский вопрос занимали важное место. В романе Толстого есть поразительная сцена начала войны 1812 г. – сцена форсирования реки Вилии полком польских улан: в ответ на приказ отыскать брод и перейти реку польский полковник просит разрешения перейти реку без брода; в результате на другой берег сумели выбраться лишь несколько человек, которые тотчас же закричали «Виват!» Наполеону, большинство же было вынуждено вернуться на старый берег, а 40 человек утонуло. Рисуя страшную картину гибели людей, Толстой пишет: «Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за

полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядом человека (Наполеона. – С.Ф.), сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали». Толстой не дает оценки, он только констатирует факт, но этот факт служит яркой характеристикой национального характера и, в свою очередь, предоставляет материал для формирования у русского читателя представления о поляках. Впрочем, в другом месте, показывая мимолетную встречу Андрея Болконского с Адамом Чарторыским, автор романа не уклоняется от эпитетов при описании выражения лица и взгляда тогдашнего министра иностранных дел России. В результате создается впечатление о гордом, холодном, властном и умном человеке.

Нужно принять во внимание, что Толстой, как он сам вспоминал впоследствии, с детства впитал в себя ненависть к Польше и лишь к концу жизни, ближе познакомившись с историей польского освободительного движения и польской ссылки, проникся к полякам особой симпатией и стремился искупить прежний «грех»¹². В известной мере такой «компенсацией» стал его рассказ «За что?», повествующий о подлинной судьбе сосланного в Сибирь участника восстания 1830 г. В. Мигурского и его жены, о трагедии их неудавшегося побега. Этот эпизод уже в 40-е годы XIX в. нашел отражение в рассказе известного ученого и писателя В.И. Даля (писавшего под псевдонимом «Казак Луганский») «Ссылный» и был интерпретирован весьма сочувственно к полякам¹³. Горячим сочувствием оказался проникнут и небольшой рассказ Толстого. В его изображении польские политзаключенные, и прежде всего главные герои повествования, предстают в ореоле благородства и героизма¹⁴.

Говоря о двойственном, но не противоречивом, а скорее стереоскопическом взгляде художника на польский характер, нельзя не упомянуть Ф.М. Достоевского. Его угол зрения не пересекается, как у Гоголя, со взглядом на поляков его персонажей. Достоевский сам оценивает своих героев-поляков либо соответствующими эпитетами, либо рисуя выразительные образы, требующие вполне однозначной оценки. Так, в романе «Братья Карамазовы» возникают почти карикатурные фигуры двух поляков, которые могут вызвать у читателя только отталкивающее впечатление. Один из них изображен особенно негативно: он напыщен, гонорист, подл, корыстен; в довершение оба оказываются карточными шулерами. Однако важно, что устами Мити Карамазова Достоевский высказывает мнение о нетипичности всех этих черт, когда речь идет о собирательном образе целого народа («не составляет один лайдак Польши»). Подтверждением этому служит изображение польских политических ссыльных в «Записках из мертвого дома» и в рассказе «Мужик Марей». Достоевский рисует поляков смелыми, честными, благородными, великодушными, способными к самоотверженной

дружбе. Отмечая их силу характера, верность своим убеждениям, он в то же время указывает на такие черты, как нетерпимость, раздражительность, болезненное озлобление и ненависть, но считает, что «это понятно». «На эту несчастную точку зрения они были поставлены силой обстоятельств, судьбой», – пишет Достоевский, – «им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины», осуждены на долгие сроки, смотрели на всех с предубеждением и потому не замечали вокруг себя ничего доброго. «Эти поляки вынесли тогда больше нашего», – делает вывод писатель.

Такой вывод представляется очень важным, так как свидетельствует, что в стереотип поляка входила новая черта: в сознании русского народа, по крайней мере его части, формировался образ поляка-страдальца. А.М. Горький писал, что «русские люди – люди мучительно тяжелой истории, и судить их надобно, не забывая пережитого ими в веках»¹⁵. Видимо, как раз поэтому многострадальный русский народ оказался способным понять страдания другого народа и так сильно ощутить свою причастность к его судьбе. Здесь возникает весьма интересный вопрос: как совпадение или сходство определенных черт национальных характеров влияет на формирование взаимных национальных стереотипов? В данном случае, как кажется, влияние было позитивным: русские смогли объяснить некоторые неприятные для них свойства польского характера; они обратили внимание на сложность этого характера и отразили его противоречивость в не менее противоречивом стереотипе.

Образы поляков, созданные величайшими писателями России, свидетельствуют об этом, и произведения уже упомянутого Горького не являются исключением. В этом плане характерен его ранний романтический рассказ «Старуха Изергиль», где речь о поляках ведет не сам автор, а старая цыганка. Она повествует о роли, которую в ее жизни сыграли «маленький полячок», «смешной и подлый», лстивый, «извивающийся, как червяк», и другой польский шляхтич – «подлый», «гордый демон», «лживая собака». В представлении Изергиль, побывавшей в Польше, там «живут холодные и лживые люди»; шипящий, «змеиный язык им дал Бог за то, что они лживы». Казалось бы, национальный стереотип поляка, нарисованный старой цыганкой и молодым писателем-русским, однозначно негативен, но Горький вплетает в него яркую и светлую полосу. Старуха рассказывает еще об одном поляке, который поехал воевать в Грецию против турок: «Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги».

Приведенные примеры далеко не исчерпывают содержащуюся в русской литературе польскую тему, но они в достаточной мере подтверждают, что талантливые, а тем более гениальные художники сумели наиболее глубоко понять польский национальный характер во

всей его сложности и противоречивости. Тем самым они отразили и существенную черту русского национального характера, его способность понимания и восприятия, ту «всемирную отзывчивость», о которой Достоевский говорил применительно к Пушкину и которую можно распространить на великую русскую литературу в целом. Художественный талант оказался выше политических моментов, он препятствовал идеологической заданности и схемам.

В еще большей степени это относится к сфере музыки, где в силу специфики этой области искусства влияние идеологии и политики намного меньше, чем в сфере литературы. Ближе всего к ним программная музыка, музыкальный театр, опера, и здесь на первый план выступают оперы М.И. Глинки («Жизнь за царя»), Н.А. Римского-Корсакова («Пан-воевода»), М.П. Мусоргского («Борис Годунов»). Если у Римского-Корсакова польский сюжет трактуется вполне нейтрально, отношение к героям камерной драмы сочувственное и этому соответствует музыкальная партитура, то оперы Глинки и Мусоргского представляют собой народные драмы, а «Жизнь за царя» к тому же носит выраженный патриотический характер, не говоря уже о том, что само название оперы свидетельствует о значительной ее идеологизированности. В этой связи образы врагов-поляков имеют соответствующую музыкальную характеристику; это не сольные партии, а хоровые речитативы, стилизованные в ритме мазурки. Наряду с этой резкой, отрывистой музыкой Глинка посвящает полякам целый акт волшебной прекрасной, мелодичной, преимущественно балетной музыки (так наз. «польский акт»). В ней есть черты, которые привычно связываются с польским национальным характером, традициями польской жизни, – легкость и изящество, блеск и помпезность.

Черты, включавшиеся в стереотип поляка и получившие в художественном творчестве России ту или иную интерпретацию, гораздо более однозначно и тенденциозно трактовались русскими историками. Политически и идеологически ангажированная историография второй половины XIX – начала XX вв. пыталась подвести научную базу под определение польского национального характера: отыскивались его славянские и сарматские истоки, указывалось на влияние Запада и «латинства» как на факторы его формирования.

Так, П.Л. Лавров считал славян максималистами, готовыми безоглядно идти до конца, не способными к компромиссам, уступкам, соглашениям¹⁶. Ф. Смит полагал, что польский национальный характер сформирован славянами и сарматами и что именно последним поляки обязаны склонностью к буйству, неумеренной фантазии, необузданной свободе, анархии. Они, по его мнению, «ни дать, ни взять, как дети, которые, если предоставить им свободу, могут наделать себе много вре-

да». Смит писал о «ложном направлении природных способностей» поляков при «избытке фантазии», «всеподавляющего воображения» и «недостатке рассудительности», «скудости здравого смысла», а вследствие этого о «неумении оставаться в должных пределах»¹⁷. Н.И. Костомаров также считал, что у поляков отсутствует благоразумие, прежде всего политическое, что чувство господствует у них над рассудком¹⁸, а М.К. Любавский подчеркивал, что им недостает долготерпения и холодного расчета¹⁹. С.М. Соловьев отмечал в польском характере крайнее развитие личностного начала, а отсюда необузданное стремление к свободе, «неумение сторониться со своим „я“ перед требованиями общего блага»²⁰. О том же писал и П.Д. Брянцев, считавший, что в польской шляхте и «козацкой вольнице» наиболее ярко проявилась страстная любовь к свободе, доходящая до произвола²¹.

Историки консервативного направления (В.Б. Антонович, И.Д. Беляев, П.Д. Брянцев, Д.И. Иловайский, И.П. Филевич и др.) писали об испорченности польского характера и видели в нем главным образом негативные черты – склонность к пьянству, разврату, безделью, обману, коварству и упорству в достижении своих целей. Правда, некоторые из них не отрицали энергии и храбрости поляков²². Более развернутую и обоснованную характеристику достоинств и недостатков поляков дал К.Н. Ярош, который, в частности, признавал за ними такие качества, как талантливость, отзывчивость, сердечная глубина, сложный и богатый душевный строй. Он утверждал, что горячность польского темперамента, «легкая возбудимость и экспансивность польского характера», напоминающего «бенгальский огонь», являются причиной неустойчивости чувств и доведения их до крайности, когда, например, «чувство чести <...> становится <...> гонором и щетинится иглами кичливости, самохвальства, надменности и забиячества». Из этого источника проистекают страстность надежд и опасений, неудержимое устремление вслед за заманчивой перспективой, подозрительность и лихорадочное беспокойство по ничтожным поводам. «Сильная восприимчивость к внешним впечатлениям» ведет к «легкости перехода от чувства к чувству, от сабельного удара к дружескому поцелую, от геройского подвига к излишеству в утехах жизни». Ярош оценивал эту особенность польского характера как сочетание легкомыслия и добродушия, а свойственное полякам фантазерство и «легкое уклонение от истины» относил за счет все тех же «живости чувств» и «высокого подъема воображения»²³.

Анализ польского национального характера в русской историографии не был самоцелью. Консервативные и либеральные историки обращались к нему при исследовании проблем истории России и Польши, отношений двух государств. Значительная часть исследований была

ответом на идеологический заказ – оправдать разделы Польши и участие в них России, показать нежизнеспособность Речи Посполитой и ее государственных институтов. В польском национальном характере видела причину ее падения консервативная и часть либеральной историографии. Ф. Смит, Д.И. Иловайский, М.О. Коялович, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров и др. отмечали, что у польского народа нет и не было инстинкта самосохранения, что он, как и все славяне, кроме русских (чей национальный характер был укреплен норманским элементом), не способен к организации, государственному строительству и управлению, к самостоятельному государственному существованию. П.Д. Брянцев, И.П. Филевич, М.О. Коялович, М.Ф. Владимирский-Буданов и др. акцентировали фактор «латинства», католицизма, оказавшего, по их мнению, разрушительное влияние на польский национальный характер и определившего тем самым форму общественно-политического устройства Польши, которое привело ее к гибели. Негативную роль католицизма подчеркивал и Н.Я. Данилевский, утверждавший, что с ним связана неотъемлемая черта польской истории – насильственность и нетерпимость, в том числе и религиозная²⁴.

В то же время в русской исторической науке существовало и другое мнение насчет религиозной, политической свободы и государственного устройства в Речи Посполитой. Так, А.Л. Лавров, Ф.М. Уманец, В.А. Бильбасов, В.А. Мякотин, П.Н. Жукович высоко оценивали польский парламентаризм. Лавров считал заслугой поляков доведение на основе государственного строя Польши до высшей точки развития идеи равенства, воплощение европейского политического идеала – «полного политического равенства всех личностей одного класса». «Там индивидуальное начало Европы, – писал он о Польше, – нашло себе самое полное осуществление <...> Государственная власть обратилась почти в ничто перед политическим правом польского шляхтича; его мысль, его воля могли высказываться, не встречая никакого препятствия. Он мог с большей решимостью противопоставить свое мировоззрение всем прочим, чем это можно было сделать где-нибудь в Европе, так как силы, его подавляющей и втесняющей в общепринятые предания, не существовало. Действительно, поляки не замедлили воспользоваться этим положением и вписали в третий раз имя славянского народа как влиятельного элемента в историю мысли»²⁵.

Ф.М. Уманец также подчеркивал, что политическая и религиозная свобода для шляхты воцарилась в Польше раньше, чем в других странах Европы, что до XVI в. нигде в мире не было столь обширного по объему и территории применения начал политической свободы. Высоко оценивая государственную систему Речи Посполитой, он отмечал, что многие принципы политического устройства, которые состав-

ляют силу и гордость английской и американской демократии, впервые были претворены в жизнь в Польше. Он считал, что прогресс обеспечивается не отдельными индивидуальными умами: прочность и долговременность великих идей пропорциональна интересу и сочувствию, возбуждаемым ими в народных массах, и для того, чтобы гениальные стремления индивидуумов не были зданием, построенным на песке, надо, чтобы они разделялись возможно большими массами людей²⁶. Подобно Уманцу и ряду других историков (В.А. Мякотин, В.А. Бильбасов, Н.И. Кареев), М.В. Довнар-Запольский утверждал, что высокой политической культурой в Речи Посполитой обладала масса шляхты и часть мещан²⁷.

Таким образом, часть русских историков воспринимала поляков не только как европейцев, но и как представителей европейского прогресса и, в свою очередь, воссоздавала этот образ в своих научных трудах, лекционных курсах, выступлениях. Вместе с тем, в другом лагере пренебрежительно отзывались о «европейничанье» поляков²⁸. И то, и другое мнение опиралось на реальную черту польского национального характера – стремление быть с Европой, не отставать от нее, а по возможности и задавать в ней тон. Но интерпретация этой характерной особенности давалась различная, в зависимости от той призмы, через которую смотрел конкретный человек. Подобную связь между чертами национального характера и чертами стереотипа можно проследить также на ряде других примеров. Так, если одни отмечали как отличительную польскую черту любовь к свободе и родине, то другие видели в этом бунтарство и национализм; гордость трактовалась как кичливость и надменность; воинственный рыцарский пыл поляков признавался проявлением безрассудства, легкомыслия, хвастливости и т. п.

Наиболее показательным может служить толкование польского патриотизма – черты, которая отмечалась не только всеми русскими исследователями: понятие «поляк-патриот» укрепилось в общественном мнении России. Для русских революционеров это был пример самоотверженной любви к родине и готовности бороться за свободу своего и других народов; участие поляков в европейском революционном движении рассматривалось прогрессивной частью русского общества как проявление интернационализма. Однако значительная его часть, в том числе выдающиеся представители, видели в польском патриотизме национализм – национальный эгоизм, кичливость, пренебрежение к другим народам.

Несомненно, такая оценка в ряде случаев являлась реакцией на стереотип поляка, распространенный на Западе, и противостояла ему. Но нельзя не признать, что польский патриотизм сам по себе имел особенности, которые делали грань между ним и национализмом очень тонкой. Элементы национального эгоизма и гегемонизма были характер-

ны для взглядов многих выдающихся представителей польского освободительного движения. Это касалось не только отношения к украинцам, белорусам, литовцам, которых большинство польских патриотов не признавало самостоятельными нациями. В идейно-политических концепциях ряда польских идеологов чехам и другим славянским народам отводилась второстепенная роль, подчиненное положение в славянском мире, а потенциальный соперник поляков на роль руководителя «славянщины» – русский народ вообще исключался из славянского круга на основе «аргументов» расистской туранской теории. И лишь немногие деятели противопоставляли свою позицию общераспространенной, заявляя о праве украинцев, белорусов, литовцев на самоопределение, поднимая голос против гегемонизма и дискриминации народов в рамках будущей славянской или европейской федерации²⁹.

Значение этих единичных проявлений интернационализма можно верно оценить лишь в сопоставлении с общим настроением, господствовавшим в Польше, со взглядами, которые имели массовое распространение и формировали общественное мнение, тем самым отразившись в национальном сознании и национальном характере. Последний характеризовался сложным переплетением элементов интернационализма и национализма. Поляки акцентировали значение польского вопроса в международной политике, имея в виду прежде всего перспективу европейской революции. Но нередко этот момент использовался ими для обоснования приоритета «польского дела», то есть интересов польского народа, перед интересами других народов. Такой подход таил возможность националистической трактовки, выдвижения идей национального эгоизма, пренебрежительного отношения к другим народам. В этой связи становится понятным, почему призывы к «экономии польской крови для чужих дел» звучали из уст даже таких радикальных демократов, как Я.Н. Яновский³⁰. И хотя участие поляков в революционной борьбе других народов было характерной чертой польского освободительного движения в XIX в., по существу все интернационалистские проявления такого рода являлись своеобразной реализацией стремления к борьбе за Польшу, чего не скрывали и сами польские революционеры. Таким образом, субъективно, принимая во внимание личную позицию того или иного поляка, участие его в борьбе за свободу другого народа не было примером интернационализма, так как отсутствовало интернационалистское сознание. Оно развивалось по мере того, как международная революционная практика втягивала поляков в сферу идей интернациональной солидарности. В той же мере интернационализм утверждался как элемент польского национального характера и приобретал шанс закрепиться в том образе поляка, который складывался у других народов.

На национальный характер накладывает отпечаток и такая черта, как акцентирование своей национальной особенности. Она может вести и ведет к национальной обособленности, изоляции, национализму в его худших проявлениях. Как правило, такая черта свойственна народам, у которых именно национальность подвергается опасности в результате национального гнета, национальных преследований и т. п. К таким народам относится и польский, и не случайно, что вопрос о «польскости» находится в центре его внимания до настоящего времени. Так, на международной научной конференции в Варшаве, посвященной 70-летию возрождения Польши, он рассматривался специально: анализировались характерные признаки «польскости», и, в частности, высказывалось мнение, что одной из ее черт является смакование своей особенности, сосредоточенность на том, что отличает поляков от других народов, и игнорирование того, что сближает.

Эта черта польского характера была отмечена и объяснена русскими учеными. Д. Н. Овсяннико-Куликовский писал, имея в виду, в частности, поляков, что «когда национальность подвергается разного рода стеснениям и угрозам, <...> национальное самосознание омрачается специфическими, очень тяжелыми чувствами национального оскорбления, обиды и тягостного ощущения насилия»; тогда идея «своей национальности» осложняется чувствами повышенной разгоряченной любви к ней, к своему национальному языку, с одной стороны, и чувствами злобы и ненависти к гонителям и насильникам, с другой». На этой почве, утверждал ученый, развивается националистическая идеология со страстями шовинистического характера, которая порой переходит в фанатизм, в комплекс навязчивых идей. Это патология национальной психики, и лечить нужно ее причину, то есть ликвидировать национальный гнет, насилие. Но, как подчеркивал Овсяннико-Куликовский, болезнь не проходит сразу: «по контрасту с прежним гнетом, чувство свободы превратится в соблазн своеволия и „психического разгула“. Национальная приниженность переходит в национальное высокомерие, национализм и шовинизм доходят до крайних пределов»; «освобожденная национальность от униженности перейдет к горделивому самоутверждению, граничащему с насилием над другими национальностями, „свое“ национальное право осложнится отрицанием чужих национальных прав»³¹. Овсяннико-Куликовский обращал внимание на то, что болезнетворный процесс гипертрофии национальности нередко сопутствует развитию высокой национальной культуры. Тем не менее основной его вывод был тревожным: «чрезмерное напряжение функций национальной психики и слишком яркое проявление национального „я“ могут вызвать повышенное и устойчивое национальное самочувствие, откуда недалеко до национальной исключительности, до нацио-

нального тщеславия и шовинизма <...>; возникает национальное самолюбование, осложняющееся презрением к другим национальностям»³².

Овсяннико-Куликовский писал эти слова в самом начале 20-х гг., когда ряд угнетенных ранее народов, в том числе и польский, обрели свободу и государственную самостоятельность и на их примере можно было проверить справедливость высказанных автором соображений насчет развития определенных черт национального характера. Это был, с одной стороны, период крайнего обострения отношений между Советской и Польской республиками, военного конфликта между ними, а с другой – время внедрения марксистской методологии во все сферы научной жизни Советской страны, утверждения в гуманитарных отраслях науки принципов классового подхода к анализу явлений, в том числе при изучении феноменов духовной жизни. Не исключено, что книга Овсяннико-Куликовского отразила эти происходившие в первые годы после Октябрьской революции процессы. «Национальная психика, – писал он, подразумевая под этим термином национальное сознание и национальный характер, – не есть сумма классовых, сословных, профессиональных и всяких иных групповых признаков <...> Национальная психика стоит вне и выше всех этих социальных черт, навыков, достоинств и недостатков. Она сверхсоциальна и складывается из черт, нравственно безразличных. И когда ту или иную классовую, сословную и т. д. черту приписывают национальности, то выходит грубая ошибка. Таковую является, например, мнение, что польская национальная психика характеризуется „рыцарством“ и „гонором“, что совершенно невозможно, ибо эти черты не национальные, а только сословные, шляхетские. Польский крестьянин и мещанин, купец, учитель, литератор и др. этой чертой не характеризуются, что не мешает им обладать польской национальной психикой»³³.

Весьма вероятно, что проблема «польской национальной психики» представляла в это время для утвердившейся в России коммунистической элиты отнюдь не теоретический интерес. Идеологическая пропаганда и агитация всегда были ее сильнейшим оружием, а в условиях советско-польской войны 1920 г. подновление или создание заново образа врага-поляка стало актуальной задачей. По сведениям проф. Ч. Мадайчика, советское военное руководство организовало подготовку материала, содержавшего характеристику польского национального характера. Поскольку пока не удалось отыскать этот материал, составленный, по предположению, специалистами, знающими Польшу, трудно сказать, представлял ли он собой действительную попытку анализа польского национального характера или являлся в полном смысле слова стереотипом, созданным с сугубо пропагандистской целью воздействия на широкие массы и возбуждения в них ненависти к врагу.

О том, как осуществлялась эта задача, можно судить по знаменитым «Окнам РОСТА» В.В. Маяковского – пропагандистским плакатам на актуальные темы жизни и политики Советской республики, к которым поэт делал подписи, а иногда и рисунки. Часть из них, относящаяся к 20-м годам, поднимает польскую тему, и решается она однозначно: употребляется словосочетание «панская Польша»; в страшном или жалком, карикатурном виде изображены враги, стоящие в Польше у власти. Порой они конкретно обозначены и узнаваемы: например, Ю. Пилсудский, к имени которого Маяковский добавлял эпитет «палач», изображался как «лакей» Д. Ллойд-Джорджа, как марионетка на ниточке у Р. Пуанкаре, лижущая сапоги буржуям (такой образ Пилсудского поэт создал в июле 1923 г., включив его в «Маяковскую галерею»); Р. Дмовский назван «Мосьюкой» из известной басни; упоминались и С. Патек вместе с Л. Скульским³⁴. Чаще же представлен обобщенный образ наглого пузатого «пана» в национальном костюме, который «весел и пьян», «грабит, громит и насилует». Такой «пан» с кнутом и кандалами в руках изображен на плакате (июль 1920 г.) в одном ряду с Врангелем, «наемником Антанты», «шпионом-поджигателем», «дезертиром фронта военного» и «дезертиром фронта труда». Заголовок плаката гласит: «Вот Советской России враги. С каждым боритесь, пока не погиб!» Аналогично озаглавлен и другой плакат, относящийся к тому же времени: «Красноармеец, узнай врагов своих, без всякой пощады уничтожай их». «Твой первый враг, – говорится в нем, – польское пановье, не убьешь его, петли тебе понавьют».

Еще один плакат (июнь 1920 г.) напоминал «товарищам рабочим и крестьянам», «молодым, старикам и детям», что среди их «главных врагов» – «Пилсудский и отродье паново, идущие самодержавие восстановить наново». Маяковский предупреждал, что «пан республику сожрет», что он «мчится <...> и лют и яр, смерть неся рабочим» (плакат, датированный августом 1920 г.). Рисунок на плакате, появившемся в апреле 1920 г., изображал рабочего на коленях перед «паном», а в тексте разъяснялось, что «пань» «лезут <...> на Коммуну», «красным ткнут петлю, нам могилу роют», что «лях» готовит Советской республике судьбу «быть под панским сапогом». Но, подчеркивалось в плакате, «выдранныю шляхту» ждет печальный конец: советские штыки оборвут ее «белые жупань», и она «побежит от нас бегом». Польские пань, эти «громиль», «погромщики, сеятеля тьмы» сравнивались с «тлэй», которую «ссыпят в могилу», со «злющим империалистским щенком», который «уйдет без задних ног», с «мышью», которую придавит «красное яичко» – РСФСР. «И панов прикончит красная рука», – предсказывал Маяковский осенью 1920 г.

Призывая «добить» «новых врагов» – «панов и шляхту», плакаты противопоставляли их польским рабочим. К последним автор плаката

«Щадите пленных!!!» (август 1920 г.) призывал относиться как к «нашим братьям»: «Бей панов, к победе иди! Но если в плен рабочий – щади!» Подчеркивалось, что «раньше была война национальная, стала теперь война классовой <...> Мы воюем с панским родом, а не с польским трудовым народом. И не с панами мы заключим мир, пролетарию руку протянем мы» (плакат в июле 1920 г.). «Мира с панами у красных нет», – заявлял Маяковский в июле–августе 1920 г. – «С рабочими Польши заключим мир, а с панами так покончим мы». А в сентябре от имени советских трудящихся он посылал призыв «через головы панов Польше»: «идите мириться, польские низы!» Это четкое классовое деление сохранялось в стихах Маяковского и в последующие годы. В стихотворении 1927 г. «Польша», написанном по следам пребывания в Варшаве, он высмеял кичливость панов, их шляхетский гонор: «Я, дескать, вельможный, я, дескать, пан, я, дескать, не смерд, не холоп». Наряду с «гонористостью», как характерную черту поэт отметил страсть к военным, к мундиру («военщина Польши назойлива и криклива»), привычку пускать пыль в глаза.

На примере раскрытия польской темы в творчестве Маяковского видно, что в советском обществе сохранился стереотип поляка, складывавшийся в предшествующие эпохи, но на него легла печать классово-идеологической схемы, влияние которой усиливала острота недавно прошедших в Советской республике событий – гражданской войны, борьбы против Антанты и Польши. Новый идеологический заказ требовал более четкого разграничения негативных и позитивных черт в польском стереотипе и распределения их по классовому признаку. В известной мере это лишало полнокровия, делало более жестким образ поляка, сложившийся в русском обществе к началу XX в. Тот, дореволюционный, стереотип отнюдь не был примитивен: он содержал достаточно богатый набор характерных черт. В то же время в этом наборе выделялись некоторые черты, которые можно было бы назвать стереотипом в стереотипе. Одним из характернейших словосочетаний являлось понятие «поляк-католик». Оно уходило корнями в средние века, когда религиозные различия воспринимались особенно остро. В эпоху разделов религия стала для поляков, боровшихся за свободу, опорой и оплотом, конфессиональный признак акцентировался ими, и потому образ «поляка-католика» прочно укоренился в сознании русского общества. В уже упоминавшихся думских выступлениях русских националистов между конфессиональной и национальной принадлежностью ставился знак равенства, и образ «поляка-католика» приобретал злобещий характер, подчеркивалась его агрессивность, фанатизм, ненависть к русским и православным³⁵.

После Октябрьской революции, когда проводилась политика воинствующего атеизма, религиозные различия утратили значение, а с

ними стерлось и понятие «поляк-католик». Изменилось и еще одно распространенное в русском обществе типичное понятие, которое формулировалось как «поляк-бунтовщик». Эта характеристика возникла на основе исторического опыта польских освободительных восстаний конца XVIII – XIX вв. И если для властных структур России, для русских националистов и значительной части обывателей это словосочетание имело негативное звучание, то представителями революционной России, видевшими в поляках союзников в борьбе с царизмом, эта черта польского национального характера воспринималась со знаком «плюс». Можно говорить даже о полонофильстве определенной части русского общества, хотя массовым явлением оно, конечно, не стало. После Октября 1917 г. задача революционной борьбы поляков и русских с общим врагом отпала, но остался культ революционеров, он стал частью официальной идеологии Советской России. Поэтому позитивная интерпретация «бунтарства» как одной из основных черт национального стереотипа поляка сохранилась.

Существенно, что в процессе формирования образа поляка в этот период могли принимать и принимали целенаправленное участие сами поляки, многие из которых стояли на верхних ступенях советской иерархии. Их взгляды по национальному вопросу и классовые ориентиры были вполне определенными, и не исключено, что кто-то из них находился среди авторов упомянутого материала, подготовленного для руководства Красной Армии. В то же время эти находившиеся на виду представители польской нации вносили собственные черты в национальный стереотип, а так как главной их характеристикой являлась преданность делу пролетарской революции, то в массовом сознании укрепился давний стереотип «поляка-революционера», но теперь уже с неоднозначно классовым оттенком. Наиболее ярким примером является представление о Ф. Дзержинском как «рыцаре революции», которое не только тиражировалось в советской пропаганде, но и действительно вошло в сознание не одного поколения советских людей.

Поскольку критерием оценки становилась антитеза «революционный» – «реакционный», и в советской исторической науке, и в художественном творчестве 20–30-х гг. культивировался интерес к тем польским сюжетам, которые давали возможность противопоставить светлые образы людей труда Польши, ее героев-революционеров образам «панов» – помещиков и буржуев, рисуемым самыми черными красками. Не случайно уже в 1920 г. появился фильм на сюжет упоминавшегося рассказа Л.Н. Толстого «За что?». Его создателем был знаменитый актер и режиссер И. Перестиани, а роль главной героини сыграла известная актриса МХАТ Л. Коренева. По мотивам рассказа Н. Шаповаленко написал пьесу «Альбина Мигурская», к которой обратились ряд теат-

ров в столице и провинции (в Астрахани, Оренбурге и др.). Большой успех имела постановка московского Малого театра в 1929 г.; в заглавной роли выступила выдающаяся драматическая актриса Е. Гоголева, принимали участие в спектакле и другие знаменитые актеры. В мелодраме были усилены мотивы революционной борьбы с царизмом, и, как отмечалось в рецензии на спектакль, зритель с волнением следил за судьбой «самоотверженной польки-революционерки»³⁶. Драматичность сюжета, определявшая эмоциональный настрой зрительного зала, привлекла к нему внимание композиторов: в 1933 г. в Ленинграде была поставлена опера «Побег», музыку которой написал Н. Стрельников; в партии Мигурского дебютировал прославленный впоследствии певец Г. Нэлепп. Видимо, опера оказалась творческой удачей Стрельникова, так как была поставлена также и в Москве.

30-е годы были временем сталинских репрессий, коснувшихся миллионов людей – и поляков, и русских, и представителей других народов. В страшной атмосфере тех лет происходило, с одной стороны, усиление идеологизации всех сторон жизни советского общества, а с другой, оно все больше изолировалось от других стран, даже соседних. Правда, после заключения между СССР и Польшей пакта о ненападении в 1932 г. наступил краткий период оживления советско-польских отношений, прежде всего в области культуры: в Москве состоялась декада польского искусства; стороны обменивались художественными выставками, концертами; вышли номера журналов, посвященные соседней стране; активизировались взаимные визиты творческой интеллигенции и пр. Это давало возможность двум народам лучше узнать и оценить друг друга, и первые шаги на этом пути были успешными. Но с середины 30-х гг. политические отношения между СССР и Польшей стали быстро ухудшаться, а с началом Второй мировой войны в сентябре 1939 г. произошел полный разрыв. Характерно, что именно в это время в советской пропаганде вновь ожил стереотип, формировавшийся тенденциозной русской историографией XIX в.: обосновывая соглашение с фашистской Германией о новом разделе Польши, В.М. Молотов назвал последнюю «ублюдочным» нежизнеспособным государством³⁷.

По существу, в 30-е годы советский стереотип поляка сохранил прежнюю негативную направленность. В сложившейся обстановке он и не мог развиваться в положительную сторону. Наоборот, старые догмы ужесточились под усилившимся идеологическим прессом. В условиях, когда обязывал классовый подход, когда существовал идеологический заказ, были вынуждены творить ученые, писатели, создатели театральных спектаклей и кинофильмов. Тенденциозное изображение поляков было характерно в то время для работ даже крупных мастеров (например, в фильмах «Богдан Хмельницкий», «Щорс» и др.). Но в тесных

цензурных рамках большим художникам порой удавалось создавать выдающиеся произведения, где с теплотой и симпатией была представлена жизнь простых людей в Польше.

К таким выдающимся произведениям относится фильм замечательного кинорежиссера М.И. Ромма «Мечта», в котором создали незабываемые образы целая плеяда «звезд» – Ф. Раневская, А. Войцик, Е. Кузьмина, М. Астангов, Р. Плятт и др. Фильм появился вскоре после присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии и показывал Польшу накануне этих событий. Заданность освещения темы вкупе с известной изолированностью советского кинематографа от мира обусловили некоторую наивность в показе «заграничной», в данном случае польской жизни. Но к такому выводу зритель может придти лишь теперь, после того как он обогатился историческим опытом и ближе узнал о жизни «за кордоном». Тогда же благодаря великолепной игре актеров советский зритель увидел простых людей Польши – честных, добрых, работающих, любящих и глубоко несчастных. Характерно, что даже, казалось бы, традиционный образ польского «пана», который не имеет за душой ни гроша, живет в убогой комнатенке, где сушится его единственная пара носков, но ведет себя в ресторане по-барски, надменно и кичливо издевается над соперником – еврейским инженером, даже этот образ в исполнении Астангова неожиданно стал трогательным и человечным, приобрел трагическую окраску. Несомненно, по своей тональности, по сочувственному настроению, которым был проникнут фильм, он может быть зачислен в разряд произведений, внесших вклад в формирование у советских людей положительного польского образа.

В годы Великой Отечественной войны факт зависимости развития польского стереотипа от влияния политики и идеологии нашел новое подтверждение. Когда Советский Союз установил отношения с правительством Польши в эмиграции и поляки стали его союзниками по борьбе с фашизмом, изменился тон высказываний о Польше в печати. Но и этот период советско-польского сближения скоро окончился: возникло дело о Катыни, армия ген. Андерса ушла из СССР, и советско-польские отношения вновь стали напряженными. Их улучшение оказалось связанным уже с формированием Войска Польского на советской территории и созданием Польского комитета национального освобождения. Тогда же на советском экране появился фильм «Зигмунт Колосовский», где перед зрителем предстал положительный герой – умный, ловкий, удачливый польский разведчик. Это время, когда стали развиваться массовые контакты между русскими и поляками, было отмечено действием двух разнонаправленных факторов (с одной стороны, братство по оружию, а с другой, – конфронтация с польским прави-

тельством в Лондоне и Армией Крайовой), что накладывало печать на отношение к Польше и осложняло развитие национального стереотипа поляка в сознании советских людей.

После Второй мировой войны Польша оказалась в составе так наз. социалистического лагеря. Хотя официальная советская доктрина включала в себя интернационалистические лозунги дружбы и равноправия народов, в действительности СССР проводил великодержавную политику, осуществляя диктат по отношению к своим союзникам, навязывал обществу тоталитарную модель. Лицемерное расхождение между словом и делом мешало воспитанию советского народа в духе подлинного интернационализма. К тому же все средства советской пропаганды были направлены на обоснование великодержавного курса, что отразилось и на художественном творчестве, и на исторической науке.

До недавнего времени в советской исторической науке настойчиво проводилась официозная концепция, не позволявшая правильно оценить позицию России и российского общества по польскому вопросу, дать объективную картину бытовавших в русском народе представлений о поляках. Эта концепция предполагала замалчивание и «обеление» внешнеполитического курса царизма и проводившейся в Российской империи политики национального гнета, русификации, направленной против угнетенных народов, в частности, польского. О подобных фактах и явлениях историкам приходилось говорить эзоповым языком вместо того, чтобы назвать их настоящим именем – великорусским шовинизмом? Что означало бы открыто отмежеваться от шовинистической позиции, подчеркнув различие между русским царизмом и русским народом.

Правда, о том, что нужно отделять русский народ от царизма в их отношении к Польше, в советской исторической науке писалось не раз; приводились факты поддержки, помощи, понимания русскими поляков, проявления ими солидарности с революционной Польшей. Но эти факты трактовались не как отдельные примеры, а как главная, определяющая линия. Замалчивалось, что шовинистическая пропаганда правящих кругов оказывала сильное влияние не только на темные массы, но и на широкие слои русского общества, на видных представителей интеллигенции. Это влияние формировало их позицию в польском вопросе, что сказывалось и на складывании в русском общественном мнении стереотипа поляка. Без учета настроений, господствовавших в русском обществе, то есть без учета общего фона, нельзя было должным образом оценить и те отдельные факты, показывавшие отход от стереотипа, его преодоление либо иную интерпретацию той или иной черты польского национального характера. А это значит, что утрачивалась возможность проследить тенденцию развития национального

стереотипа, перспективу его изменения. Впрочем, и сами проблемы, связанные с национальной психологией, национальным характером, национальным стереотипом и т. п., почти не разрабатывались. В то же время культивировались многие стереотипные догмы, шедшие из русской дореволюционной историографии. Зачастую как национализм трактовалось все, что было направлено против России, а по существу против русского царизма. Такая постановка вопроса обрекала на негативную оценку и патриотизм – одну из наиболее ярких черт польского национального характера. При этом сказывался и пресловутый «классовый подход», привычное наложение социологических схем. Борьба за свободу родины оценивалась как патриотизм или национализм в зависимости от привходящих обстоятельств социально-политического характера. При таком субъективном и одновременно догматическом подходе признавался патриотизм польского демократического лагеря, но консервативным, клерикальным и т. п. элементам польского общества отказывалось в праве называться патриотами. Примером может служить «чарторыщина», которую польская историческая традиция включала в патриотический лагерь и которой советская историография в этом отказывала. Не вдаваясь в данном случае в рассмотрение аргументов обеих сторон, видимо, нужно признать, что польский патриотический лагерь и польское патриотическое движение были очень пестрыми в классовом, социально-политическом, идеологическом отношении. Отсюда вытекает необходимость изучать и оценивать все слагаемые этого феномена. Это же дает право говорить о патриотизме не как о свойстве, присущем какой-то определенной социальной, политической и т. п. группе, а как о черте национального польского характера, которая получила отражение в представлении о поляках, сложившемся у многих народов.

Участие Польши в социалистическом блоке являлось противоречивым фактором: оно имело не только негативную сторону в плане последствий для отношений между народами обеих стран. Создавались условия для расширения человеческих контактов. Эти условия стали более благоприятными со второй половины 50-х гг., после XX съезда КПСС. Советские люди получили возможность лучше узнать польскую культуру, в театрах Советского Союза шли польские пьесы, польский кинематограф не только заслужил высокую оценку в советской художественной среде, но и снискал большую популярность в массах. Особенным успехом у советской публики пользовались польские кинокомедии и эстрада. Они добавили в стереотип поляка новые черты – остроумие, иронию, развитое чувство юмора. И не случайно одна из популярнейших программ, существовавшая на телевидении в течение почти 20 лет, развлекательная передача «Кабачок „13 стульев“» была основана на

материале польской эстрады и польских юмористических журналов, а все персонажи носили польские имена и воплощали определенные национальные типы, как их представляли себе авторы программы и актеры.

Авторитет Польши в глазах советских людей был связан не только с достижениями в области развлекательных жанров. Для советской интеллигенции, особенно для поколения «шестидесятников», Польша была олицетворением свободомыслия, звеном, связующим Советский Союз с европейской демократией, «окном в Европу». Польские газеты и журналы служили одним из важнейших источников информации; чтобы свободно их читать, некоторые специально учили польский язык. Польша представляла как мир высокой культуры, духовности, тонких чувств. Очень характерны в этом плане стихи Б.Ш. Окуджавы, где он говорит о своих жизненных ценностях, о чувствах, навеянных образом Варшавы:

Украшение жизни моей – засыпающих птиц перепалка,
Роза, сумерки, шелест ветвей и аллеи Саксонского парка.

Представляется, что этот образ Польши и доныне сохранился в сознании интеллигенции России, хотя другая ее ипостась – «окно в Европу», казалось бы, утратила свое значение после перестройки в СССР и образования новой России. Зато в новой обстановке, когда в России начались демократические преобразования и экономические реформы, возник и новый образ Польши – первопроходца в экономике и политике, примера для подражания. Он действительно совершенно новый, так как еще в межвоенный период в российском сознании утвердилось совсем иное представление о Польше как об экономически отсталой стране. Сейчас Польша, более, чем какая-либо другая посткоммунистическая страна, стала для России эталоном в смысле продвижения реформ, так как начала ранее других и добилась ярких успехов, а кроме того, она исторически ближе России. Поэтому российские реформаторы обратились к ее опыту, во многом равнялись на польских монетаристов и «шокотерапевтов». Российская пресса не раз писала о «польском экономическом чуде», указывала на польскую схему приватизации как на образец эффективности. После февральского референдума 1996 г. в Польше корреспондент «Известий» Я. Шимов в статье «Польша миновала экономические рифы, на которые еще может напоротья Россия», отмечая, что большинство поляков устраивает экономический курс их государства, подчеркивал: «Вообще нынешнее состояние польской экономики весьма показательно: не будет преувеличением сказать, что примерно таких же результатов, пусть, может быть, и не столь быстро, могла бы добиться Россия при достаточно решительном и последовательном проведении политики реформ»³⁸.

Несмотря на отмеченное выше отставание России от Польши, продвижение по пути реформ, сам факт их проведения в обеих странах явился очень важным фактором сближения. Развитие предпринимательства, деловых поездок способствовало лучшему взаимному узнаванию, установлению партнерских и дружеских связей. Российские бизнесмены смогли непосредственно познакомиться с бытом, обычаями, традициями, культурой соседей. В результате круг взаимного общения, который ранее в значительной мере ограничивался интеллигенцией, расширился; оно стало массовым, охватило различные социальные группы. Личные впечатления, личный опыт отдельных людей, найдя подтверждение в неоднократном повторении, давали в сумме основу для внесения новых черт в стереотип поляка, для его позитивного развития³⁹. Открылись перспективы и для возрождения некоторых прежних характеристик, но уже на новой основе. Это касается, в частности, понятия «поляк-католик», утратившего значение в годы советской власти. В изменившейся обстановке, когда в России вновь пробудился интерес к религии и пока в массовое сознание русских не вошло еще противопоставление православия и католичества, представление о религиозности поляков скорее способствует созданию положительного образа носителя христианских ценностей, который причудливо сочетается с образом оборотистого коммерсанта.

Успехи Польши в экономике были прямо связаны с ее авангардной ролью в политике. Этот момент был как раз отмечен в российской прессе как пример для России. Поляки, традиционно воспринимавшиеся русскими в качестве эталона свободолюбия, теперь выступали в их глазах как пионеры борьбы против тоталитаризма, за демократические преобразования, политические свободы, права человека. В России, где коммунистическое прошлое имеет более прочные корни, демократии приходится труднее, так как опасность грозит самому ее существованию, в отличие от Польши, где речь идет лишь о возможном изменении качества демократии. Сегодня и в России, и в Польше национализм поднимает голову, используя разочарование и боль людей, переживающих за упадок своей родины. Русские националисты готовы предъявить претензии всем народам, находившимся под эгидой России, в том числе и полякам. Что касается основной массы людей в России, то они имеют иное историческое сознание, по понятным причинам отличающееся также и от исторического сознания польского народа. Нормальный русский не будет ненавидеть поляка за прошлые «грехи» — за то, что было в Москве в 1612 или 1812 гг., но его затрагивают недавние факты истории, те, что на памяти еще живущих людей, прежде всего связанные со Второй мировой войной и освобождением Польши от фашизма. Его больно ранит разрушение памятников героям войны или отказ считать 8 мая Днем Победы. Такие факты формируют у него

негативное отношение к Польше и полякам. Парадоксально, но в данном случае плохая информация служит хорошую службу. До масс в России не доходят большинство фактов. Наша пресса либо недостаточно осведомлена, либо, к своей чести, не хочет подливать масла в огонь и разжигать антипольские настроения. Во всяком случае в российской печати, кажется, не было никакой реакции на то, что происходило в Варшаве 17 сентября 1995 г. при открытии памятника жертвам репрессий коммунистического режима. Кроме примаса кардинала Ю. Глемпа все остальные ораторы, начиная с тогдашнего президента Л. Валенсы, именовали Россию «бесчеловечной землей», хотя автор «Nieludzkiej ziemi» назвал так не страну, а ГУЛАГ.

Большинство людей в России, не знающие корней, истоков национальной чувствительности поляков, по-человечески не понимают, как можно смешивать властную элиту и народ, также понесший огромные жертвы вследствие репрессий и отдавший миллионы жизней за освобождение Европы от фашизма; они считают обвинения в адрес России несправедливыми и незаслуженными. Было бы правильным, чтобы ответственные, облеченные властью лица воздерживались от таких национальных проявлений, которые формируют чувство обиды и оскорбления у других народов и отнюдь не способствуют позитивному развитию взаимных представлений и отношений. С другой стороны, необходимо шире распространять в России знания о польском народе, о его историческом прошлом, трагической судьбе, объяснять причины тех или иных национальных проявлений в Польше, показывать истоки формирования особенностей польского национального характера. Ю.В. Бромлей еще в 1986 г. писал, что делу «создания стойких позитивных образов и отношений одного народа к другому» могла бы помочь специальная этнографическая служба – своеобразная международная «служба неотложной помощи». Она «стояла бы на страже здорового климата в отношениях между народами», имея в виду «прежде всего характер образов-представлений друг о друге, отношений друг к другу на этнокультурном массовом уровне»⁴⁰.

Пока такая служба не создана, взаимная пропаганда позитивных национальных стереотипов является задачей всей интеллигенции и прежде всего ученых России и Польши – историков, литературоведов, этнографов, социологов, политологов, психологов. В решении этой задачи уже делаются первые шаги⁴¹, и они тем более важны, что сейчас настало время, когда сами народы стали задумываться о себе и о том, как они выглядят в глазах других. Отмеченные сегодня в Польше попытки «самокритики», беспристрастной и бескомпромиссной самооценки⁴² также вносят новые краски в портрет поляка, заставляют и соседей по-новому взглянуть на «гордого и кичливого ляха». Процесс формирования польского стереотипа продолжается.

Примечания

- 1 *Бромлей Ю.В.* Этнография и взаимопонимание народов // Советская этнография. 1986. № 1. С. 9.
- 2 Известия. 16.III.1996.
- 3 *Бромлей Ю. В.* Указ. соч. С. 8–9.
- 4 *Филевич И. П.* Польша и польский вопрос. М., 1894. С. 2.
- 5 *Ключевский В.О.* Курс русской истории // Сочинения. Т. 5. М., 1989. С. 36.
- 6 Письма императрицы Екатерины Второй к М. Гримму (1774–1796). СПб., 1878. № 238.
- 7 См.: Очерки революционных связей народов России и Польши. 1815–1917. М., 1976. С. 16–18, 22–27.
- 8 *Duszenko K.* Polak i Polka w oczach Rosjan // Narody i stereotypy. Kraków, 1995. S. 158.
- 9 Цит по: *Ковалевский П.И.* Национализм и национальное воспитание в России. СПб., 1912. С. 150.
- 10 Там же. С. 151.
- 11 См.: *Фалькович С.М.* Проблемы католической церкви и католической веры в Государственной Думе после революции 1905–1907 гг. в России // *Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI–XX w.)*. Warszawa, 1977. S. 277–285.
- 12 *Гусев Н.* Два года с Л.Н. Толстым. М., 1928. С. 185; Толстовский сжегодник 1913 года. СПб., 1914. Ч. III. С. 477.
- 13 *Даль В.И.* Ссылный. – «Небывалое в бывалом и былое в небывалом» // Отечественные записки. 1846. Т. XCVI. С. 153–156.
- 14 См. подробнее: *Bolszakow L., Djakow W.* Sprawa Migurskich. Kraków; Wrocław, 1984; *Białokozowicz B.* Lwa Tolstoja związki z Polską. Warszawa, 1966.
- 15 *Горький А.М.* Собр. соч. Т. 29. М., 1954. С. 282. Письмо М.С. Сажину между 6 и 28 октября (19 октября и 10 ноября) 1912 г.
- 16 *Лавров П.Л.* Роль славян в истории мысли // *Историографические исследования по славяноведению и балканистике*. М., 1984. С. 367. Это положение относилось к славянам в целом, а значит, как к полякам, так и русским. Недаром академик Д.С. Лихачев полемизировал с представлением «о русском национальном характере как о характере крайности и бескомпромиссности, „загадочном“ и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного (и, в сущности, недобром)» (*Лихачев Д. С.* Заметки о русском. М., 1984. С. 7). Здесь вновь встает вопрос о влиянии сходства определенных черт национальных характеров двух народов на складывание их представлений друг о друге. Вполне возможно, что максимализм, присущий и русским, и полякам, не способствовал их взаимопониманию и формированию взаимных положительных стереотипов.
- 17 *Смит Ф.* Ключ к разрешению польского вопроса или почему Польша не может существовать как самостоятельное государство. СПб., 1866. С. 17, 30, 48, 58.
- 18 *Костомаров Н.И.* Костюшко и революция 1794 г. // Вестник Европы. 1870. № 1–3. С. 185.
- 19 *Любавский М.К.* История западных славян (прибалтийцев, чехов и поляков). М., 1918. С. 337.
- 20 *Соловьев С.М.* История падения Польши. М., 1863. С. 9.
- 21 *Брянцев И.Д.* История Литовского государства с древнейших времен. Вильна, 1889. С. 122.

- ¹² Иловайский Д.И. Гродненский сейм 1793 г. Последний сейм Речи Посполитой. М., 1870. С. XII.
- ¹³ Ярош К.Н. Русско-польские отношения. Цит по: Ковалевский П.И. Указ. соч. С. 143–145.
- ¹⁴ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1871. С. 187–188.
- ¹⁵ Лавров П.Л. Указ. соч. С. 356.
- ¹⁶ Уманец Ф.М. Вырождение Польши. М., 1872. С. 16, 172, 231.
- ¹⁷ Довнар-Запольский М.В. Спорные вопросы в истории литовско-русского сейма. СПб., С. 32.
- ¹⁸ Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 393–394.
- ¹⁹ Фалькович С.М. О некоторых понятиях, связанных с национальной проблематикой, применительно к исследованию истории Польши и российско-польских отношений в Новое и Новейшее время // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. М., 1991. С. 45–52.
- ²⁰ См.: *Rzadkowska H. Polemiki ideologiczne J.N. Janowskiego. Warszawa, 1960. S. 67–68.*
- ²¹ Овсянко-Куликовский Д.Н. Психология национальности. СПб., 1922. С. 33–35.
- ²² Там же. С. 37–38.
- ²³ Там же. С. 17–18.
- ²⁴ Все цитаты из произведений Маяковского даются по изданию: *Маяковский В.В. Соч. М., 1957.*
- ²⁵ См. подробнее: *Falkowicz S. Понятие «поляк-католик» в сознании русских // Acta Polono-Ruthenica. IV. Olsztyn, 1999. S. 234–243.*
- ²⁶ Известия. 2.IV.1929.
- ²⁷ См. подробнее: *Фалькович С.М. Влияние культурного и политического факторов на формирование в русском обществе представлений о Польше и поляках // Культурные связи России и Польши X–XX вв. М., 1998. С. 190–203.*
- ²⁸ Известия. 23.II.1996.
- ²⁹ Вряд ли можно согласиться с категорическим утверждением некоторых ученых, будто стереотип не зависит от личного опыта. (*Berting J., Gandossi Ch.V. Rola i znaczenie stereotypów w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne // Narody i stereotypy. S. 14–15.*)
- ⁴⁰ Бромлей Ю.В. Указ. соч. С. 9.
- ⁴¹ См.: *Drawicz A. Nasze widzenie Rosjan w XX wieku // Dzieje Najnowsze. Warszawa, 1995. № 2. S. 37–41; Falkowicz S.M. Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego stereotypu Polaka // Ibid. S. 53–58; Хорес В.А. Об истоках и развитии этнических стереотипов // Польска мова і література у кантэксце славянскіх культур. Гродна, 1995; Он же. О стереотипе и убеждении в литературе (на материале польской и русской литературы) // Путь романтический совершил... Памяти Б.Ф. Стахеева. М., 1996; Он же. Стереотип поляка в русской литературе // Доклады русской делегации на XII Международном съезде славистов. М., 1997. См. также статьи Я. Тазбира, С.М. Фалькович, И.С. Яжборовской, А. Новака, М.Н. Черных, В.А. Хорева, А.В. Липатова, А. Ахматовича в блоке материалов конференции «Россия–Польша. Какими мы видели друг друга в XIX–XX вв.» (Варшава, июнь 1996), опубликованных в: *Dzieje Najnowsze. Warszawa, 1997. № 1. S. 3–122.**
- ⁴² Известия. 16.III.1996.

Представление о Польше в правящих кругах России в 60-е гг. XVIII в., накануне первого раздела Речи Посполитой

Говоря о взаимных представлениях народов друг о друге, необходимо отметить, что на их характер влияют многие факторы. Во-первых, степень хозяйственного, общественно-политического и культурного взаимодействия народов, во-вторых, характер отражения этого взаимодействия в общественном сознании и, в-третьих, структура самого общественного сознания, то есть, выступает оно как сословное или национальное.

Эти и многие другие обстоятельства следует учитывать при подходе к историческому анализу взаимных национальных представлений, ибо чем далее мы отступаем в прошлое, тем менее интенсивными и наполненными становятся международные контакты и связи, а следовательно, и формируемые на их основе представления. Нередко мы вынуждены судить о них по сугубо индивидуальным высказываниям и свидетельствам. В связи с этим неизбежно возникает вопрос, насколько представления отдельных лиц, например, впечатления путешественника, становятся явлением общественного сознания и отражают видение народами друг друга. Необходимо также иметь в виду, что национальные представления воспринимаются в феодальном обществе через призму сословного мировоззрения, а это неизбежно влечет за собой сословную обособленность национального восприятия.

Наконец, специфика идейных коммуникаций в эпоху Средневековья и в начале Нового времени (отсутствие развитых средств массовой информации) не дает достаточной возможности установить, насколько те или иные национальные представления стали устойчивым стереотипом национального сознания. Намеченные и многие другие теоретические проблемы истории взаимного национального восприятия нуждаются в специальной разработке, мы же обратились к ним лишь в связи с определением вынесенной в заглавие исследовательской задачи и соответствующей ей источниковой базы.

Говоря о правящих кругах России 60-х гг. XVIII в., мы имеем в виду высший слой петербургской военной и гражданской бюрократии, формировавший внутреннюю и внешнюю политику Российской империи. Их представления о Польше сложились под влиянием европейских политических теорий эпохи Просвещения, практики международных отношений указанного периода и во многом на основе личного опыта пребывания в шляхетской республике и общения с магнатами и шляхтой. По своему культурному уровню петербургская знать кардинально превосходила основную массу дворянства, не говоря уж о других сословиях русского

общества. Поэтому представления о Польше, сложившиеся в сановных верхах Петербурга, нельзя признать характерными для России в целом.

Источники, отразившие эти представления: доклады царям, политические сочинения, дипломатическая и личная корреспонденция, переводы отдельных страноведческих сочинений, не были известны за пределами узкого круга высшего чиновничества и не могли поэтому получить сколько-нибудь широкого общественного звучания, а запечатленные в них представления положить основу устойчивому стереотипу общественного сознания. Представления о Польше и поляках, бытовавшие в более широкой дворянской среде, нашли отражение в наказах дворянским депутатам в Уложенной комиссии 1767–1768 гг. Но и они, разумеется, не выйдут за рамки сословного дворянского сознания и также не могут рассматриваться как некое проявление общенационального восприятия.

В течение XVIII в., до первого раздела Польши, характер взаимоотношений России со шляхетской республикой претерпел весьма существенные изменения. По нашему мнению, в них можно выделить ряд этапов: 1) годы Северной войны (1700–1721), когда, начиная с 1717 г., установился протекторат великих держав над Польшей; 2) до конца 1750-х гг., когда в ходе Семилетней войны в России постепенно формируются планы установления собственного политического господства в Речи Посполитой; 3) и наконец, начало 60-х – начало 70-х гг. XVIII в., когда попытка их реализации привела к восстанию Барской конфедерации, русско-турецкой войне 1768–1774 гг. и первому разделу Польши.

Естественно, что изменения польской политики русского правительства не могли не отразиться на мнениях русского дворянства о Польше и поляках и оценках правящей верхушкой в Петербурге соседнего польско-литовского государства.

В первой четверти XVIII в. иной стала роль Польши во взаимоотношениях России с европейскими государствами. Если в предшествующем столетии, как это не раз справедливо отмечалось в историографии, именно через посредство Польши развивались хозяйственные, политические и культурные связи России с Европой, то уже в петровское время значение польского направления в политическом и культурном развитии России ослабевает, уступая место непосредственным контактам Российской империи со странами Западной Европы. Изменяется и соотношение политического влияния России и Польши в международных делах, когда империя Петра Великого поднимается в ряд великих держав, а Польша напротив практически утрачивает свои прежние позиции политически влиятельной силы на востоке Европы. Все это не могло не породить в правящих кругах Петербурга ощущения превосходства Российской империи над Польшей.

Проблема сравнения России и Речи Посполитой занимала видное место в политических дискуссиях в России в 20–30 гг. XVIII в., однако объек-

том сопоставления в них были не поляки и русские как носители определенных бытовых традиций и культуры, сравнивались не народы (этнос), а государства, политические системы и политическая культура. Идеологи сформировавшегося в России абсолютизма, такие, как Ф. Прокопович в «Правде воли монаршей» или политики-практики Г. Головкин, И. Шафиров или А. Остерман, неустанно подчеркивали преимущества абсолютистского государственного устройства России перед республиканской формой правления в Польско-Литовском государстве.

Но такое мнение, будучи официально господствующим, все же нашло себе оппонентов в среде русских аристократов. О ценности политических свобод и гарантий прав знати не раз писали имевшие в виду пример Польши, не понаслышке знакомые с политическими порядками шляхетской республики Василий Лукич и Григорий Федорович Долгоруковы¹. Многие представители русской знати, причем не только старых родов, но и новые люди петровского времени доискивались польского индигената, например А.Д. Меньшиков, и не только чтобы найти в Польше пристанище на случай возможной опалы, но и усматривая в этом способ упрочения своего собственного сословного статуса посредством приобщения к свободной польской шляхте². И отнюдь не случайным представляется, что именно в среде старых боярских фамилий, таких, как Долгоруковы и Голицыны, политические порядки Польского королевства оценивались, хотя и критически, но без высокомерного пренебрежения, а свобода польской шляхты преподносилась как пример, достойный подражания. Тема польских вольностей, думается, сыграла свою роль, когда в 1730 г. «верховники» пригласили занять русский престол племянницу Петра I Анну Иоанновну, много лет прожившую в Курляндии, входившей тогда в состав Польской Короны. Вдове курляндского герцога и кандидатке на русский престол были предложены «кондиции», предусматривавшие ограничение самодержавия.

Крах, как говорили в XVIII в., «затейки верховников», польское бескоролье 1733–1734 гг. и поход Б.Х. Миниха к Гданьску – все это в определенной мере пресекло распространение, условно говоря, полонофильских настроений в известной части русской знати, однако тема шляхетских прав и вольностей отнюдь не исчезла из арсенала отдельных аристократов, критиковавших политику абсолютизма в отношении русского дворянства. В 1750-е гг. на пример вольностей польской шляхты ссылался, говоря о правах благородных, Р.И. Воронцов, а в 60–80-е гг. XVIII в., уже после издания Манифеста о вольности дворянства и даже Жалованной грамоты дворянству, – М.М. Щербатов³. Разумеется, в это время прямо говорить о преимуществах свободы польской шляхты и можновладцев в сравнении с порядками елизаветинской и екатерининской России было уже невозможно. Однако в иносказательной форме

аристократическая критика абсолютизма, выступая за расширение дворянских привилегий, неизменно имела в виду в качестве образца сословный статус шляхты Речи Посполитой.

Тем не менее в целом, начиная с 1730-х гг. среди высшей российской бюрократии, как военной, так и гражданской, все более крепнет негативное, пренебрежительное отношение к политическим порядкам Польши, республиканское устройство которой все чаще и настойчивее отождествлялось с анархией. На это многократно указывал в своих донесениях Г. Кейзерлинг во время своего первого пребывания в Польше с 1744 по 1752 гг. Тот же тон усвоил заменивший его Г. Гросс, а затем секретарь русского посольства в Варшаве И. Ржичевский, который, хотя и был поляком по крови, в своих письмах в Петербург нередко называл «комедией» посольские и трибунальские сеймики⁴.

Но вплоть до начала Семилетней войны негативный образ польского государства, который уже вполне сформировался в правящих верхах Петербурга, не был усвоен еще основной массой русского дворянства. Российские помещики – в подавляющем большинстве мелкие землевладельцы – в отличие от своих польских собратьев по сословию постоянно находились на службе и не имели поэтому систематических контактов с польской шляхтой. Это относилось также и к владельцам имений даже в областях пограничных с Польшей, что затрудняло и для них формирование собственных представлений о соседнем государстве и его гражданах. Официальная же пропаганда не уделяла заметного внимания отношениям с Польшей. Особенно если учесть, что русская политика в отношении Речи Посполитой осуществлялась до начала Семилетней войны не столько в Варшаве, сколько в Дрездене.

Это положение изменилось в 1756 г., когда отношения с Польшей приобретают для русского правительства особое значение. Если раньше пребывание русской армии в Польше в 1733–1734 и в 1748 гг. было относительно кратковременным, то, начиная с 1757 г. и до середины 1770-х гг., русские войска в течение 15 лет почти без перерывов находились в Речи Посполитой. Причем это пребывание было связано с реквизициями продовольствия и фуража, с репрессиями против отдельных магнатов и наконец с боевыми действиями против поляков во времена Барской конфедерации. При этом естественно в восприятии русских и поляков формировался негативный образ друг друга: с польской стороны как образ насильника и поработителя, а с русской – как коварного соседа, в любой момент готового нанести удар в спину. Вот только несколько красноречивых свидетельств. В 1759 г. главнокомандующий П.С. Салтыков писал о русской армии, победившей Фридриха II: «Армия была так бедна, что истинно жалости достойна: офицеры выступили, не имея ни копейки, везде – должны, рационов не получали. Мне покоя нет, – писал он, – от жалоб за

фураж, за муку; также и офицеры жили в долг; полячишки и жида, видя все это, без готовых денег ничего не везут и то еще с уговором, чтобы, кроме рублей и червонных, ничем не платить»⁵. Разумеется, что и с польской стороны было немало претензий и жалоб на проходившие через земли республики русские войска. Примером одной из них служит письмо Поровского – комиссара примаса в Нарадинском аббатстве недалеко от силезской границы. Письмо это было передано И.М. Прассе в Коллегию иностранных дел в Петербурге и прислано оттуда главнокомандующему В.В. Фермору. В письме говорилось (современный перевод): «Напасти, претерпеваемые нами, от прохода двух армий суть неизреченные. Всего же чувствительнее нам грабежи и бесчеловечья казаков, которые не только в Силезии, но и вдоль по польской границе лютость свою оказывают. Они же, приехавши ко мне в Нейдерфель, разломали в куски мой шкаф, в котором лежали мои деньги и скарб, и все то к себе побрали. Потом, выломав у кабинета моего дверь, вытаскали все платье мое и белье, а наконец, обыскав весь мой дом, все, что им угодно было, к себе брали, в коем случае оной и зажечь хотели. Прежде же всего того били он канчуком жену и людей моих, выспрашивая у оных, нет ли у меня где спрятанных денег. В тот же самый день разорили они больше ста деревень, частью в Польше, частью в Силезии, в числе коих находится и деревня Гроджин..., которую также хотели они зажечь ... А притом они, и самих церквей не щадя, либенаускую и нейдорфскую церкви ограбили. Так что через сии восемь дней неинако казалось, как бы страшный суд был. Они бедных людей для получения от них денег до полусмерти били и мучили, из чего и священники исключаемы не были, коих они, вода на веревке, угрожали повесить. В Нейдорфе – резиденции вашей светлости (примаса Комаровского. – *Б.Н.*) – все уборы растащены, а деревня в конец разорена, так что через пять дней она деревня и прочие опустели, а жители оных укрылись, куда им только можно было»⁶. Приведенное письмо достаточно ярко свидетельствует о поведении русских казачьих войск в Польше во время Семилетней войны и о памяти, которую казаки оставили после себя не только в народе, но и в историографии.

Следует отметить, что произвол творился не только отдельными иррегулярными отрядами и шайками бандитов, обычно следовавшими за армией, он осуществлялся и самим военным руководством. В этом отношении интересно письмо 1761 г. от М.Н. Волконского Д.В. Волкову. Волконский находился в это время во главе 12-тысячного кавалерийского корпуса в Познани для, как он сам выразился, «содержания в респекте поляков». Он неплохо знал Польшу, был в 1757–1758 гг. послом в Варшаве, поэтому его мнение представляется очень показательным. М.Н. Волконский писал: «На польские обещания нельзя положиться: они иногда то обещают, чего сдержать не в их власти, как например, сделали расписание, да кто их по-

слушает? (Речь идет о графике поставок продовольствия для русской армии. – *Б.Н.*) Придет мне же брать силою. То, в таком случае, вместо, чтоб бывшее загладить, вновь (поляков) в отчаяние привести можно, когда последний кусок их ото рта отнимать будем, а здесь подлинно великий недостаток; мы же сами тому и причиною. Ежели добровольно и большою ценою, то для барыша из дальних мест повезут, а иной, хоть голод терпеть будет, да для жадности к хорошим деньгам последнее продаст». В письме М.Н. Волконского мы встречаем тот же презрительный тон по отношению к полякам, что и у П.С. Салтыкова, однако племянник А.П. Бестужева этим не ограничивался. Он признавал, что присутствие русских войск стало причиной бедственного положения Польши, соглашался, что нанесенные обиды надо бы загладить, и тут же заявлял, что обстоятельства вынуждают его как командующего корпусом поступить противоположным образом, то есть вновь прибегнуть к насилию.

Далее в том же письме Волконский упоминает о планах антироссийской конфедерации в Польше, которые инспирировались сторонниками Франции. К конфедерации против России на этот раз англичане подталкивали Чарторыхских, группировка которых считалась прорусской ориентации⁷. В связи с этими замыслами Волконский писал: «О конфедерации теперь ничего не думают. Может быть в сердцах их есть и злоба, да большие (магнаты. – *Б.Н.*) имеют через такой случай и много потерять, а маленькие без них не смеют и не умеют начать. Они стараются уверять, что никогда о том (о конфедерации. – *Б.Н.*) не думали и что на них это взолгано. Может быть, и правда, что они иногда кричат на сеймиках, то на то глядеть не надо. В том их только и вольность состоит, что говорить могут»⁸.

В этом рассуждении М.Н. Волконского косвенно нашло отражение отношение правящих кругов России к государственному устройству и политическим порядкам Речи Посполитой на закате правления саксонской династии, когда в Петербурге все больше крепло убеждение, что единственным эффективным средством реализации польской политики России остаются размещенные в республике русские войска. Об этом еще в ноябре 1757 г. писали канцлеры А.П. Бестужев и М.И. Воронцов: «Правда, кто при (польском) дворе чинами и званиями располагает, тот великую партию иметь будет. Только, ближе рассматривая, не для чего и о сем беспокоиться: признание и благодарность поляков известны. Коль скоро не французский посол, а кто другой помянутыми чинами располагать станет, то конечно он столько же тогда забыт будет, сколько теперь велик кажется. Польша избилует сими примерами. Чарторыхские из ничего двором возведены и, располагая чинами, первые в Польше были. Теперь только для того малы кажутся, что не располагают оными. Все имеет свое время – надобно оно и ожидать. И тогда, не упуская, им пользоваться. Что до раздавания между поляками денег <...> а никогда не видать не токмо

пользы, какая от того произошла, но и ниже какая из того уповаема быть имела ... Ежели подлинно Франция деньги раздает в Польше, она в том свою пользу иметь может, будучи столько от ее границ удалена и не в состоянии ни прямо Польше помогать, ни утеснять оную <...> но с нами совсем другое обстоятельство»⁹. А.П. Бестужев и М.И. Воронцов не только указывали на политическую беспринципность польского двора и магнатских группировок, их зависимость от раздаваемых иностранными послами денег, но и подчеркивали готовность России в будущем применить иные средства «помощи и утеснения», недвусмысленно намекая на применение военной силы, что и было реализовано впоследствии в польской политике Екатерины II.

В целом же, исходя из опыта польско-российских отношений в годы Семилетней войны, в Петербурге окончательно утвердилась крайне негативная и высокомерно-пренебрежительная оценка государственного и общественного строя Речи Посполитой, содержавшаяся в докладе М.И. Воронцова Петру III 3 февраля/23 января 1762 г.: «Польша, будучи погружена во внутренних раздорах и беспорядках, упражняется всегда оными и, пока сохранит она конституцию свою, то и не заслуживает почитаема быть в числе европейских держав»¹⁰.

Эти воззрения о порядках и нравах соседней страны, о недружественном характере российско-польских отношений, невзирая на отсутствие военных конфликтов между нашими странами и постоянный нейтралитет Польши по отношению к восточному соседу, а временами и союзнические связи шляхетской республики с Россией, почти на протяжении столетия, со времени Андрусовского перемирия 1667 г., в годы Семилетней войны прочно утвердились в сознании офицерского корпуса русской армии, через посредство которого они получили распространение в среде мелкого служилого дворянства, бывшего по своему политическому и культурному уровню весьма далеким от аристократии и чиновно-бюрократических верхов империи, несмотря на формальное сословное равенство.

Вместе с тем в российско-польских отношениях первой половины XVIII в. существовал еще один немаловажный, особенно для России, вопрос, который также весьма существенно затрагивал интересы русского поместного дворянства и в свою очередь повлиял на формирование в его среде негативного восприятия образа Польши и поляков. Среди требований Петербурга, адресованных новому польскому правительству после избрания в 1764 г. королем Станислава Августа Понятовского, особое место занимала проблема установления точной границы между двумя странами и выдачи Польшей беглых русских крепостных крестьян. «Земли наши с поляками остаются не разграниченными», – говорилось в ноябре 1763 г. в «Общем наставлении» русским послам в Варшаве – Г. Кейзерлингу, Н.В. Репнину. Там же отмечалось, что, вопреки Вечному миру

1686 г., 988 кв. верст российской территории незаконно оставались в польском владении, что одиннадцать городов ниже Киева, признанных по договору спорными и поэтому не подлежащими заселению, были позже вновь заняты поляками и населены преимущественно беглецами из России, которые нападали на русскую территорию, «чиня там убийства и разбои»¹¹. Аналогичные требования не раз предъявлялись Россией и раньше. Помимо соображений военного характера, установление точной границы с Польшей и ее укрепление диктовалось необходимостью пресечения бегства из России крепостных крестьян и возврата беглецов из пределов Польши.

На протяжении всей истории крепостничества в России борьба с побегам крестьян являлась одним из главных вопросов внутренней политики самодержавия, а в XVIII в. она приобретает исключительное значение, что было детально обосновано в историографии. Большая часть беглых укрывалась от гнета крепостников в Польше. По приблизительным оценкам в середине XVIII в. число беглых там составляло не менее 120 тыс. д.м.п.¹².

Требование возврата бежавших от помещиков крестьян заняло одно из центральных мест в дворянских наказах депутатам Уложенной комиссии 1767–1768 гг. Естественно, что во многих случаях оно сочеталось с характерными высказываниями по отношению к Польше. За пресечение крестьянских побегов в Польшу выступили дворяне всех уездов Смоленской губернии¹³. Причем в наказе смоленских дворян подчеркивалось, что только из их губернии бежало крестьян более 50-ти тыс. душ обоего пола¹⁴. Наиболее пространен в этом отношении наказ дворян Рославльского уезда¹⁵. В нем говорилось: «И егда крестьяне скоро услышат рекрутский набор, почти все годные, скрываясь от того <...> бежат за польскую границу и оттуда выходят потаенно и, подговаривая, отцов и родственников своих выводят за ту польскую границу. Сверх же того, собираясь партиями, набегаю, мучат, жгут и грабят своих помещиков, а при том по ненавистям своим и крестьян. От чего многие помещики пришли в крайнюю нищету». Далее в том же наказе дворяне писали, что «крестьяне, живущие близ польских границ, зная тамошние все вольности и свободу, бегут целыми деревнями и семьями за оную границу». О том же сообщали в своих наказах и дворяне Новгородской губернии. Так в наказе помещиков Пусторжевского уезда¹⁶ говорилось: «Бедные жилища наши состоят близ Польши, которой вольности столь заразили ленивых и непостоянных крестьян наших, что ниже о благочестивой своей вере помышляют и ниже государских законов старатся, но непрестанно изменяют и без наималейшего резона, покидая господ и дома свои, уходят за польский рубеж единого ради того, чтоб тамо быть вольными. От чего мы, помещики, претерпеваем...». В том же духе высказалось дворянство Лифляндской, Эстляндской и Выборгской губерний¹⁷. Во всех этих нака-

зах Польша представлялась как страна, укрывающая беглецов, что наносило ущерб помещичьим хозяйствам, как приют разбойников. Наконец в отдельных наказах звучала мысль о пагубности польских свобод.

Примечательно, что в сознании русских помещиков и крепостных крестьян крепостническая Польша представлялась свободной страной, что, несмотря на суровость польского законодательства, положение крестьян там было несравненно лучше, чем в крепостнической России.

Текстуальные совпадения дворянских наказов свидетельствуют, что уже в период их составления, начиная с 1766 г., помещики разных уездов обсуждали их положения. Таким образом, требования дворян отдельных уездов воспринимались российским благородным сословием как общедворянские, что и проявилось, в частности, и в отношении Польши, в выступлениях дворянских депутатов в ходе работы самой комиссии.

Известно также, что в составлении некоторых наказов, послуживших образцом для других, участвовали приближенные императрицы: П.И. Панин, З.Г. Чернышев, сенаторы, губернаторы и генералы. Поэтому дворянские указы были не только выражением сословных требований русских помещиков и формой их коллективного обсуждения, но и несли на себе заметный след воздействия правительственной пропаганды на дворянское общественное мнение.

Поэтому можно сказать, что указы не только отразили представления русского дворянства о Польше, но и сами сыграли немаловажную роль в формировании этих представлений. При этом Польша и поляки предстают в них как захватчики земель и крестьян, то есть изображены как угроза самым насущным материальным интересам русских помещиков-крепостников. Формирование такого образа не могло пройти без участия правительственных верхов, ибо положения наказов непосредственно текстуально связаны с манифестами 1750–1760-х гг. о возвращении беглых¹⁸, что еще раз недвусмысленно указывает на стремление русского правительства добиться, в частности и таким способом, поддержки со стороны дворянства своей политики в отношении Польши.

Однако в наказах дворян нашла отражение и иная тенденция восприятия Польши, когда сословный статус польской шляхты положительно интерпретировался российским дворянством. Она выразилась в требованиях дворян западных областей империи подтвердить их права, пожалованные прежде польскими королями, в первую очередь право владения недвижимыми имениями, основанное на привилегии Сигизмунда Августа. Об этом писали смоленские шляхтичи Дорогобужского уезда¹⁹, дворянство всех уездов Малороссии²⁰, дворяне Лифляндской и Эстляндской губерний²¹.

Но эта тенденция постепенно исчерпала себя. Расширение сословных привилегий русского дворянства в екатерининское царствование, особенно после подавления крестьянской войны под предводительством Емель-

яна Пугачева, завершившееся изданием в 1785 г. Жалованной грамоты дворянству, делало сословный статус российских помещиков в их собственных глазах более ценным, чем свободы польской шляхты, что еще более закрепляло в сознании русского дворянства представление о собственном превосходстве над поляками и о преимуществах общественно-политической системы абсолютизма над республиканским устройством Польши. Такая позиция нашла отражение в анонимном сочинении 70-х гг. XVIII в. «Свободные мысли гражданина пожилого и отечество свое любящего». Автор его был близок к семье Воронцовых, возможно, это один из сыновей Р.И. Воронцова. В сочинении речь шла о просветительской концепции «законной монархии». Рассуждая о необходимости справедливых законов, автор замечал: «Впрочем, не то общество прямо благоденствует, которое имеет мудрые и хорошие законы, но то, в котором единожды установленные, хотя бы в сравнении и гораздо посредственнее были, верно, скоро и точно исполняются; свидетельствует о сей неоспоримой истине Республика Польская. Законы ее были сами по себе и по словесному своему гласу очень хороши, но как не было при них точного и строгого исполнения по причине неустройства в законодательной власти, то есть в самом источнике государственного здания, то и видели мы до ныне сию от естества всеми благами щедро одаренную и отчасти многолюдную землю во всегдашней бедности, во всегдашних внутренних волнениях и во всегдашнем порабощении от окрестных держав, кои напоследок лучшие ее провинции между собою разделили без всякого от республики сопротивления – не потому что в духе поляков не было мужества и истинной храбрости, но потому что множество рук без головы ничего не значат». Автор явно настроен благожелательно к Польше, называя страну благодатной, а поляков мужественными. Но республиканский строй Польши он осуждает, видя в нем причину «ее всегдашнего порабощения от соседних держав», внутренних волнений и бедности. К последнему утверждению он возвращается еще раз, когда замечает, что «многие у нас называют Польшу богатою, потому что некоторые из тамошних вельмож имеют чрезвычайно великие доходы и что сверх того видели они еще в Варшаве знатное денежное обращение. Но сия мечта скоро исчезнет, если посмотреть рассудительным оком»²².

Таким образом, первый раздел Польши окончательно утвердил в сознании правящих кругов России уверенность в превосходстве русского абсолютизма над общественным строем республиканской Польши. Это имперское высокомерие правительству Екатерины II удалось внедрить и в массовое сознание дворянства, в котором Польша представлялась как враждебная страна, непосредственно покушавшаяся на дворянские имения и крепостных. Вместе с тем политика расширения дворянских привилегий должна была, в частности, продемонстрировать, что

принадлежность к благородному сословию в России обладает большей ценностью, чем вольности польской шляхты.

Все это существенно способствовало формированию массовой поддержки со стороны рядового дворянства польской политики Петербурга, ориентированной на экспансию на запад русского дворянского землевладения и крепостничества, на что недвусмысленно указывают пожалования русским дворянам имений в Белоруссии сразу же после первого раздела Польши.

Примечания

- ¹ Переписка Долгоруковых и других лиц содержится в фондах РГАДА: ф. 53: Сношения России с Данией, оп. 1, дела 1707–1719 гг. Корреспонденция В.Л. Долгорукова; ф. 79: Сношения России с Польшей, оп. 1, дела 1710–1719 гг. Корреспонденция Г.Ф. Долгорукова.
- ² *Wdowiszewski Z. Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519–1793)*. Buenos Aeres; Paryż, 1971.
- ³ *Латкин В.И.* Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. СПб., 1887. Т. 1; Проект нового уложения, составленный законодательной комиссией 1754–1766 гг. Часть III. О состоянии подданных вообще. СПб., 1893; *Рубинштейн Н.Л.* Уложенная комиссия 1754–1766 гг. и ее проект О состоянии подданных вообще (К истории социальной политики 50 – нач. 60-х гг. XVIII в.) // Исторические записки 1951, Т. 3. С. 208–251; *Троицкий С.М.* Комиссия о вольности дворянства 1763 г. В кн.: *Он же.* Россия в XVIII веке. М., 1982. С. 140–192; *Jones R.* The Emancipation of the Russian Nobility 1762–1785. Princeton; New Jersey, 1973; *Щербатов М.М.* Сочинения. СПб., 1896, Т. 1. Политические сочинения; *Он же.* Неизданные сочинения. М., 1935.
- ⁴ АВПРИ, ф. 79, оп. 1, дела 1734–1757 гг. Реляции Г. Кейзерлинга 1734–1751 гг. и реляции Г. Гросса 1752–1757 гг.
- ⁵ *Масловский Д.Ф.* Русская армия в Семилетнюю войну. М., 1886–1891. Т. 2. С. 353.
- ⁶ ЦГВИА, ф. 39, оп. 1, д. 65, л. 30–30 об.
- ⁷ *Koperczyński W.* Dzieje Polski nowożytnej. Warszawa, 1996. Т. 2. S. 160–162.
- ⁸ Архив князя Воронцова. М., 187. Т. . С. 330.
- ⁹ АВПРИ, ф. 79, оп. 1, 1757 г., д. 6(Б), л. 361–361об.
- ¹⁰ Архив князя Воронцова. М., 1875. Т. 7. С. 540.
- ¹¹ Сб. РИО. СПб., 1886, Т. 51. С. 93.
- ¹² *Семевский В.И.* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1881. Т. 1. С. 337–339.
- ¹³ Сб. РИО. СПб., 1875. Т. 14. С. 413–456.
- ¹⁴ Там же. С. 417–424.
- ¹⁵ Там же. С. 424–429.
- ¹⁶ Там же. С. 294–315.
- ¹⁷ Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 68. С. 45–94.
- ¹⁸ ПСЗ. Т. 1. №№ 10865, 10896; Т. 16. №№ 11618, 11894.
- ¹⁹ Сб. РИО. СПб., 1875. Т. 14. С. 430–443.
- ²⁰ Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 68. С. 127–248.
- ²¹ Там же. С. 45–82.
- ²² Архив князя Воронцова. М., 1882. Т. 25. С. 503–504.

Русская литературная критика второй половины XIX – начала XX в. о русско-польских отношениях

В последней трети XIX и начале XX в. польская литература становится в России одной из самых читаемых иностранных литератур. Например, автор петербургского журнала «Север» пишет в 1887 г.: «Лев Толстой, Эмиль Золя и Генрик Сенкевич – вот три наиболее популярных романиста нашего времени»¹.

Известная близость польского и русского языков, сходство общественно-политического и культурного развития – при всей напряженности политических отношений, духовное родство русского и польского народов (а оно тоже существовало – вопреки всему!) делали польскую литературу особенно близкой русскому читателю.

Так, например, Виктор Гольцев, редактор журнала «Русская мысль», писал об Элизе Ожешко: «Действующие лица ее повестей нам ближе и понятнее, чем действующие лица в немецких, английских, французских или итальянских романах. Вопреки неблагоприятным историческим обстоятельствам, родственная связь русского и польского народа дает себя чувствовать»².

Некоторые русские авторы, пишущие об Ожешко, считали возможным писать о влиянии ее произведений на русское общество. «Талантливая польская писательница, – характеризовал ее Лев Шепелевич, – сочинения которой имели сильное влияние не только на ее родное общество, но и на многочисленных русских читателей»³.

В том же духе писали русские критики о творчестве Болеслава Пруса. «Родственность мягкого, симпатического таланта Пруса лучшим представителям нашей художественной литературы, – замечает В.И. Маноцков, – является результатом приблизительно одинаковых условий, в каких протекали польская и наша жизнь в течение последнего пятидесятилетия...»⁴.

В 1897 г. автор польского журнала «Край», издававшегося в Петербурге, утверждает, что в русском обществе образовался своего рода культ Сенкевича, что при известной напряженности польско-русских отношений того времени показалось ему даже удивительным. Русская же интеллигенция удивительным это не считала. Польская литература, говоря словами автора журнала «Русская мысль», всегда «воспринималась у нас как близкая нам по племенному родству, по духу»⁵.

«Польское общество, – пишет другой критик в том же журнале, – близко нам по многим чертам характера, общим для всех славянских народов»⁶.

Именно поэтому книги польских писателей всегда находили самый живой отклик в России. Евгений Аничков, автор журнала «Мир божий», писал в 1903 г.: «Русская образованная публика несомненно вчитывается в произведения современных польских писателей гораздо охотнее и глубже, чем в литературу более далекого Запада. Сенкевич, Ожешко, Прус – это имена не только хорошо знакомые у нас, но имена близкие нам, даже почти родные»⁷.

Константин Храневич в своих «Очерках новейшей польской литературы» замечает, что Сенкевич близок и дорог русской публике лишь немногим меньше, чем полякам, особенно его романы «Без догмата» и «Quo vadis». «Плошовский страдает тем же недугом, которым перестрадала лучшая часть русской интеллигенции. Анелька, от которой веет чистым, нежным ароматом женственности, близко напоминает русскому читателю чудные женские типы Тургенева»⁸.

Автор газеты «Русские ведомости» за 1916 г. пишет в некрологе, посвященном Сенкевичу: «О Сенкевиче русским читателям можно говорить почти как об отечественном писателе, с героями его произведений мы все так близко, так хорошо знакомы... и когда умирает Сенкевич, как будто умирает писатель, произведения которого не переводились, а писались на русском языке...»⁹.

Это признание близости русскому читателю, разумеется, не означает того, что русская критика не видела в Сенкевиче большого польского национального писателя. По случаю избрания Сенкевича почетным академиком Российской Академии наук в 1915 г. один из русских авторов писал: «Русские писатели-академики этим избранием признают за польским писателем право на почетное место в русской академии... Сенкевич не только польский писатель, но и символ современной Польши, ее самый яркий представитель, всеми признанный хранитель ценностей ее духа, поэт ее прошлого»¹⁰.

В целом русские авторы, пишущие о польской литературе, как правило, высоко оценивали ее роль в развитии мировой культуры. Например, доцент Петербургского университета А.И. Яцимирский так писал в 1908 г. в предисловии к своей двухтомной книге «Новейшая польская литература от восстания 1863 г. и до наших дней»: «Если борьба – единственная достойная человека форма существования, и если вне борьбы – за право нации, класса, личности и т. д. – нет жизни, то ни одна из современных нам литератур не обладает такой революционной жизненностью, таким богатым разнообразием и такой отзывчивостью, как новейшая литература польского народа. И такой интерес, с которым в Европе и у нас следят за польской литературой, уже показывает ее значение»¹¹.

Важно отметить, что большая часть и писателей и критиков горячо сочувствовала угнетенному польскому народу, осуждала действия

царского правительства по отношению к полякам – разумеется, настолько, насколько это позволяла цензура. Как правило, авторы русских журналов не замалчивали тяжелых условий гнета, в которых развивалась польская литература. Так, вполне определенную позицию по отношению к польскому вопросу занял с самого начала своего существования журнал «Русская мысль». В статье 1881 г. редакция писала: «А Польша?.. Разве не жива в каждом народе память об утраченной самостоятельности, разве не стремится он к восстановлению своего государства? Конечно так, и не может быть иначе»¹².

Кстати, характерная деталь. Издатель этого московского журнала Вукол Лавров (сын купца из провинции) впоследствии рассказал о том, что желание изучить польский язык и популяризировать польскую литературу у него возникло из стремления противодействовать нападкам и клеветническим обвинениям в адрес польского народа после восстания 1863 г., которые он увидел на страницах некоторых русских периодических изданий¹³. Вукол Лавров стал одним из лучших переводчиков произведений польских писателей – Сенкевича, Ожешко и др., переписывался с Элизой Ожешко.

Александр Пыпин, известный литератор и публицист, писал в 1888 году на страницах петербургского журнала «Вестник Европы»: «Польско-русские отношения издавна и донныне так натянуты, что нельзя не порадоваться, что некоторая тень сближения начинает показываться в той области, где народы, по-видимому, могли бы и должны бы спокойно, без раздражения изучать друг друга – в обоюдном интересе. Область поэзии и беллетристики могла бы быть такой нейтральной почвой: литературное изучение и взаимное знакомство могло бы, кажется, происходить даже тогда, когда политический раздор нарушал общественные связи»¹⁴. Пыпин замечает далее, что, однако, подчас враждебное настроение охватывало обе стороны, что, как он считает, особенно непозволительно «со стороны народа огромного, сильного и победившего». Разговоры о «польской интриге» были, уверял Пыпин, унижительными для национального достоинства русского народа¹⁵.

Естественно, что после польского восстания 1863 г. в русской печати активно обсуждался так называемый польский вопрос, одним из откликов на который и было приведенное выше выступление А.Н. Пыпина. Включилась в этот разговор и известная переводчица произведений Элизы Ожешко и Болеслава Пруса писательница Анна Сахарова. «Теперь, – пишет она в 1890 г., – когда страсти улеглись... из обоих лагерей слышались голоса представителей общественной мысли, склоняющие к трезвому, беспристрастному изучению, к взаимному разумению обе наибольшие славянские нации, связанные между собой так тесно и, в то же время, так разъединенные враждой»¹⁶.

Журнал «Современный мир» помещает в 1912 г. статью польского общественного деятеля, жившего в России, К. Залевского, который пишет: «Польская литература расцвела после потери польским народом его государственной независимости и в тисках политического и национального гнета. Это, конечно, доказательство ее жизнеспособности. Но национальный гнет наложил отпечаток на ее характер»¹⁷. Л. Полонский в статье «Современный польский роман» тоже пишет о необходимости учитывать национальный гнет в Польше: «Поляки страдали от той же системы, страдали еще больше, т. к. к общему гнету присоединялись в Польше еще политические преследования»¹⁸.

Подобных высказываний русских авторов, сочувственно относившихся к талантливому и даровитому народу, культура которого развивалась в тяжелых условиях национального гнета, можно было бы привести много. Позволим себе сослаться еще на одно. Леон Козловский, поляк по происхождению, но русский интеллигент, как он себя называл, писал в петербургском журнале «Русское богатство»: «Поколение, познавшее знамя восстания, было воспитано в духе морали, долга, жертвы, героизма, проникнуто было верой в силу личности, энтузиазма и порыва. Завет Мицкевича – меряй силы по целям, а не цели по силам – был лозунгом этого направления»¹⁹.

Весьма характерно высказывание Льва Николаевича Толстого, опубликованное в 1896 г. в журнале «Русский вестник». Толстой клеймит «...страшные насилия, которые позволяют себе злые, глупые и бесчеловечные русские власти над верою и языком поляков». «В данном случае, – продолжает Толстой, – я, например, не будучи вовсе поляком, вполне солидарен с каждым поляком в степени негодования и возмущения теми глупыми средствами русских правительственных тузов, которые они употребляют против веры и языка поляков. Я вполне солидарен с ними в желании противодействовать этим средствам»²⁰.

Известно, что в своем рассказе «За что?» Толстой сочувственно изобразил участников польского восстания 1830 года. Написанный в 1906 г., этот рассказ был тотчас же опубликован в переводе польской прессой, а в 1908 г. издан отдельной книгой. За эту позицию Толстого по отношению к угнетенным нациям ценил русского писателя Болеслав Прус. Он приводит в своей статье о Толстом его слова: «Можно ли не возмущаться, когда один человек вырывает у другого его труд, его деньги, его коня, и даже сына и дочь? А ведь ужаснее этого, когда человек у человека вырывает душу, когда он хочет уничтожить его „я“ и лишить его благ духа...». Затем Прус пишет: «Да будет позволено мне благодарить тебя, великий человек, за эти несколько слов от имени всего польского народа и всех тех гонимых и несчастных наций, у которых хотели бы отнять не только землю и труд, не только сыновей и дочерей, но даже „уничтожить душу“»²¹.

Польские ученые и литераторы высоко оценивали эту объективную позицию русских писателей и критиков. Так, известный славист Александр Брюкнер считал, что русская литература всегда оставалась «чистой и великой». В предисловии к своей «Истории русской литературы» он высоко оценивает ее роль в отстаивании идей справедливости и гуманизма. «Русская литература, – пишет он, – самая молодая в мире. ...Ее юность возмещается обилием и своеобразием ее творений, ее высокой моральной ценностью, ее проповедью гуманности и альтруизма, остротой и проницательностью ее анализов человеческой души и жизненных наблюдений, ее откровенностью и правдолюбием, ее демократическим духом. Она импонирует той значимостью, которую она завоевала в собственной стране, в чем она далеко превосходит другие литературы мира... Она стала кафедрой, с которой звучало слово в защиту добра, красоты, свободы, она стала единственным выражением общественной совести»²².

Возвращаясь к разговору об оценке польской литературы в русской критике, следует сказать еще раз, что писали о ней в высшей степени уважительно, переводили тщательно, переводы, как правило, рецензировались.

Что касается переводов, то бывали случаи неоправданных, подчас без соблюдения чувства меры и вкуса попыток в переводах произведений польских авторов приспособить к русскому читателю имена, реалии польского быта и т. д. Например, фамилию писателя Теодора Томаша Ежа иногда писали как Федор Фома Еж, или повесть Элизы Ожешко «Хам» переводили как «Горничная Фекла и мужик Антип» и т. д. Впрочем, это отражало и состояние вообще переводческого дела в России в то время. Но, как уже было сказано, были и прекрасные переводы. К их числу относится, например «Quo vadis» Сенкевича в переводе Вукола Лаврова или «Фараон» Пруса в переводе Евгения Троповского, который настолько хорош, что это произведение и в наше время издается в этом переводе.

Замечательный пример передачи с чувством меры и такта польских реалий из быта и жизни польских крестьян – перевод В.Г. Короленко рассказа Г. Сенкевича «Янко – музыкант», сделанный им в 1880-е годы в тюремном заключении, оставшийся тогда не опубликованным. Он был обнаружен в бумагах писателя и впервые опубликован журналистом А.В. Храбровицким только в 1957 г.²³, и с тех пор с этим рассказом русские читатели знакомятся по переводу Короленко.

Вокруг некоторых произведений польских писателей бывали и острые полемики в русской критике, встречались подчас и резко негативные отзывы.

Бурную дискуссию вызвал в России и на Украине роман Г. Сенкевича «Огнем и мечом».

Всем известны резко отрицательные выступления В. Антоновича²⁴ и А. Пыпина²⁵ по поводу этого произведения Сенкевича. Но надо, однако, сказать, что за резкий тон и остроту суждений В. Антоновича редакция «Русской мысли» оценила его выступление как одностороннее²⁶. О том, что социальный характер казацкого восстания довольно слабо освещен у Сенкевича, что «внутренняя сторона тогдашней жизни на Украине остается нераскрытой», писал и Лев Шепелевич. Вместе с тем он подчеркивал и большую художественность романа: «Яркость красок, талантливость характеристик, воссоздание типичных представителей разнообразных слоев шляхетского сословия, неиссякаемый юмор, продуманные эффекты, ясный ум, сквозящий во всякой строке, – вот данные для громадного успеха этого романа»²⁷. Эта оценка Шепелевича и высказывания других русских критиков не подтверждают выводы польского исследователя Збигнева Бараньского, который утверждает, что в России не оценили «Трилогию» как художественное произведение²⁸.

Нельзя согласиться с Бараньским и тогда, когда он утверждает, что русские критики в оценке «Трилогии» пренебрежительно отнеслись к ее национальной, патриотической проблематике²⁹. Польский исследователь замечает, что якобы об условиях, в которых создавалась «Трилогия», начали в России писать объективно только в период революции 1905 г.³⁰ Можно привести высказывания русских критиков, которые понимали причины, побудившие Сенкевича акцентировать внимание на национальных, патриотических проблемах, относящиеся к более раннему периоду, чем 1905 г.

«Против известных тенденций, особенно патриотического характера, резко восставать едва ли можно прежде всего уже потому, – пишет рецензент «Русской мысли» в мае 1896 г., – что крайне трудно автору оставаться вполне объективным, когда в душе его не только историей, но и самим его творчеством слишком затрагиваются чувствительные струны любви к отечеству, к родному народу»³¹.

Тенденцию польского писателя правильно понимает автор житомирской газеты «Волянь»: он объясняет «успех» «Трилогии» в Польше горячо воспринятой идеей произведения. «А идея эта такова. Если при тех тяжелых условиях, какие изображены автором, Польша все-таки спаслась, то как бы ни были ужасны современные условия, она и из них выйдет победительницей»³².

Пример объективной оценки романов «Трилогии» – книга Александра Михайловича Фемелиди, вышедшая в 1904 г. (кстати, это первая в европейском литературоведении монография, посвященная Сенкевичу, вышедшая при жизни автора). А.М. Фемелиди отмечает определенную тенденциозность романа «Огнем и мечом», но ценит и его художе-

ственные достоинства: «Сенкевич открывает перед читателем прекрасную картину, поражающую яркостью красок и широким размахом кисти... Сцены, полные движения и жизни...»³³.

А.М. Фемелиди прекрасно понимает и причины появления патриотических тенденций «Трилогии»: «Она написана с целью поднять и ободрить упавший дух польского общества, пережившего тяжелую годину жизни... Можно оспаривать историческую точку зрения писателя, но нельзя не восхищаться этой прекрасной в своем роде эпопеей, посвященной эпохе национального упадка»³⁴.

Понимание цели и задач, которые стояли перед Сенкевичем при создании «Трилогии», постепенно углублялось. Леон Козловский в статье «Сенкевич и Польша», опубликованной в 1916 г. в официальной газете «Русские ведомости», вспоминает о критических возражениях, которые вызвали исторические романы Сенкевича в России и Польше. Автор замечает, что не правы те критики, которые считали их лишь приключенческими романами, он полагал, что популярность «Огнем и мечом» и «Потопа» нельзя объяснить только увлекательностью сюжета этих произведений или тем, что они льстят польскому патриотическому чувству. «Массовый читатель в этих романах, грешивших во многих частностях против строгой исторической правды, увидел ту более общую жизненную правду, которая одухотворяет „Трилогию“ и дороже всего сердцу автора, это та правда, которая гласит, что нет таких бедствий, среди которых жизнь становилась бы окончательно невозможной, нет таких несчастий, которые могли бы сломить действительно стойкую волю, нет такого отчаянного положения, в котором оказались бы бесплодными и ненужными и личный героизм, и коллективный энтузиазм»³⁵.

Ф. Зелинский, писавший свою статью о Сенкевиче в 1918 г., мог уже полным голосом говорить о трагической судьбе польского народа, «осушившего до дна чашу горя», вынесшего в трех своих восстаниях больше, чем какой-либо иной народ в мире. Поэтому неудивительно, считает автор «Вестника Европы», что «руководящая идея, которой озарены все творения Сенкевича, – это Польша»³⁶.

Таким образом, большинство русских критиков восприняли «Трилогию» Сенкевича во всей ее сложности, искренне стремясь понять писателя и его намерения, объективно оценив ее высокие художественные достоинства. Для них это не были просто приключенческие романы с элементами увлекательной экзотики, как утверждает З. Бараньский (см. с. 94 его книги), а значительное общественное и художественное явление.

В некоторых случаях полемические выступления объяснялись различными подходами, связанными с разными конфессиональными взглядами. Так, в хоре похвал и восторженных оценок «Quo vadis» прозвуча-

ли в русской печати и критические суждения. Некоторые русские литераторы с точки зрения, в данном случае можно сказать, узко понятого православия упрекали Сенкевича в прославлении католицизма, чуть ли не в утверждении мысли о том, что Ватикан и римский папа должны подчинить себе все христианские церкви. Так, А. Волынский утверждает, что «роман пронизан узкою католическою тенденциею»³⁷. В том же духе писал П. Бартенев: «Верный сын своей церкви, Сенкевич заключил роман поклонением папству и его всемирному якобы верховенству. Этим, конечно, нарушается художественная стройность произведения, особенно для читателей русских, помнящих свое молитвословие обоим Первоверховным апостолам...»³⁸.

Наиболее резкий и несправедливый отзыв о романе в русской критике принадлежит З. Венгеровой, порицавшей его за ту же католическую тенденцию, о которой писали и вышеназванные критики. Она иронически отзывается об изображении в произведении Сенкевича «громких подвигов основателя папства», о том, что автор «хочет возвеличить престиж католичества»³⁹, и т. д.

Об этих отдельных «голосах» можно было бы и не писать, если бы они не получили как бы нового, правда непроизносимого вслух, «звучания» в годы советской власти, когда новое издание перевода «*Quo vadis*» запретили именно потому, что это якобы гимн католицизму. Каждый, кто читал роман, знает, что подобное утверждение лишено оснований. Сенкевич настолько большой и тонкий художник, что сумел быть объективным.

Однако, как уже ясно из всего сказанного, преобладали в русской критике положительные и даже восторженные оценки. Критика оценила и жизнелюбие, и оптимизм, свойственные творчеству Сенкевича вообще и этому произведению в частности. Об этой стороне мироощущения писателя лучше всего сказал Леон Козловский: «При всем своем внешнем разнообразии тем, образов, типов, эпох творчество это по своему внутреннему содержанию является неустанным призывом верить в человека, жизнь и счастье, верить в личный успех и в будущее своего народа, в будущее всего человечества и в душу человека»⁴⁰.

Л. Козловский считает, что оптимизм писателя «разгорается таким ярким победным светом» именно в «*Quo vadis*»: «Это – грандиозная картина падения и возрождения уже не отдельного человека и не отдельного народа, а всего человечества»⁴¹.

Если рассматривать восприятие польской литературы второй половины XIX в. в России более широко, чем это обозначено в названии настоящей статьи, то, естественно, встают и другие, чисто литературоведческие вопросы – что именно ценили в России, как анализировали, с какими процессами в русской литературе, или с какими произ-

ведениями сравнивали и т. д. В данном же случае автор настоящей статьи сосредоточился на проблеме взаимопонимания и взаимонепонимания, на некоторых особенностях национального восприятия.

Примечания

- ¹ *Гофштеттер Г.* Сенкевич. Критический эскиз // Север. 1887. № 49. С. 1559.
- ² Русская мысль. 1891. № 9.
- ³ *Шепелевич Л.* Элиза Ожешко. Литературная характеристика // Вестник Европы. 1907. № 9.
- ⁴ *Маноцков В.И.* Послесловие // Прус Б. Полн. собр. соч. Перевод В.И. Маноцкова. Т. 5. Киев; Харьков, 1899. С. V.
- ⁵ *М-н.* Последний исторический роман Сенкевича // Русская мысль. 1896. Кн. 4. С. 177.
- ⁶ Русская мысль. 1895. Кн. 9. Библиографический отдел. С. 108.
- ⁷ Мир божий. 1903. № 9. Библиографический отдел. С. 82.
- ⁸ *Храневич К.* Очерки новейшей польской литературы. СПб., 1904. С. 66.
- ⁹ *Игнатов И.* Сенкевич // Русские ведомости. 1916. № 257.
- ¹⁰ *Дмитриев Н.* Россия и Польша // Пробуждение. 1915. Вып. 5. С. 176.
- ¹¹ *Яцимирский А.* Новейшая польская литература от восстания и до наших дней. Т. 1. СПб., 1908. С. XIII.
- ¹² Польский вопрос // Русская мысль 1881. № 3.
- ¹³ См. об этом: *Ровнякова Л.И.* Вукол Лавров и распространение польской литературы в России // Славянские литературные связи. Л., 1968.
- ¹⁴ *Пытин А.Н.* Новые романы Сенкевича // Вестник Европы. 1888. Кн. 2. С. 666.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ *Сахирова А.* Проблемы славянской взаимности у поляков // Славянские известия. 1890, № 19. С. 374.
- ¹⁷ *Залевский К.* К характеристике новейшей польской литературы // Современный мир. 1912. № 4.
- ¹⁸ *Полонский Л.* Современный польский роман // Вестник Европы. 1906. № 6.
- ¹⁹ *Козловский Л.* Болеслав Прус // Русское богатство. 1912. № 6. С. 57.
- ²⁰ Русский вестник. 1896. № 2. С. 319.
- ²¹ *Прус Б.* По поводу юбилея // Речь. 1908. 11 сентября.
- ²² Цит. по: *Калинин М. И.* О воспитании и обучении. М., 1957. С. 130.
- ²³ *Сенкевич.* Янко-музыкант // Молодой колхозник / Пер. В.Г. Короленко, публикация А.В. Храбровицкого. М., 1957. С. 18–19.
- ²⁴ См.: *Антонович В.* Польско-русские отношения XVII века в современной польской призмe // Киевская старина, 1885, № 5.
- ²⁵ См.: *Пытин А.* Новые романы Сенкевича // Вестник Европы. 1888. Кн. 2.
- ²⁶ Русская мысль. 1885. № 6. С. 65.
- ²⁷ *Шепелевич Л.* Исторические романы Г. Сенкевича // Образование. 1898. Кн. 9. С. 62.
- ²⁸ *Barański Zb.* Literatura polska w Rosji na przełome XIX i XX wieku. Wrocław, 1962. S. 91.
- ²⁹ Ibid. S 89.

- ³⁰ *Barański Zb.* Op. cit. S. 92.
- ³¹ М-н. Последний исторический роман Сенкевича // Русская мысль. 1986. Кн. 4. С. 178.
- ³² Э-н С. Генрик Сенкевич // Волянь. 1900. № 271. С. 2.
- ³³ Фемелиди А.М. Генрик Сенкевич. Ч. 1. Литературная эпоха, жизнь и труды Генриха Сенкевича. Ч. 2. Мысли Генриха Сенкевича. Одесса, 1904. С. 34–35.
- ³⁴ Там же. С. 36.
- ³⁵ Козловский Л. Сенкевич и Польша // Русские ведомости. 1916. № 257. С. 3.
- ³⁶ Зелинский Ф. Генрик Сенкевич // Вестник Европы. 1918. Кн. 1–4. С. 45, 6.
- ³⁷ Северный вестник. 1896. № 10. С. 242.
- ³⁸ Бартенев П. О романе Генриха Сенкевича «Камо грядеши? (Quo vadis?)» // Русское обозрение. 1896, декабрь. С. 1112.
- ³⁹ Венгеров Э. Генрик Сенкевич // Образование. 1901. Кн. 11. С. 65.
- ⁴⁰ Козловский Л. Оптимизм Сенкевича // Вестник воспитания. 1917. № 1. С. 123.
- ⁴¹ Там же. С. 135.

Русские и Россия в польской культуре конца XIX – начала XX вв.

Распространение и оценку русской культуры в Польше на протяжении практически всего XIX века – от романтизма до модернизма – можно связать с несколькими главными мотивами, своего рода «эпистемологическими структурами», с помощью которых польская культура пыталась осознать огромную проблему, которой была в то время Россия для поляков. Эти эпистемологические структуры – выявление и определение которых носит в моей статье по необходимости фрагментарный характер – связывают культуру романтизма с модернизмом, как бы «обходя» при этом вторую половину XIX века, особенно период после 1863 года, когда, как известно, Россия была «табуированной» темой в польской культуре и «великим отсутствующим» в польской литературе. Шокирующий опыт январского восстания воздействовал на эту литературу столь сильно, что представления обо всем русском и его оценки следует искать скорее в публицистических текстах, исторической и философской эссеистике, а также литературной критике этого периода.

Представляется таким образом, что можно перебросить мост между парижскими лекциями Мицкевича, публицистикой и художественным творчеством писателей романтической Великой эмиграции, взглядами Норвида и творчеством Мичиньского, Бжозовского, историко-философскими исследованиями русиста Мариана Здзеховского, поздними рассказами Элизы Ожешко. Более того, сформированные в то время оценки России и русского культурного своеобразия – продолженные и развитые в своего рода «подкожном» русле польских рефлексий на эти темы после январского восстания – в основном сохранились до сего дня в неизменной либо лишь в незначительно модифицированной форме. Доказательство этого тезиса и является целью моей статьи.

Разнородные способы рецепции России и русской культуры в Польше естественно соотносятся с проблемой национальных различий, определяющих отличие Польши от России. В соответствии с мнением Эрнеста Ренана, выраженным в его трактате «Что такое нация?», понятие это можно определить как «духовную общность, восходящую к глубокому и сложному историческому опыту». Нация является «духовной силой», а не «группой людей, своеобразии которой обусловлено совместным проживанием на определенной территории». Ренан добавляет, что в XIX веке существование национальных общностей несомненно создает «гарантию свободы, которая не могла бы быть сохранена в мире, управляемом одним только законом или одним властителем»¹.

Эти положения Ренана помогают раскрыть сущность вовлеченности польской культуры в выявление специфики, различий, что создает затем возможность рефлексии над общим, например над общностью группы славянских народов. Как пример этого непреодолимого стремления к определению различий, можно привести развиваемую Словацким апологию *liberum veto*, шляхетской привилегии, которая, по мнению многих польских и российских историков, привела к падению Польши. «Я наложил вето в польском духе на русские устремления, – писал Словацкий, комментируя свой уход из общества Товяньского, – мое вето делает бесправными и безрезультатными все шаги, которые общество предпримет в сфере связей того же духа с Россией»².

Первым способом выявления отличия и вместе с тем своеобразия «русского духа», познание которого стало основой создания образов русских литературных героев, можно, следовательно, назвать противопоставление польского индивидуализма русскому «духу общности», духу, неопределенный характер которого создавал серьезную угрозу для суверенитета личности. Во второй половине XIX века, например, в размышлениях Мариана Здзеховского о Словацком в его книге «Мессианисты и славянофилы» эта оппозиция индивидуализма и общности, рассматриваемая как фундамент противопоставления польскость-русскость, получила новую интерпретацию. Согласно Здзеховскому в основе существования и функционирования этой оппозиции лежит общее свойство русских и поляков – осознание на собственном опыте громадной разницы между религиозно-культурными идеалами и действительностью³. Именно этот опыт отличает их от представителей западных народов, которые – в соответствии с распространенным в XIX веке мнением – являются «приземленными» реалистами. Здзеховский замечал, например, что общим во взглядах Мицкевича и славянофила Хомякова оказывается противопоставление Востока и Запада на основе оппозиции чувства и разума⁴. Здзеховский считал «характерным свойством славянского племени» мистический патриотизм или мессианизм, опирающийся прежде всего на чувственный, а не интеллектуальный опыт⁵.

На этом фоне выступает другая оппозиция, важная для познания характеров обоих народов. Взглядам русских славянофилов – Киреевских, Хомякова, Константина Аксакова – Здзеховский приписывал черты «реализма», противопоставляя их «идеализму» польских художников-мессианистов (Мицкевич, Словацкий, Красиньский). При этом понятию «реализм» он придавал амбивалентное значение. «Мессианизм Хомякова и Аксакова сводится к мертвым формулам, – писал Здзеховский, комментируя «Рассвет» Красиньского, – мессианизм Красиньского заставляет отбросить мысль и утверждает действие»⁶. Размышляя в этой же книге о творчестве Гоголя, Здзеховский писал, что автор «Мертвых душ» стре-

мился «выявить, изучить и описать тайну духа идеального русского». Его черты – это «хладнокровие в борьбе с превратностями судьбы, умение приспособиться к людям разного склада из разных общественных слоев»⁷. По мнению Здзеховского, Гоголь не смог, однако, увидеть связь между лихоимством царских чиновников и темнотой народа, а также связь между отсталостью народа и общественно-политическим устройством России⁸.

Подобным образом стремился сблизить культуру Польши и России петербургский юрист Влодзимеж Спасович, один из основателей польскоязычного журнала «Край». В своих публицистических и литературно-критических статьях он постулировал политическую ассимиляцию поляков в рамках Российской империи и утверждал, что «национальность – понятие исключительно формальное», а «государства не созданы самими народами»⁹. Причину невозможности польско-русского сближения (а следовательно, основополагающее для самоопределения обоих народов различие) он видел в присущем полякам противопоставлении разума чувствам, а также в российской политике, «империальный» характер которой делал невозможным сосуществование на либеральных и демократических принципах¹⁰. Возможность такого сосуществования в будущем он связывал с сотрудничеством либеральных и демократических кругов Польши и России.

Нормальному сосуществованию, по мнению писателей и мыслителей того периода, препятствовали как по-разному определяемые черты «национального характера», так и религиозные различия. С этой точки зрения, показательна история переписки Мариана Здзеховского со Львом Толстым. Переписка эта была прервана (Толстой не ответил на очередное письмо Здзеховского, сославшись позже на «нездоровье») после того, как автор «Мессианистов и славянофилов» противопоставил творческий индивидуализм католических святых пассивному духу православия, растворяющего индивидуальность в божественном¹¹. Оба корреспондента были согласны между собой в более или менее далеко идущей критике понятий «национальность» и «патриотизм» при том, что эта критика имела у них разные истоки. Возникло и еще одно расхождение. Здзеховский увидел в толстовстве «максимализм» и «прямолинейность, доведенную до абсурда» и приписал позднее эти черты всей русской общественной мысли. «Вообще, размышляя о Вашем учении, – писал он яснополянскому мыслителю, – я всегда прихожу к вопросу о том, существует ли невозможное. Для Вас оно не существует»¹². В своей книге «У основ мессианизма», опубликованной в 1912 году, но составленной из статей, публиковавшихся ранее в славянофильских журналах, Здзеховский писал: «Герцен и Толстой представляют собой два типа критики Европы, настолько безжалостной и беспощадной,

что на нее не отважился бы ни один европеец; тем самым, критика эта становится по сути дела новым словом России о Европе, и этим новым словом является апофеоз анархии»¹³. Сравнивая польских романтических поэтов с Толстым в плоскости понятия мессианизма, он утверждал: «Разница между тремя нашими поэтами-пророками и Толстым состоит в том, что поэты ощущали трудность достижения идеала, которой не чувствует Толстой»¹⁴. С этим связана опасность русской культуры, особенно тогда, когда она воздействует на поляков в ситуации раздела Польши: поскольку русский максимализм ввиду невозможности осуществить идеал перерождается со временем в нигилизм, надвигающийся на Россию катаклизм (предсказанный, как известно, уже в 80-е годы XIX в.) может втянуть в свою орбиту и Польшу. Поэтому в своей книге «Русские влияния на польскую душу», опубликованной в 1920 г., в год польско-советской войны, Здзеховский уже категорически отрицательно относится к филиации двух культур. «Русский смотрит на землю с таких высот, что исчезают различия между добром и злом»¹⁵, – писал он, комментируя распад умеренных подходов в русской политике. Автор книги отмечает «всеобщую атрофию политического чувства, которое в течение стольких веков являлось силой России» и два проявления этого чувства – «революционизированный русский национализм» и анархизм¹⁶. Он писал о неосознанно лицемерной тактике русских, которые проводят ныне «четкую границу между народом и правительством – словно бы правительство состояло не из коренных русских, а из чужих захватчиков. Все хорошее (даже в политике властей) приписывается влиянию народа, все плохое – правительству»¹⁷. Народ, стало быть, не виноват в том, что правительство угнетает другие народы. На дне русской души автор обнаруживает неустранимую антиномичность. Хотя, по его мнению, в русской душе женское начало преобладает над мужским, о духовном величии России свидетельствует народный «тип странника»: «мужской дух потенциально пребывает в пророческой России, в странничестве и поисках правды»¹⁸. И еще одно утверждение: русский «жаждет не более и не менее, как абсолютного преображения мира»¹⁹.

Источником этих взглядов – довольно популярных среди польских писателей и мыслителей начала XX века – естественно был консервативный страх перед распространением революции на польских территориях. Российская революция воспринималась многими мыслителями того времени как своего рода «тщета в действии», чистый негативизм, которому придана созидательная сила. Наивная вера в «непорочную святость российского народа», которую исповедовали первые славянофилы, в соответствии со специфической, российской логикой, действующей с силой рока, превратилась в «культ тщеты», имеющий много

общего с буддистским стремлением к нирване. Так представлена российская духовность, например, в популярной в начале XX века книге Тадеуша Налепиньского «ОН идет! Сочинение о Короле-Духе России» (Краков, 1907). «Когда после 1 марта 1887 года первые месяцы царствования, встреченные возгласом Каткова „господа, встаньте, правительство возвращается“ – не оставляли иллюзий, – пишет автор, – перед подавляемой волей Короля-Духа был открыт, пожалуй, только один путь самоуничтожения, уже не славянофильской изоляции <...> от окружающего мира, а отчаянного и сознательного истребления элементов жизни в ней самой, путь к нирване»²⁰. Наряду с подобными утверждениями здесь встречаются попытки проанализировать специфические явления российской духовности, такие, например, как знаменитая российская «тоска». Налепиньский пишет о ней так: «Никакой анализ не объясняет „тоски“, ибо не в силах постичь ее содержание <...> Источник ее – отрицание, бессознательная цель – самоуничтожение, единственный возможный финал для чувства, вырвавшегося из внутренней пустоты. <...> Таким образом, скука поистине нигилистическая, беспричинная, рожденная не разочарованием, не пресыщением, а как судьба данная от колыбели – скука отрицания – это сестра „тоски“. <...> „Тоска“ – это не аристократическое чувство, и распространено именно потому, что в нем воплощена жизнь народного духа...»²¹. Налепиньский также выражает убежденность в том, что понимание творчества Достоевского и русской культуры в целом невозможно без освоения хотя бы основных элементов индуизма и буддизма. Решение проблем России, проникновение в ее своеобразную «логику» – это задача не для рационалиста и никогда ею не будет; это возможно лишь в категориях мистического единства добра и зла, рабства и свободы, что доказывает «априорную чуждость России по отношению к Европе»²².

Другая значимая оппозиция, через призму которой воспринималась в Польше рубежа XIX–XX вв. русская культура, – это противопоставление российского универсализма и польской ограниченности (провинциальности), никогда, однако, не формулируемое так открыто. Проблемное поле этого противопоставления раскрывает, кстати, известная речь Достоевского о Пушкине, произнесенная 8 июня 1880 года, в которой автор «Униженных и оскорбленных» говорил о своеобразной «всечеловечности» русских. Хотя этот взгляд Достоевского польским комментаторам представляется спорным, многие литературные критики и мыслители того времени приходят к общему выводу, что русская литература способна заглянуть в душу человека значительно глубже, чем какая бы то ни было иная, например, польская. «Сенкевич – это, бесспорно, вдумчивый психолог, – писал Здзеховский, – но Толстой и Достоевский еще более проницательны и значительно более глубоки, и

вообще, во всей мировой литературе нет никого, кто бы выдержал сравнение с ними с точки зрения знания человеческой души»²³. Другой консервативный критик и романист этого периода, Теодор Йеске-Хоиньский, утверждал (в исследовании «На исходе века»), сопоставляя французский натурализм с русским реализмом, что в то время, как в романах первого направления «порок предстает бесстрастно запечатленным фарсом», у Толстого он становится грехом, трагедией, автор, однако, занимает по отношению к своим героям позицию, отмеченную истинным христианским сочувствием. Французскому роману, в сущности, пошло бы на пользу, – констатировал Йеске-Хоиньский, – «если бы он взял у русского романа его сочувствие к отчаянию и слабости человека»²⁴.

Позитивная оценка универсализма русской культуры часто ассоциируется у польских писателей с убеждением, что творчески понятая общность опыта поляков и русских возникает на почве страдания. Это заметно в различных произведениях писателей-позитивистов – например, в цикле рассказов Элизы Ожешко «*Gloria victis*», где январское восстание интерпретируется уже не только как верный, хотя и отчаянный порыв поляков против имперского гнета, но и как война, которая охватывает обе стороны своей жестокостью и ужасами: «А там, в звериной ярости, в агонии клубились человеческие тела и в сумятице борьбы, в раскатах грома, в дожде гигантских молний кровь текла с них на траву, мох, цветы и впитывалась в дрожащую от грохота и шума землю...»²⁵. В период модернизма, в конце концов, происходит своеобразное наложение романтических, «предназначенных» до сих пор для интерпретации истории Польши и специфически польского опыта страдания схем на действительность и историю России. Это происходит, например, в творчестве Тадеуша Мичиньского, драма которого «Князь Потемкин» – написанная на основе реальных событий: бунта моряков на кораблях черноморского флота и истории жизни «красного адмирала», лейтенанта флота Петра Шмидта – оказывается одновременно парафразой и творческим развитием «Не-божественной комедии» Зигмунта Красиньского. В «Князе Потемкине» Мичиньский использует знание вечных дуализмов русской культуры, являющихся одновременно внутренними противоречиями русской души. В характерах изображенных Мичиньским моряков сосуществуют братство и готовность к предательству, непоколебимая гордость и самоуничужение. Появляется здесь также мотив «двойной жизни»: маски, которую, находясь под властью «дьявольского» режима Империи, герои вынуждены носить постоянно. «Если что – я готов, – говорит морякам фельдфебель Тишевский – у меня тоже уши и глаза есть – знаю, что затевается в России... Вот сброшу эту фуражку, тогда буду рассуждать, а пока – не смей, мол-

чи!»²⁶. Произведение Мичиньского пронизано гностическими мотивами, весьма характерными для модернизма, но еще раньше создававшими специфический характер русской культуры. Способность к жестокости сосуществует в ней – по мнению автора «Князя Потемкина» – с чистой, безупречной добротой, подобно тому, как – в интерпретации Бориса Успенского и Юрия Лотмана – фигура «отщепенца» может означать в русской культуре и палача, мучителя, и святого²⁷. Воплощением такой «голубиной доброты» является, например, моряк Митенко, говорящий: «Милые, сердечные братья – не надо крови. И рекруты люди. В них только разуму мало, а сердце у них мягче воска. Да и мудрецы наши офицеры тоже не так жестоки, как нам кажется. Дисциплина – вот, что их губит, а сами они тоже добрые»²⁸. Бунт на корабле происходит, однако, в «гностическом пространстве» хотя бы потому, что не в силах привести к позитивным результатам. Материальный мир неизбежно проникнут злом – между нарисованными уже явно гротескно имперскими структурами власти, которые олицетворяет капитан Ваминдо (воплощение негативной формы русского «отщепенца» – дегенерата и мучителя) – и революцией, которая не может быть ничем иным, как «самоуничтожением зла», нет места для реализации индивидуальных стремлений, нет места свободе.

Парадокс заключается в том, что, по мнению Мичиньского, русская революция может направляться исключительно инстинктом смерти. В «Князе Потемкине» он воплощен в фигуре офицера, Вильгельма Тона, который так обращается к морякам: «Я открою вам тайну бытия: Хожение по высоким горам. В это полуденное время вы все созреете неожиданно, как цветок папоротника. Вы ощутите крылья – и мысли творческие, глубокие. Когда это произойдет – когда вы станете богами – поклянитесь мне, что корабль со всеми вами я смогу взорвать»²⁹.

Возникает вопрос: не объясняется ли мятеж на «Князе Потемкине» (или может ли он совершиться лишь негативно, как «самоуничтожение») тем, что герои его – русские? Многое указывает на то, что автор драмы дает утвердительный ответ. Предложенные Мичиньским обращения к специфике русской культуры – в том числе, к ритуалам отщепенческой секты хлыстов – свидетельствуют о попытке автора драмы проанализировать «российскую индивидуальность»³⁰. Скрытые в ее глубине убеждения и комплексы в известной степени парализуют действия героев, так, что они воспринимаются в категориях судьбы, рока, а не сознательных, рациональных решений. Лейтенант Шмидт, предводитель мятежа, наиболее положительная фигура в произведении, определен и как «бедный психопат», и как «благородный Гипербореец», что открывает связанные с восприятием русскости мифологические коннотации³¹. В соответствии с его концепцией, мятеж и разум несо-

вместимы, так как «храня верность разуму – мы тем самым служим Извергу»... возможно, потому, что именно на мнимой рациональности основан строй Империи. (Здесь следует напомнить, что, в соответствии с интерпретацией Жоржа Батайя, выраженной в его книге «Теория религии», отход от *sacrum* начался в истории Европы именно с укрепления Римской империи, выдвинувшей формулу рациональности.) Однако обращение к иррациональным сферам личности также не дает ответа. «Непостижимо, как безгранично мрачна и неспособна к действию душа России», – утверждает Шмидт»³².

Развивая намеченную во вступлении аналогию между романтической и модернистской рецепцией русской культуры в Польше, следует напомнить тот бесспорный факт, что восприятие Империи как пространства, неизбежно насыщенного злом, – это представление, характерное для польского романтизма. Этот вывод, сформулированный Мицкевичем и функционирующий в рамках фундаментальной оппозиции «добро-зло», был подхвачен другими романтиками: Норвид считал Россию «ассоциацией», «формальным состоянием», пространством, не объединенным творческим трудом во спасение нации или общества³³. Для отдельных людей Россия – это прежде всего область безмерного страдания или рабства, которые – вопреки более или менее явному убеждению русской культуры – не ведут к «одухотворению». Применяя эту схему при интерпретации «Князя Потемкина», можно поставить вопрос, не является ли специфическая форма переживания, характерная для русских – героев этого произведения – стремление к «интенсивности чувств», «погружение во зло» – индивидуальным воспроизведением «системы империи», основанной на постоянном присоединении к центру периферии, представляющейся «потребляющей» ощущения личности «пригодным к усвоению». Точнее говоря, такая форма личности становится доминирующей по отношению к переживанию отсутствия Бога. «И Ты живешь? Почему? – спрашивает лейтенант Шмидт Вильгельма Тона. – Мне всегда кажется, что жизнь – лишь ожидание чего-то огромного. В крайнем случае – смерти. Но если ты выжил – то жить дальше...?»³⁴.

Несмотря на то, что вопрос этот остается без ответа (или, вернее, несмотря на отрицательный ответ на него), в «Князе Потемкине» сформулированы определенные идеи, которые, как представляется, ведут к решению дилеммы «русской души». Это своего рода концепция «русской сверхчеловечности», которую главный герой выражает следующим образом: «Я стремлюсь к углублению жизненной мысли – следовательно, пусть распространяется все трагическое. И потому я говорю: долой инстинкт! Хотя следует сказать: долой человека, ибо это самый коварный из инстинктов»³⁵. Проблема решения ситуации России в этом произведении тесно связана с вопросом существования харизма-

тических вождей, которые – что в парижских лекциях доказывал уже Мицкевич – создавали величие этой страны.

У Мичиньского, как говорилось выше, стираются границы между польским и русским. Проблемы «русской личности» становятся одновременно проблемами «польской личности», по мере того, как последняя освобождается от давления внешней традиции и национально-мартирологических схем. Дальнейший этап этой эволюции творчества автора «Во мраке звезд» виден хотя бы в романе «Нетота. Тайная книга Татр» 1910 года. В этом сложном и многослойном повествовании, в котором – в соответствии с указаниями самого автора – самое важное скрыто «между строк», Мичиньский воплощает своеобразную «онирическую географию». Польские Татры соседствуют здесь с Сибирью в силу индивидуального опыта одного из героев, бывшего ссыльного. Россия и Польша изображены здесь как элементы загадочного «славянского мира», таинственная история которого уходит во времена рунического письма. Праславянскому единству покровительствуют боги Святовид и Перкун, противопоставленные Мичиньским христианству как религии фальсифицированной (т. е. такой, в которой искажено послание Христа) и репрессивной. «Католицизм уже не является для Польши компасом», – утверждает автор в одном из дискурсивных фрагментов книги³⁶. Далее, однако, он замечает, что «настоящий – то есть внутренний – раздел Польши» только начался³⁷.

Эти выводы, очевидно, нельзя считать голословными, поскольку современные историки ставят вопрос: если бы ход европейской истории не позволил полякам получить независимость, не были ли бы аннексированные территории в конце концов интегрированы в организм государств-захватчиков? Однако творчество Мичиньского свидетельствует и о другом важном процессе: вопрос независимости Польши и ее «духовной истории» был поднят в начале XX века в связи с тем или иным способом решения «российских дилемм». Иначе говоря: решение проблем Польши не связано уже с полной изоляцией от России, а может быть найдено лишь в «общем пространстве» польского и русского. Мичиньский, хорошо знающий российскую проблематику – во время балканской войны он находился в Софии в качестве корреспондента еженедельника «Свят», 1915–1918 гг. провёл в Москве и Петрограде, а также в Белоруссии – создает в «Нетоте» и более позднем романе «Ксендз Фауст» (1913) именно такое «общее пространство славянского мира», в котором «национальная индивидуальность» русских и поляков может найти точки ориентации.

Как было уже сказано выше, это связано с определенной переориентацией понимания прошлого, этого непреодолимо тяготеющего над обоими народами наследия, присутствие которого мучительно ощущал герой романа Станислава Бжозовского «Пламя», поляк, русский

революционер, Михал Каневский: «Не было спасения от воспомина-ний! Они преследовали меня по всем закоулкам сознания и восприятия, как упыри в лунную ночь в опустевшем замке. На все увиденное я стал смотреть умершими глазами. Не было спасения от воспоминаний»³⁸.

Проблема заключалась в том, чтобы суметь негативное наследие, тяготеющее над обоими народами, превратить в позитивную предпо-сылку для созидания лучшего будущего. В творчестве Мичиньского этот вопрос воплощается в поиске «новой России», в которой могло бы произойти братание наций и общественных классов. В то время, как в Польше это потребовало бы разрыва с «ограниченной», базирующей-ся на архаически понимаемом католицизме традицией, в России, воз-можно, единственным решением была бы ликвидация прошлого и оли-цетворяющих его людей. «Да, я виновен, – говорит Капитан, один из героев „Князя Потемкина“, – справедливость и Россия требуют моего расстрела»³⁹. Далее, в то же время, в соответствии со специфически русским пониманием «рока», он утверждает: «всюду <...> шла за нами смерть – и последнюю безумную оргию устроила нам на мрачных водах Цусимы. Утопить на дне Оксана исторический труд Петра Великого и вместе с ним, быть может, судьбы России – это, как хотите, господа – тяжело. Я требую для себя смерти. Меня уже не оправдывает молодость». Однако такие же простые моряки не представляют собой наследия, способного возродить Россию. «А вы думаете, что вы лучше? – спра-шивает их капитан. – Если верить ученым – наследственность переда-ется на протяжении двадцати поколений. Ваше тело и ваш дух боль-ны. Все в вас отравлено изначально. У всех у вас <...> карамазовский характер <...> Та же вспыльчивость, то же забвение в решающий мо-мент, та же горячка мысли»⁴⁰. «Людей, которые хотят быть рабами, нельзя сделать свободными», – утверждает далее моряк Матюшенко, в определенной мере решая судьбу мятежа на броненосце, который для Мичиньского оказывается образом всех внезапных перемен в истории России»⁴¹. Подобная формулировка, в дискурсивном языке политики, встречается у ведущего деятеля эндеции, Романа Дмовского, который в своей книге «Германия, Россия и польский вопрос» (Львов, 1908) писал: «В России накопившаяся ненависть к правительству приводит к тому, что при всех попытках реформ сразу возникает острый конфликт меж-ду народом и властью». По той же причине, по мнению Дмовского, ор-ганы местного самоуправления, учрежденные Александром II, превра-тились исключительно в «место борьбы с правительством»⁴².

Как же должна выглядеть «новая Россия», выплавленная в тигле общих страданий? В «Нетоте» Мичиньского символическим простран-ством этих страданий и вместе с тем «одухотворения», подвергающего испытанию их личность, становится крепость на озере Ладога, стены

которой были немymi свидетелями казни тысячи узников, начиная с «Евдокии Лопухиной, жены Петра Великого» до декабристов и народников⁴³. Эти страдания выпадают также на долю Арьямана, *alter ego* автора. Переживает ли он также и преображение? Свидетельством такой перемены могла бы быть беседа героя с монахом, уже после бегства из крепости. Под влиянием этого разговора герой начинает понимать, что важнее революции «великое дело Личности», ее глубокое преображение, а вместе с тем синтез культур Запада и Востока⁴⁴.

Поляк как зеркало русского, русский как зеркало поляка – это очередной мотив, проходящий через польскую литературу рубежа веков. Создается впечатление, что фигура русского как литературного героя часто олицетворяет в польской культуре то, что было ею как бы «загнано в подсознание». В рассказе Ожешко «Офицер» из тома «*Gloria victis*» русский офицер Аполинарий Карловицкий и молодой поляк-повстанец, Олесь Авич, обнаруживают, что они родом с одних и тех же территорий, восточных кресов Речи Посполитой. То, что теперь они стоят по разные стороны баррикады, обусловлено лишь более или менее случайными поворотами их судеб. Русский офицер освобождает польского повстанца; прежде, чем совершить самоубийство, он в течение пяти минут переживает особое состояние самоосвобождения, свободы от роли, навязанной ему системой. Высвобождение того, что до сих пор было скрыто, состояние равновесия личности связаны здесь со смирением со смертью как с неотъемлемым элементом жизни.

Этот мотив «зеркального отражения» возникает также в упомянутом уже романе Бжозовского «Пламя», герой которого, Михал Каневский, замечает провинциальность, идейную и интеллектуальную ограниченность польской культуры в зеркале универсализма российского революционного движения. Конечно, этот универсализм не лишен негативных или опасных черт, о которых говорилось выше. Их воплощает хотя бы изображенный в романе Сергей Нечаев. «...В Нечаеве было что-то от холодного, систематического бешенства, – пишет Бжозовский. – Он был замкнут в себе, как кристалл какой-то неизвестной и ни на что не похожей духовной субстанции. Он не считался <...> ни с кем и ни с чем»⁴⁵. В то же время другие герои романа олицетворяют спокойный и глубоко рациональный аспект русскости. «У человека есть только труд, – утверждает на страницах романа Бжозовского Александр Михайлов, представляя здесь взгляды самого автора. – Вот вся моя истина, в ней все. <...> Я не говорю: мир – это то или это. Мир – это лишь то, где я тружусь. Все, что я знаю, что имею – это человеческий труд, это наша святая, человеческая добыча»⁴⁶. Несмотря на это, создается впечатление, что революционеры из романа Бжозовского должны подчиняться идеям, по необходимости непроверенным, поскольку они

не в состоянии охватить весь комплекс проблем огромного государства, каким является Россия. «В сознании моих друзей общее заслоняли детали и эпизоды. Для Яшки все через какое-то время становилось анекдотом и приключением, для Бреннайсена вопросом нравственного стоицизма. Каждый должен был совершить все для себя. Варя знала только, что ее не остановит <...> ничто, и в любой момент она готова пожертвовать собой безоговорочно для дела, в которое верит»⁴⁷.

В этом многообразии человеческих характеров исчезают идеология, искусственные деления в соответствии с ориентацией и выбором. В этом полиморфизме, с точки зрения Бжозовского, остается также место для национальных различий, лишенных, однако, тяготеющего над поляками и русскими негативного наследия прошлого. Так понимаемая «национальность» обращается к коренным, экзистенциальным категориям человеческой жизни. Как написал Режи Дебрэ: «Национальность – это не только временная форма человеческой общности, появившаяся достаточно недавно, но и своеобразная форма ответа на двойную угрозу со стороны хаоса и смерти, с которыми сталкивается любое общество»⁴⁸. Именно поэтому так сильна связь народа и литературы. Если восприятие польскости и русскости рассматривать на широком идейном фоне – как это делают Бжозовский и Мичиньский – оппозиции, определяющие рецепцию России в польской культуре, уже не являются ограничивающими стереотипами, а становятся полем для истинно творческого понимания многообразия.

Примечания

- ¹ См.: *Renan Ernest. What is nation? // Homi K. Bhabha. The Nation and Narration. P. 20 и сл.*
- ² Цитата из письма Словацкого Мицкевичу, см.: *Slowacki J. Dzieła. T. XII. S. 217.*
- ³ *Zdziechowski M. Mesjaniści i słowianofile. S. 189–191.*
- ⁴ *Ibid. S. 216.*
- ⁵ *Ibid. S. 226.*
- ⁶ *Ibid. S. 270.*
- ⁷ *Ibid. S. 296.*
- ⁸ *Ibid. S. 304.*
- ⁹ По поводу взглядов Спасовича см.: *Ludwikowski Rett R. Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815–1890. S. 186.*
- ¹⁰ *Ludwikowski Rett R. Op. cit. S. 188;* редактор «Края» и близкий друг Спасовича, Эразм Пильтц писал в 1909 году в своей докладной записке «Русская политика в Польше – открытое письмо руководителям российской политики»: «Все, что происходило на польских территориях, казалось, противоречило исповедуемым нами идеям. Российская политика, стремящаяся лишить свободы и денационализировать наш народ, была как бы рассчитана на то, чтобы вытравить в польских умах всякую мысль, всякую надежду на создание вместе с Россией лучшего будущего».

- 11 Соответствующие фрагменты письма Здэховского Толстому (от 3/15 февраля 1896) звучат так: «Святые же, особенно святые западной церкви, по моему глубокому убеждению, представляют собой высший идеал, доступный человеку, идеал совершенства. Это факелы человечества, не пустынноики, созданные по одной болванке, как это происходит на востоке (подчеркнуто мной. – М. П.) – но живые люди, непохожие друг на друга, олицетворяющие разнообразнейшие стороны человеческого духа в лучших их проявлениях...». См. об этом: *Białokozowicz Bazyli. Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj*. S. 79, 80.
- 12 *Białokozowicz Bazyli*. Op. cit. S. 133.
- 13 *Zdziechowski M. U opoki mesjanizmu. Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich*. S. 179.
- 14 Ibid. S. 245.
- 15 *Zdziechowski M. Wpływy rosyjskie na duszę polską*. S. 62.
- 16 Ibid. S. 10.
- 17 Ibid. S. 63.
- 18 Ibid. S. 70.
- 19 Ibid. S. 30.
- 20 *Nalepiński T. ON idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji*. S. 93.
- 21 Ibid. S. 104.
- 22 Ibid. S. 127.
- 23 См.: *Zdziechowski Marian. Głos z Polski, опубликованный в международном толстовском альманахе под ред. Петра Сергеевко // Białokozowicz Bazyli. Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj*. S. 178.
- 24 *Jeske-Choiński T. Na schyłku wieku. Studium*.
- 25 *Orzeszkowa E. Gloria victis // Opowiadania*. S. 490.
- 26 *Miciński T. Książę Pamiotkin // Utwory dramatyczne*. S. 146.
- 27 См.: *Lotman J., Uspienski B. «Odszczepienie» i «odszczepienstwo» jako pozycje społeczno-psychologiczne w kulturze rosyjskiej // Semiotyka dziejów Rosji*.
- 28 *Miciński T. Op. cit.* S. 149.
- 29 Ibid. S. 181.
- 30 Несомненно, это обращение связано с убеждением, что типичные, характерные черты какого-либо явления – в данном случае своего рода «эссенция русской ментальности» – могут быть выявлены в своих крайних, извращенных и патологических проявлениях. Это убеждение, как известно, было свойственно модернизму. Отдавая дань именно этой концепции, Мичиньский обращается к хлыстам, давая в реплике лейтенанта Шмидта цитату из их ритуала: «хлыщу, хлыщу – Христа ищущу!», а также заставляя своего героя укунить противника (воплощение дьявола) в лицо («он наклоняется и судорожно стискивает зубами лицо Вильгельма Тона», – пишет Мичиньский), что – кроме того, что это аллюзия с ритуалами хлыстов – ничем на уровне структуры или смысла драмы не обосновано. См. также комментарии Тересы Врублевской к соответствующему фрагменту драмы («Utwory dramatyczne» Micińskiego, s. 517–520).
- 31 Как известно, «Гиперборейцами» (народ, в соответствии с верованиями древних греков, населяющий расположенную далеко на севере Гиперборею, страну сказочного изобилия, где земля родит дважды в год, а люди не болеют и наделены даром бессмертия) называл русских, в частности, Мережковский («Петр и Алексей»).

- 32 *Miciński T.* Kniaz Patiomkin. S. 161.
- 33 См.: *Król Marcin.* Konserwatyści a niepodległość. S. 159; исходя из этого, Норвид ставил знак равенства между «петербургским государством» и «революционной абстракцией», так как обе эти идеи, с его точки зрения, «полностью противоречат действительности».
- 34 *Miciński T.* Kniaz Patiomkin. S. 158.
- 35 Ibid. S. 188.
- 36 *Miciński T.* Nietota. Księga tajemna Tatr. S. 282.
- 37 Ibid. S. 346.
- 38 *Brzozowski S.* Płomienie. S. 24.
- 39 *Miciński T.* Kniaz Patiomkin. S. 102.
- 40 Ibid. S. 211.
- 41 Ibid. S. 229.
- 42 *Dmowski R.* Niemcy, Rosja i kwestia polska. S. 102.
- 43 Zob.: *Miciński T.* Nietota. S. 352.
- 44 Ibid. S. 383, 396.
- 45 *Brzozowski S.* Płomienie. S. 101.
- 46 Ibid. S. 232.
- 47 Ibid. S. 92.
- 48 Цит по: *Brennan Timothy.* The national longing for form // *Homi K. Bhabha.* The Nation and Narration. P. 51.

Литература

- Białokozowicz Bazyli.* Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj. Wydawnictwo «Luk». Białystok, 1995.
- Dmowski Roman.* Niemcy, Rosja i kwestia polska. Lwów, 1908.
- Homi K. Bhabha.* The Nation and Narration. University of Sussex Press, 1994.
- Król Marcin.* Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa, 1985.
- Ludwikowski Rett R.* Główne nurty polskiej myśli politycznej. PWN. Warszawa, 1982.
- Miciński Tadeusz.* Utwory dramatyczne / Wybór i opracowanie Teresa Wróblewska. Wydawnictwo Literackie. Kraków, 1996; Nietota. Księga tajemna Tatr. Kraków, 1907;
- Nalepiński Tadeusz.* ON idzie! Rzecz o Krylu-Duchu Rosji. Gebethner i S-ka. Kraków, 1907.
- Orzeszkowa Eliza.* Opowiadania. Wydawnictwo «Czytelnik». Warszawa, 1970.
- Płomienie. Z papierów po Michale Kaniowskim wydał i przedmową poprzedził Stanisław Brzozowski. Wydawnictwo «Iskry». Warszawa, 1983.
- Semiotyka dziejów Rosji / Wybór i przekład Bogusław Żyłko. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź, 1993.
- Zdziechowski M.* Mesjaniści i słowianofile. Kraków, 1888; U opoki mesjanizmu. Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich. Gubrynowicz i Syn. Lwów, 1912; Wpływy rosyjskie na duszę polską. Kraków, 1920.

Выбор носителя «русского начала» в польской политике Российской империи. 1831–1917 *

Политика самодержавия в польском вопросе за почти полутора-вековую свою историю накопила целый арсенал стратегических установок, в обосновании которых большую роль играли этносоциальные стереотипы – устойчивые представления о месте в здании империи тех или иных национальных и общественных групп. Важной составляющей этой политики был курс на укоренение русского элемента на землях, некогда входивших в состав Речи Посполитой. Один из авторов прошлого столетия удачно назвал его «системой этнографического воздействия»¹. В подобном воздействии многим виделся наиболее надежный способ интеграции национальной периферии с имперским ядром, – отсюда то постоянство, с которым правительственные круги и русская общественная мысль обращались к переселенческой панацее. Два польских восстания XIX века самым решительным образом повлияли на активизацию восходящего к екатерининской эпохе курса.

Для 30–50-х гг. XIX в. были характерны малая мобильность скованного крепостническими порядками населения и крайняя ограниченность общественной инициативы, даже если та шла в русле предначертаний высшей власти. С другой стороны, правительство имело полный контроль за государственной деревней, выступавшей аренной многочисленных экспериментов – от организации военных поселений до посадки непривычного для крестьянина картофеля. Именно казенный земельный фонд, существенно пополненный конфискованными имениями польских инсургентов, рассматривался в качестве материальной базы для создания как русских поместий средней руки, так и хозяйств крестьян-переселенцев. Ориентированные на эти две формы землевладения проекты конкурировали между собой, но куда более острым было их противостояние планам реформирования государственной деревни. Последнее обстоятельство предопределило мизерность практических результатов². Тем не менее можно констатировать, что правительство дворянской империи отдавало предпочтение помещицкому элементу, о чем свидетельствует широкомасштабная раздача в 30–40-х годах майоратов в Царстве Польском. Наряду с пожалованием на майоратном праве обсуждались предложения о долгосрочной аренде и продаже

* Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 96-01-00375 и Research Support Scheme of the Open Society Institute / Higher Education Support Programme, grant № 213/199.

угодий на льготных условиях. Во всех случаях в качестве потенциальных владельцев обычно выступали отличившиеся на службе военные и чиновники гражданского ведомства.

В рассказе Н.С. Лескова «Русский демократ в Польше» описан один из подобных проектов середины 30-х годов. «Когда на двадцати пяти тысячах мест станут двадцать пять тысяч русских помещичьих домиков, да в них перед окнами на балкончиках задымятся двадцать пять тысяч самоваров, и поедет сосед к соседу с семейством на тройках, заложённых по-русски, с валдайским колокольчиком под дугою, да с бубенцами, а на козлах отставной денщик в тверском шлыке с павлиньими перьями заведет: „Не одну в поле дороженьку“, так это будет уже не Литва и не Велико-Польша, а Россия. Единоверное нам крестьянское население как заслышит пыхтенье наших веселых тульских толстопузиков и расстилающийся от них дым отечества – сразу поймет, кто здесь настоящие хозяева, да и поляки увидят, что это не шутка и не „збуйство и здрайство“, как они называют наши нынешние военные нашествия и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселение на всегдашние времена, и дело с восстаниями будет покончено»³. Мелкопоместный отставной офицер, буквально утопающий в аксессуарах русского быта – тульских, тверских, валдайских – становился в грезах героя рассказа оплотом центростремительных сил на окраине. Мотив единоверности в 30-е годы, до ликвидации Унии, был более приглушен, нежели на рубеже 70-х – 80-х годов, когда писался рассказ. Впоследствии Лесков внес знаменательное уточнение, связав проект «русского демократа», служившего в Варшаве, не с Царством Польским, а с Литвой.

В правление же Николая I в мероприятиях по развертыванию русской колонизации Царство Польское занимает ведущее место. Помимо майоратов (138 в Царстве и только 2 в Западном крае), упомянем создание крестьянского поселения около Новогеоргиевской (Модлинской) крепости, давшего импульс для разработки закона о взаимном «перечислении» жителей Царства и России. Подобный указ был издан в 1841 г. для Западного края, но касался лишь купечества и, как показал опыт, не оправдал ожиданий законодателей. Наместник Царства Польского И.Ф. Паскевич предложил расширительное толкование, перенес акцент на сельских жителей. Положения нового указа согласовывались Петербургом и Варшавой на протяжении более четверти века. Хотя в конечном счете ограничения сословного и ценового характера были сняты, боязнь русской бюрократии выпустить переселенческий процесс из-под контроля и обременить казну, а также влияние на законотворческую работу польских чиновников не позволили сделать подписанный в 1868 г. указ действенным орудием русификации. В ходе многолетних дебатов прозвучало немало соображений pro и contra колони-

зации. Рекомендовалось поощрять русских промышленников, использующих на своих польских предприятиях труд соотечественников. Говорилось о том, что Западный край, куда стихийно устремлялись крестьяне-отходники из внутренних губерний, гораздо доступнее им, нежели земли по другую сторону Буга⁴.

В Западном крае русский крестьянин не всегда воспринимался как интегрирующий фактор. Так, в 40-е годы виленский генерал-губернатор Ф.Я. Миркович, напоминая о свойственных русским предприимчивости и воинственности, опасался, что их влияние на местное население создаст угрозу правопорядку. Поселенные на границе (именно такая точечная колонизация тогда обсуждалась), они станут вовсе не залогом стабильности, а... потенциальными контрабандистами⁵. Можно отметить еще одну черту, характерную для большинства колонизационных начинаний правительства в дореформенную эпоху: землеустроительные планы являлись прямым продолжением военного присутствия в регионе.

Великие реформы, хотя и не сразу, повлекли за собой разрушение традиционных социальных структур, придали обществу невиданный раньше динамизм. Острая полемика в верхах по поводу высылки причастных к восстанию 1863 г. в глубь России убедила в невозможности пошатнуть польское преобладание в Царстве репрессивными средствами. Хотя все большее значение придавалось специальной политике в отношении Холмщины, ядром правительственной стратегии в Царстве сделалась ставка на польского крестьянина как враждебный шляхте элемент. Землераспределительная практика 60–70-х годов сложилась не в пользу русской крестьянской колонизации, вновь, как при Паскевиче, отгесненной майоратными пожалованиями и, кроме того, разделением малоимущих польских крестьян.

Между тем майораты явно не оправдывали связанных с ними надежд. В нарушение закона, владельцы находили способы сдавать имения в аренду неправославным, а те немногие из них, кто осел в Царстве Польском, оказались подвержены полонизации. Уже в 80-е годы зазвучали призывы к парцелляции майоратов с тем, чтобы с помощью этой меры создать плацдарм для массового притока русских крестьян. Однако среди одаренных Николаем I и Александром II было немало влиятельных лиц, и потому майораты в почти неизменном виде просуществовали вплоть до 1917 г.⁶

В полемике сторонников помещичьей и крестьянской колонизации постепенно возобладало компромиссное решение о том, что «русское начало» должно быть представлено разнородными социальными носителями. Публицист и историк П.К. Щебальский писал, что «нужны все элементы общественной организации, представители всех со-

словий», и мечтал о времени, когда «помещик-пенсионер и крестьянин-переселенец встретятся как земляки на чужбине». В лице первого ему виделась сила «экспансивная», способная нарушить польское засилие, а в лице второго – сила «консервативная», стойкая к воздействию инонациональной среды ⁷.

Такое толкование альтернативы «помещик или мужик» в политике «этнографического воздействия» досталось в наследство ХХ веку. Для последних лет монархии в России показателен конфликт варшавского генерал-губернатора Г.А. Скалона и ревизовавшего в 1910 г. Царство Польское сенатора Д.Б. Нейдгарта, за которым стоял П.А. Столыпин. Апеллируя к традициям аграрной реформы 1864 г., Скалон был склонен использовать майоратные угодья для смягчения земельного голода польских крестьян. Русские селяне, полагал он, уступают последним в культуре ведения хозяйства и проникнуты бунтарским духом. Решительно возражая начальнику края, Нейдгарт отстаивал «право на несравненно большее к себе уважение» «русского крестьянина, этой основной, мирной и по природе спокойной силе русской земли». «Это глаза, – патетически восклицал сенатор, – которыми Россия будет вдумчиво вглядываться в жизнь и тревоги своей окраины, это – сдерживающая рука, которой суждено, быть может, вовремя остановить от вольного или невольного порыва страну». Однако и Нейдгарт был сторонником смешанной колонизации. «Если мелкое землевладение нельзя считать иначе как оплотом русской государственности, – писал он, – то сила этого оплота, при сохранении в части и крупных хозяйств, увеличится вдвое, а солдаты мирной армии найдут своих офицеров» ⁸.

В 80-е годы получила распространение идея обмена майоратов в Царстве на польские имения в Западном крае (или, соответственно, расположенные на западном берегу Вислы на находящиеся к востоку от нее). Известны случаи, когда с подобными ходатайствами выступали сами русские владельцы, проявившие особый интерес к плодородным землям Киевского генерал-губернаторства. Подобно Царству Польскому, после 1863 г. в Западном крае крестьянская колонизация также отошла на второй план, несмотря на ее популярность как среди части бюрократии, так и в исключительно широком спектре общественного движения – от основателей «Колокола» до ряда правых изданий. Сторонники крупного землевладения, в свою очередь, ссылались на необходимость создания материального и интеллектуального противовеса польским латифундистам, формировавшим национально-культурный климат западных губерний. С их точки зрения, укоренение одного русского помещика важнее устройства целой деревни. Благодаря жесткому антипольскому законодательству, рост русского помещичьего землевладения в Западном крае значительно превосходил аналогичный процесс

по другую сторону Буга. Гораздо большее, чем в Царстве Польском, значение здесь приобрела покупка земли на льготных условиях. Победные реляции местных властей воспринимались в правительственных верхах достаточно скептически: за ними не стояло решения польского вопроса⁹.

В эпоху массовых миграций польская политика самодержавия вступила в явное противоречие с закономерностями демографических процессов. Крестьянское по своему составу переселенческое движение устремилось в направлении свободных пространств на Восток¹⁰. Искавшие выхода из пореформенного кризиса в обзаведении землей в восточной части Империи русские дворяне тщетно пытались претендовать на свою долю: правительство не пошло на расширение ареала помещичьего землевладения. Изыскивать же земельные резервы на Западе становилось все труднее. Определенная перспектива вырисовывалась в связи с ухудшением российско-германских отношений. К 80-м годам резко отрицательным стало восприятие немецкой колонизации западных окраин, в которой ранее виделся один из оплотов режима. В период мировой войны с думской трибуны раздавались призывы передать немецкие земли в русские руки.

При формировании колонизационных планов проблемой первостепенной важности являлось отношение властей к местному восточнославянскому населению, проживавшему на бывших землях Речи Посполитой. Отношение это отличалось многослойностью и противоречивостью. Идеологический уровень составляла концепция триединого русского народа, в рамках которой региональные особенности предельно игнорировались. Такой подход, между прочим, давал основание для негативной реакции на включение сельских жителей западных губерний в общий переселенческий поток за Урал. В Северо-Западном крае в 70-е годы принимается решение локализовать мероприятия по устройству русских крестьян, ограничившись католической Ковенской губернией¹¹.

Что же касается местных властей, то изрядная доля их усилий была направлена на устранение реально существовавших особенностей. В этом контексте большое значение приобретали различия между «древлеправославными» и «воссоединенными» (в числе последних особо выделяли «отпавших», «упорствующих» и «колеблющихся»), специфика языка и обычаев, польское влияние, «народный дух» в целом. Трактовка той или иной категории населения зависела также от ее социальной принадлежности. Столкновение конфессионального и социального подходов в этнополитической идентификации подданных предельно рельефно проявилось в отношении к белорусам-католикам. В 60-е гг. крестьяне католического вероисповедания были выведены из-под действия антипольского законодательства. Позднее вступила в силу важная

оговорка: изъятие из общего правила прекращается, как только крестьянин превысит определенный имущественный ценз и по условиям своего быта приблизится к помещичьей среде.

К крестьянскому варианту «этнографического воздействия» примыкала политика в отношении раскольников. Старообрядцы, преимущественно беспоповцы, обосновались в интересующем нас регионе еще тогда, когда влияние Москвы и Петербурга на него не распространялось, причем не по воле правительства, а вопреки ей. До 60-х годов XIX века власти рассматривали этот исторический фонд русской колонизации главным образом под углом зрения соблюдения правопорядка – сословного (приписка, рекрутская повинность), конфессионального (обращение отступников в лоно официальной церкви через единоверие, всякого рода ограничения религиозной жизни), уголовного (преступность в среде старообрядцев, их отношение к институту брака), политического (требование молитвы за царя). Раскольники стойко противились государственной регламентации и переселялись за границу, в прусские пределы¹².

Противодействие староверов польскому восстанию заставило увидеть в них «драгоценный элемент» политической стабильности в регионе¹³. Однако позиция церкви не только не позволила коренным образом изменить взгляд на Раскол, но помешала переселению из Восточной Пруссии и внутренней России. Верх одержала позиция К.П. Победоносцева, утверждавшего, что «по одной причине преданности к престолу нельзя давать льгот, возмущающих чувство православия»¹⁴. Отзывы о раскольниках как носителях русского начала довольно значительно варьировались. Отмечались большая, по сравнению с паствой государственной церкви, устойчивость к внешним влияниям, верноподданнический инстинкт. С другой стороны, обращалось внимание на отход от общинного строя, невежество старообрядцев и их конфликт с существующими нормами общежития¹⁵. При расселении старообрядцев власти избегали их соседства с православными, считая наиболее целесообразным создание раскольничьих анклавов в католическом окружении. На протяжении десятилетий не стихали споры о роли старообрядцев в событиях 1863 г.

Следующая социальная группа, на которую возлагались надежды правительства, – чиновничество. Практически на смертном одре Николай I получил донесение митрополита Литовского Иосифа Семашко со статистикой распределения чиновников Северо-Западного края по вероисповеданиям, которая свидетельствовала о более чем скромных достижениях царствования¹⁶. Еще менее «русских старожилов» было в Царстве Польском. Особые льготы, русификация делопроизводства, а также рост общественной активности и патриотический подъем 60-х

годов способствовали притоку чиновников на западные окраины. Представления о них, причем бытовавшие не только в польском, но и в «большом» русском обществе, отличались двойственностью. В одних интерпретациях они выступали как угнетатели Польши, верные слуги самодержавия, которыми-то впоследствии охотно укрепляло силы российской реакции, мздоимцы и кутежники. В других – это разрушители основ общественного порядка, нигилисты, революционеры. Как отмечал К.Н. Леонтьев, «не православие истинное... вливаться будет во все бреши, образуемые там и сям подкопами и таранами современной русификации нашей, а жалкие помои великороссийской либеральности... Не православие предлагает нынче великорусское „ядро“ своим пестрым иноверным окраинам, как предлагало оно татарам при Иоаннах, – а европейский прогресс самого разлагающего свойства»¹⁷. Эта трактовка имела хождение и в правительственных кругах. Однако представления о чиновниках западных окраин как отбросах русского общества, прочно утвердившиеся в литературе, грешат тенденциозностью. Уточнения требуют как количественные (определенно преувеличенные) параметры, так и качественные характеристики русского чиновничества.

Типологически близки к образу русских чиновников и также двойственны представления о выходцах из духовного сословия, выпускниках православных семинарий. Семинаристы-поповичи как потомственные носители православной традиции были признаны «особенно способными» к борьбе с латинством, защите православия и народности и в большом количестве вызывались в 60-е годы из внутренних российских губерний¹⁸. В только что умиротворенной Литве ими замещались должности преподавателей народных школ и волостных писарей, предполагавшие непосредственный контакт с социальными низами и закрытые для поляков. Это отвечало и устремлениям самих сыновей священнослужителей, значительная часть которых не желала связывать свою судьбу с духовным сословием. Огромной в их среде была тяга к высшему образованию, что также использовалось правительством в видах польской политики. С конца 1880-х годов Варшавский университет стал исключением из общего правила, получив возможность зачисления семинаристов на правах выпускников гимназий. В обстановке начавшегося в 1905 г. польского бойкота университета произошло дальнейшее облегчение условий приема, и незадолго до Первой мировой войны в Варшаве училось свыше тысячи русских студентов с семинарским прошлым¹⁹.

В первой половине XIX века правительство в целом благосклонно взирало на перспективу приобщения евреев к польской культуре и даже принятию ими католичества как способу вхождения в круг христианской цивилизации²⁰. Ситуация коренным образом изменилась в начале 60-х годов, когда была поставлена задача «произвести разрыв брат-

ства между евреями и христианами (читай: поляками. – Л.Г.)... всеми мерами»²¹. Антиеврейские гонения в царствование Александра III вызвали отток иудейского населения в пределы черты оседлости. Отмечая растущий наплыв в Царство Польское вытесненных из внутренних губерний евреев (так называемых литваков), варшавский обер-полицмейстер писал в 1892 г.: «Пришлые евреи, несмотря на свою относительную малочисленность, сохраняя усвоенные ими русские обычаи и язык, не только не поддаются ассимиляции местных евреев, но..., наоборот, скорее содействуют воздержанию здешних евреев, в особенности молодежи, от ополячения»²². Обвинение евреев в поддержке русификаторских устремлений правительства стало важной составляющей роста польского антисемитизма. Однако, приветствуя фиаско ассимиляторской концепции «поляков иудейской веры», власти были далеки от того, чтобы использовать евреев в качестве орудия обрусения.

«В погоне за идеальным „русским поселенцем“, соответствующим теории укрепления русских государственных начал»²³, имперское правительство держало в поле зрения практически все сословные группы великорусского общества и даже инациональные силы (коренное восточнославянское население западной окраины, немцы, евреи). На рубеже веков русская община в интересующем нас регионе уже не имела чисто служилого характера и обладала полной этносоциальной структурой, включавшей, по свидетельству современников, «все слои русского народа, начиная с аристократии и кончая пролетариатом»²⁴. Крайняя разборчивость имперских властей, стремившихся смоделировать своего представителя в инородческой среде «по образцу какого-нибудь протопопа одного из московских соборов»²⁵, особых плодов не принесла. Вопреки установкам Петербурга, русские переселенцы тяготели не к деревне, а к городу с его выраженными ассимиляционными механизмами.

Жизнь настоятельно требовала, чтобы усилия властей из плоскости поиска идеального носителя русского начала перемещались в плоскость упорядочения наличного потенциала. «Русская жизнь в Варшаве шла своим обычным чередом, – доносила полиция в 1898 г., – исполнял каждый член русского общества назначенную ему или избранную им роль в общественной жизни»²⁶. Оптимистически был настроен правый публицист Ф.Ф. Орлов. «В помощь администратору и интеллигентному русскому человеку, – писал он, – пятьдесят лет назад пришел простой русский человек, ярославский мужик, офеня и прасол, забравшийся на Вислу на отхожий промысел... Этот торговец... на Висле до сих пор самый преданный доброволец русского дела, самый естественный и потому особенно влиятельный его служитель и споспешник»²⁷. Попыткам всеобщего единения русских сил в рамках политических движений и обще-

ственно-культурных организаций, стремлению «дать русскому населению все средства к сплочению»²⁸ способствовало раскрепощение общественной инициативы и самодеятельности после 1905 г. Консолидации русского общества препятствовали как дефицит времени – до мировой войны оставались считанные годы, – так и разнородность его самого.

Помимо интеграционного «этнографического воздействия», привлекая на окраины русский элемент, правительство обычно одновременно стремилось разрядить напряженность в Центре. Однако, воспроизводя в миниатюре за тысячу верст от столиц «большое» общество Великобритании, оно неминуемо переносило на окраины сложный комплекс русских проблем, которые, с учетом инонационального окружения, обретали еще большую остроту. Эти проблемы становились частью имперского груза, оказавшегося непосильным для России в 1917 году.

Примечания

- ¹ Уманец Ф. М. Колонизация свободных земель России. СПб., 1884. С. 231.
- ² Неупокоев В. И. Крестьянский вопрос в Литве во второй трети XIX века. М., 1976.
- ³ Лесков Н. С. Русский демократ в Польше // Собр. соч. СПб., 1889. Т. 2. С. 116–117.
- ⁴ Подробнее см.: Горизонтов Л. Е. Помещик или мужик? Русское землевладение в стратегии решения польского вопроса // Имперский строй России в региональном измерении (XIX – начало XX века). М., 1997.
- ⁵ Федор Яковлевич Миркович. 1789–1866. СПб., 1889. С. 268; Приложения. С. 108.
- ⁶ Анучин Д. Г. Граф Федор Федорович Берг, наместник в Царстве Польском (1863–1874) // Русская старина. 1893; Kaczowski J. Donacje w Królestwie Polskim. Warszawa, 1917; Groniowski K. Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku. Warszawa, 1963.
- ⁷ Щебальский П. К. Русская область в Царстве Польском // Русский вестник. 1883. № 6. С. 510, 513.
- ⁸ Всеподданнейший отчет о произведенной в 1910 году по высочайшему повелению гофмейстером двора с. и. в. сенатором Нейдгартом ревизии правительственных и общих установлений Привислинского края и Варшавского военного округа. [СПб., 1911]. С. 110–116.
- ⁹ Цвікевич А. «Западно-руссизм». Нарысы с гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі у XIX і пачатку XX в. Менск, 1993; Станкевич А. Очерк возникновения русских поселений на Литве. Вильна, 1909; Beauvois D. Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863–1914. Sejny, 1996.
- ¹⁰ Ольшамовский Б. Г. Права по землевладению в Западном крае. СПб., 1899. С. 80.
- ¹¹ Станкевич А. Ук. соч. С. 76, 98.
- ¹² Iwaniec E. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w. Warszawa, 1977.
- ¹³ Горизонтов Л. Е. Польский вопрос и конфессиональная политика самодержавия // Католицизм в России и православие в Польше (XI–XX вв.). Варшава, 1997.
- ¹⁴ Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. М., 1966. Т. 1. С. 49.
- ¹⁵ См., напр.: Корецкий П. И. О раскольниках в Ковенской губернии // Памятная книга Ковенской губернии на 1863 год. Ковно, 1863. Отд. 2.

- ¹⁶ Записки Иосифа митрополита Литовского. СПб., 1883. Т. 2. С. 543–545.
- ¹⁷ *Леонтьев К.* Записки отшельника. М., 1992. С. 312–313.
- ¹⁸ *Корнилов И.* Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы по истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. СПб., 1901. С. 35–36; *Шолкович С.* Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России. Выпуск 2. Вильна, 1887. С. 311.
- ¹⁹ *Иванов А.Е.* Варшавский университет в конце XIX – начале XX века // Польские профессора и студенты в университетах России (XIX – начало XX в.). Варшава, 1995.
- ²⁰ *Kowalska-Glikman S.* Małżeństwa mieszane w Królestwie Polskim. Problemy asymilacji i integracji społecznej // Kwartalnik Historyczny. 1977. № 2. S. 317.
- ²¹ Переписка наместников Королевства Польского в 1861 г. Wrocław etc., 1964. С. 233.
- ²² Raporty warszawskich oberpolicmajstrów (1892–1913). Wrocław etc., 1971. S. 3–4.
- ²³ *Станкевич А.* Ук. соч. С. 46.
- ²⁴ *Bazyłow L.* Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządu Stołypina. Warszawa, 1972. S. 352.
- ²⁵ *Половцов А.А.* Ук. соч. Т. 1. С. 386.
- ²⁶ Raporty... S. 19.
- ²⁷ *Орлов Ф.Ф.* Русское дело на Висле (1795–1895). СПб., 1898. С. 14.
- ²⁸ Всеподданнейший отчет... С. 158–159.

**От «ублюдка Версальского договора»
до «братской страны соцлагеря»
(государственное искусство и идеологические стереотипы)**

Молотовская констатация – «ублюдок Версальского договора» – в очередной раз (после эпохи разделов и последующей череды польских восстаний) поясняла и утверждала давнюю имперскую идею российской и немецкой официальной историографии о неспособности поляков к собственной государственности. Она была вновь озвучена Молотовым, когда наследники Германской и Российской империй – национал-социалистическая машина Гитлера и социал-большевистская Сталина – взаимосогласованно вторглись в польские земли и по-братски их поделили, спровоцировав Вторую мировую войну.

«Братская страна социалистического лагеря» – идеологический логотип, призванный облагодетельствовать новый порядок, который был создан сталинским режимом после Ялтинского договора с западными союзниками о разделе Европы.

Два взаимоисключающие словосочетания – «ублюдок» по одному договору и «братская страна» по другому – отражают не только единственно правильные идеологические установки одной и той же партии, одного и того же государства.

Эти две взаимопротивостоящие констатации не только фиксируют идейно (об этике и говорить не приходится) беспринципную смеяемость принципов партийно-государственного руководства.

Эти два противоположных фразеологизма не только свидетельствуют об обязательной в условиях репрессивной диктатуры смене всеми подданными одной единственно верной точки зрения на противоположную единственно верную точку зрения одной и той же «направляющей силы» общества и страны.

Эти два взаимоотрицающие словосочетания, являя собой один из оксюморонов советской идеологии, в конечном итоге – языковое свидетельство того, что некогда притягательная для мира и до сих пор не изжитая Великая Идея всеобщей справедливости и общечеловеческого счастья была лишь риторически продуманной и стилистически разработанной формой, призванной скрывать подлинную суть созданной большевизмом системы. Поэтому-то традиционное для обычной (неидеологизированной) науки познание культуры и искусства, исходя только из их внутренней специфики, в случае СССР не работает, ибо призванная к жизни самим партийно-государственным режимом, намертво связанная с советским устройством сфера духовной деятельнос-

ти была производной системы управления и стиля мышления правителей. Художественное творчество воспринималось властью и использовалось ею исключительно как одно из средств социотехники. Твердо руководимое, строго контролируемое и напрямую ответственное перед партийно-государственными инстанциями, оно призвано было подтверждать, объяснять и распространять тактические задания и стратегические задачи строительства нового мира в соответствии с директивами партии и личными указаниями очередного вождя и его соратников.

Это поглощение искусства механизмом власти, трактовка творцов как «инженеров человеческих душ», а тех, кому творения предназначались, как «колесиков и винтиков», было естественным и логичным следствием общей доктрины конструирования государства, общества, культуры. Конструирования, ибо в самой доктрине не было места человечности в силу несоизмеримости связанных с ней понятий индивидуальности, совести, религии, национальной идентичности с понятиями классовой целесообразности, партийной дисциплины и личной преданности режиму. Отсюда обобществленная трактовка людей как «человеческого материала», отсюда транспонировка общественных заданий и партийно-государственных указаний в военные и строительные категории. Все это придавало доктрине форму одновременно плана строительства и плана военных операций. Ее социотехническая сущность обрела, может быть, художественно наиболее полное и афористически наиболее лаконичное воплощение в надписи на воротах первого – еще ленинского – концлагеря на Соловках: «Железной рукой загоним человечество в счастье».

Вначале такие средства и такая цель элиты власти навязывались силой отнюдь не всем художникам. Часть из них эстетически переживала экстаз озарения великой идеей осчастливления «сверху» отсталой и несознательной человеческой массы. Некоторые из них связывали с идеей социальной революции революцию в искусстве. Не признаваемые «буржуазной публикой» такие творцы и поборники художественного авангарда уверовали в то, что большевистская диктатура принесет современному искусству власть над душами людей¹.

Этот интегральный – социально-художественный – идеал реализуемой «сверху» политиками и политически ангажированными художниками утопии пленял не только в начальной стадии Великой Стройки. Он по-прежнему привлекает некоторых интеллектуалов и художников Запада, которые непосредственно не испытали на себе реальные последствия воплощения в жизнь великих идеалов.

Окончательное и полное воплощение средневекового принципа «*cuius regio eius religio*» (кто владеет страной, тот определяет религию подданных) произошло в пору стабилизации режима, которая насту-

пила после гражданской войны, ликвидации НЭПа и насильственной коллективизации. После несбывшихся планов мировой революции пришли времена пятилетних: планов строительства Великой Родины Революции. Функция искусства и задачи художников были сформулированы на Первом всесоюзном съезде советских писателей в августе 1934 г.

М. Горький: «Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель»².

А. А. Жданов: главной задачей советского писателя является обязанность «идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма»³.

Социалистический реализм был провозглашен как основополагающий творческий метод советской литературы, что было введено в Устав Союза советских писателей, где также констатировалось, что его члены – не только «стоящие на платформе Советской власти, но при этом и участвующие в социалистическом строительстве»⁴.

С трибуны съезда звучали голоса, сливающиеся в один хор. М. Горький: теперь уже все писатели «признали... большевизм единственной боевой руководящей идеей в творчестве»⁵. Л. Сейфуллина: «У нас нет аполитичной литературы»⁶. В. Иванов: «Мы – за большевистскую тенденциозность в литературе»⁷. И. Эренбург: «Мы пишем книги, чтобы помочь нашим товарищам строить страну»⁸. И притом не только собственную. С этой точки зрения знаменателен призыв А. Суркова: «Давайте не будем забывать, что не за горами то время, когда стихи со страниц толстых журналов должны будут переместиться на страницы фронтовых газет и дивизионных полевых многотиражек»⁹.

В первый период сталинского правления, после того как партия интегрировала государственную власть, были созданы так называемые «творческие союзы», которые, объединяя людей искусства по профессиям, призваны были окончательно интегрировать сферу духовной деятельности и деятельности партийной. Тогда-то программа партии обретает дубликат для художественного пользования в облике доктрины соцреализма. Наступившая после этого глобальная кодификация формы и содержания, прямое руководство духовной деятельностью, ее контроль и самоконтроль создали ситуацию, когда возникшие в таких условиях отдельные произведения могут рассматриваться как в категориях семиотически ориентированной истории культуры, искусства, литературы, так и – в равной степени – обязательной и обязующей идеологии как своего рода один текст, созданный в соответствии с методом социалистического реализма и требованиями актуального курса партии.

Таким образом в соответствии с плановыми разработками той большевистской системы, которая создается Сталиным, возникает государственное искусство. Не официальное (как это было с некоторыми

течениями литературы и искусства в царской России), а именно государственное (с точки зрения идеологической, как, впрочем, также художественно-формальной) и огосударственное (с точки зрения ее организации, характера существования и типа функционирования). Поэтому-то, если речь идет о так называемом «польском вопросе», напрасно искать в советских произведениях черты авторской индивидуальности, особенности собственных убеждений, мнений, предубеждений или симпатий (как это было до большевистского переворота)¹⁰. Каждый мотив означает не столько авторский замысел, сколько идеологическую конъюнктуру, создаваемую очередными изменениями линии партии во внутренней и внешней политике (а также некоторые «проблемы», «ослабления» и «колебания» в ее культурной политике). Довольно быстрая благодаря использованию всех возможных форм террора и духовного порабощения реализация идеалистической (ибо не укорененной исторически, социально и культурно) идеи вызвала к жизни систему, интегрирующую государство и партию. Ее программа, занимая место всех низвергнутых конфессий и принимая на себя их функции, играет роль единственной и обязательной светской религии. Благодаря этому такая всеохватывающая и совершенная в своей структуре социотехническая система предстает как современный аналог институтов государства и Церкви феодализма времен Средневековья – аналог не только усовершенствованный и осовремененный, но и более структурированный и когерентный: то, что тогда не удалось до конца провести в жизни Церкви, которая вступала в конфликт с интересами государства, теперь удалось реализовать Партии.

Учитывая такого рода системную детерминированность, бесперспективно рассматривать советскую литературу и искусство (а также их рецепцию в Стране Советов) как рассматривается европейское творчество со времен Ренессанса. Ввиду своего места и роли в системе исследование советского творчества требует исключительно целостного, интердисциплинарного подхода, как литература и искусство эпохи Средневековья¹¹. В связи с этим, чтобы понять появление у «советских мастеров культуры» самой польской темы, не говоря уже о типах ее интерпретации или особенностях художественного звучания, необходимо принимать во внимание политику отцов – основателей самого этого Нового Средневековья, равно как и их последователей в отдельных периодах, действие механизма власти в сфере социотехники и способы функционирования приводных ремней в управлении творчеством и самом решении о судьбах творцов. В этой системе координат первичным всегда было опартийненное государство, а вторичным огосударствленная художественная жизнь и сама жизнь художников (как, впрочем, и всех других подданных). В условиях такого рода статуса профессионального

и личного искусство художественно артикулировало тезисы партийно-государственной идеологии, будучи ее «эстетическим» рупором. От таланта художника зависел только художественный уровень этой «артикуляции», но и она сама была заключена в жесткие рамки как суровых проблемно-тематических требований соцреализма, так и непрерываемо определенных им же норм и канонов (еще одна аналогия с сакральным искусством Средневековья). Поэтому рассмотрение взглядов на Польшу и поляков в отдельных советских произведениях является по существу своему раскрытием действия механизма власти в сфере искусства.

Итак, принимая во внимание действие закономерностей обратной связи – через нее и от «истоков» – можно адекватно прояснить «польский вопрос». Принимать же художественные высказывания как индивидуальные воззрения отображающей их личности художника либо отражение состояния умов и типа мышления общества – значит питать иллюзию, что мы имеем дело с литературой и искусством в традиционном – с ренессансных времен сложившимся – понятием и определяемой им сущностью явлений творчества.

Вследствие этого образ Польши и поляков на протяжении истории советского искусства предстает как череда плакатно однозначных картинок, изображающих историю братского сотрудничества рабоче-крестьянских масс и передовой интеллигенции: сперва это стремление освободить польский народ от «панского ярма» в 1919–1920 гг., потом «освобождение» от тех же «панов» украинцев, белорусов и самих поляков в 1939 г., ибо «буржуазная Польша» – этот «ублюдок версальского договора» была чужой для людей труда, а поэтому ради народного счастья подлежала уничтожению. Затем пришла пора освобождения от фашистских оккупантов и несения помощи в создании «действительно демократической Польши». После этого – с момента провозглашения «Польской Народной Республики» – отношения с ней предстают в непреходящем свете величия общего дела строительства социализма и борьбы с империализмом. Эти идеологически обобщенные по отношению ко всем странам социалистического лагеря представления конкретизируются официальными торжествами по случаю визитов партийно-государственного руководства, встреч со специально отобранными общественными представителями, наконец, – в последнем периоде – организованными «поездами дружбы».

Открывать правду можно только о такой стране или строе, который ее скрывает. Отсюда вышеизложенные размышления, приводящие к выводу об ином – нежели традиционное – рассмотрении советского искусства, ином его понимании и ином к нему подходе. Это искусство не ответит на вопрос, как советские авторы или советские люди видели Польшу и поляков: вместо этого оно иллюстрирует – как по мысли

партийно-государственного руководства надлежит видеть эту страну и ее население.

Такое положение искусства в государственной системе, его запрограммированный этой системой формально-содержательный облик и установленные этой системой общественные функции предопределили общую панораму его истории: здесь все произведения составляют череду периодически изменяющихся (в зависимости от вверяемых властью заданий) стереотипов. Поэтому-то выяснение трактовки «польского вопроса» в советском искусстве требует не столько каталогизации и анализа отдельных произведений, сколько рассмотрения этих стереотипов на примере образцов наиболее характерных и художественно совершенных с точки зрения установок власти и установленных ею же канонов соцреализма.

Такой подход представляется рациональным, так как все продукты соцреалистического творчества в большем или меньшем проблемно-тематическом диапазоне, но всегда во всей идейной и аксиологической полноте были адекватны идеологии текущего момента: в противном случае они не имели бы права на существование (как, впрочем, и сами авторы – в смысле прямом и переносном). В свою очередь раскрытие стереотипов в произведении выясняет – на основе закономерностей обратной связи – актуальную политику партийно-государственных инстанций и определяемую ими направленность очередной кампании, а в ее рамках – оперативные задачи воздействия искусства на общество.

Такой подход позволяет выделить три периода в освещении «польского вопроса» в СССР.

Первый – революционно-интернациональный (или: романтически-утопический) – продолжался до конца 20-х гг., когда развеялись мечты о мировой революции. С тех времен веры в пророчества Маркса–Энгельса остался след в государственном гербе СССР: земной шар под красной звездой. В этот период большевистская идеология отбросила патриотические и национальные идеи как устаревшие и буржуазные. Они были заменены классовыми критериями, которые должны были объединять «пролетариев всех стран» в общей борьбе с враждебным капиталистическим строем. С этой точки зрения знаменательны пренебрежительные высказывания «вождя революции», который говаривал, что шлюет на Россию, что здесь только начало, с развитием же мировой революции ее центр переместится в Германию, где более развито социал-демократическое движение и где более высокая культура. Именно эту идею революционной всемирности воплощала в жизнь война СССР с Польшей в 1919–1920 гг., когда Красная Армия устремилась на Запад: через польские земли к границам Германии. «Окна РОСТА» В. Маяковского призывали к борьбе не с Польшей вообще, а с Польшей

буржуазной, что абсолютно исключало какой-либо национальный аспект. Персонажи и лексика агиток иллюстрируют именно классовый подход: люди труда тут и там имеют общий интерес и общих врагов. Врагов воплощает Пилсудский, который на плакате лижет буржуйские сапоги¹². Польское же буржуазное государство – враждебное по отношению как к СССР, так и к самому польскому народу – символизирует образ «пана» – всегда толстого и жестокого, который «грабит, обирает и насилует»¹³. В другом месте тот же польский «пан» выступает в одном ряду с российским адмиралом Врангелем. «Вот враги Советской России», – гласит надпись¹⁴. Еще в одной агитке Маяковский, изображая «пана», в очередной раз обращается к красноармейцам, подчеркивая, что именно «польские паны» являются нашими врагами, а польские рабочие – «наши братья»¹⁵. Эта однозначно классовая плакатность также характеризует позднейший (возникший после посещения Польши) стих Маяковского «Польша» (1927). Такая же лишенная антипольской (с точки зрения национальной принадлежности) – классовая суть – характерна для популярной песни Первой Конной (слова А. Суркова), где «польские паны» упоминаются рядом с казацкими атаманами, сражающимися против Советов.

По-видимому, дабы избежать националистического оттенка, придумано в этот период слово «белополяки» – понятие абсурдное по отношению к ситуации в самой Польше, но выступающее как понятный внутри Страны Советов аналог «собственных» – русских – белых врагов.

Общие интересы русского и польского народов, а также общие традиции революционной борьбы русских и поляков против царизма призван был иллюстрировать созданный в 1920 г. (разгар советско-польской войны!) фильм «За что?» (реж. Й. Перестиани), являющийся историко-политической актуализацией рассказа Л. Толстого¹⁶.

Разгром Красной Армии поляками, которые встали на защиту родины независимо от политических убеждений и классовой принадлежности, впервые заставил Ленина и его окружение осознать если не иллюзорность, то по крайней мере не исключительность классовых критериев в реальной (а не вымышленной в рамках догмы) действительности, которая уже вскоре развеяла надежды на мировую революцию. Именно это предопределило характер второго периода, который может быть охарактеризован как державно-патриотический. Под прикрытием прежнего – революционного – лексикона начато под новым, выдвинутым тогда лозунгом «строительство социализма в одной отдельно взятой стране». На смену «Интернационалу» приходит государственный гимн, в котором наряду с обновленной – теперь уже государственной – идеологией большевизма возрождаются идеи и лексика официальной идеологии Российской империи: «Союз нерушимый рес-

публик свободных сплотила навеки великая Русь». Этот период во внутренней национальной политике был отмечен беспощадной борьбой с так называемым «буржуазным национализмом», в результате которого была физически уничтожена значительная часть интеллигенции всех народов, населяющих СССР (так называемая «буржуазия», священнослужители всех конфессий и значительная часть крестьянства были физически уничтожены или депортированы в предшествующий период). Эта внутренняя борьба с «национализмом» как врагом «социализма» (а по существу – тоталитаризма, который идеологически унифицировал завоеванную большевиками многонациональную страну) отразилась также на внешней трактовке национальной проблемы. Наступала полоса агрессий, восстанавливающих СССР в границах царской империи, что привело к исключению «первого в мире государства рабочих и крестьян» (как эвфемистически нарекла свою диктатуру большевистская элита власти) из Лиги Наций, а затем вследствие совместного с фашистской Германией захвата Польши – ко Второй мировой войне.

«Польский вопрос» в атмосфере этой внутренней и внешней политики был особенно раздражительным для сталинского режима. Создавая под прикрытием революционных фраз и большевистских идеалов первого периода великодержавную идеологию, Сталин и его окружение обратились к разрушаемой ранее большевиками традиции русской государственности. Вследствие этого началась затушевка большевистского интернационализма ленинской поры. В отношении Польши это означало не только замазывание бесславных для России страниц, но и оправдание давней политики царизма. Великодержавный советский стереотип враждебности по отношению к «буржуазной Польше» начал заново воссоздавать российский великодержавный стереотип «враждебного поляка» с царских времен¹⁷. Тематическим и актуально проблемным воплощением этой тенденции стал фильм «Мечта», а историческим – «Богдан Хмельницкий».

Уже сами даты создания этих образцовых творений социалистического реализма (профессионально сделанный сценарий, умелая режиссура, талантливые актеры) знаменательны и значительны: это период агрессии и очередных разделов, свершаемых СССР после заключения тайного договора с Гитлером – от Молдавии на юге, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на Западе, части Финляндии на севере, период вхождения во Вторую мировую войну. Каждый из фильмов – художественная форма идеологического оправдания «воссоединения», «освобождения» земель, некогда принадлежащих царской империи, оправдания, обосновываемого... интернациональными идеалами первого периода революции: такое «объединение» означает исполнение извечной

мечты людей труда о свободе, справедливости и личном счастье – мечты, реализуемой благодаря рабоче-крестьянской власти в СССР.

Сценарий «Мечты», написанный Е. Габриловичем и М. Роммом, был утвержден в 1940 г. Его содержание и идейное звучание актуализировали дальнейшие (после сентября 1939 г.) события: начало Великой Отечественной войны, Катынь и последовавший уход из СССР армии Андерса, организация с помощью польских коммунистов новых воинских подразделений, теперь уже полностью контролируемых соответствующими советскими учреждениями. Фильм, создаваемый режиссером М. Роммом в тяжелых военных условиях, появился на экране в 1943 г. Последующие события, связанные с Ялтинским соглашением, созданным по советским указаниям Польским Комитетом Национального Освобождения, фальсификацией референдума 1946 г. и выборов в Законодательный сейм в 1947 г. – все эти вехи на пути создания «Народной Польши» обусловили последующую его актуализацию. Отсюда столь долгая жизнь фильма на советских экранах и его идейно-образовательная функция в отношении «польского вопроса».

Фильм, поднимая реально существующие в Польше кануна германско-советского нападения вопросы (социальные контрасты, косность мещанства национальные антагонизмы и т. п.) показывает реальные и нормальные для человека мечты о счастье, разное его понимание и разные пути к его обретению, однако характер отображения этой картины Польши и образцов поляков, методы разрешения жгучих вопросов типичны для обязательной в СССР идеологии.

Изображение жизненно и житейски подлинных проблем предстает в свете закономерностей классовой борьбы. Избавление подготавливает коммунистическое движение. Осуществление мечты о счастье связывается не с замыканием в личной жизни, а с активной общественной деятельностью, что означает борьбу с существующим в Польше строем, сокрушением основ буржуазного государства методами большевизма. Именно это разрешит все те трудности, с которыми не справлялся тогдашний санационный режим. Эта опирающаяся на образцы советского строя перспектива освещает тупик, в который загнала поляков санация, и одновременно объясняет вопрос ликвидации «ублюдка версальского договора» – ради осуществления мечтаний поляков о справедливости и счастье.

Такое восприятие польских проблем и такая схема интерпретации образов поляков¹⁸ в этом фильме обязывали в течение всего времени существования СССР. Об этом, например, достаточно исчерпывающе свидетельствует предназначенное для широких читательских масс двухтомное энциклопедическое издание «Кинословаря» (т. 1 – 1966, т. 2 – 1970). Образ Ванды передает «драму обедневшей женщины из буржуазного общества, мечтающей о семейной жизни, но обреченной на оди-

ночество, ибо в буржуазном обществе даже семейная жизнь зачастую покупается за деньги»¹⁹. В фильме появляется типаж деградировавшего польского шляхтича – образ, возобновляющий негативный стереотип поляка времен царской России, с тем что здесь – в соответствии с новой идеологической доктриной – заключенный в рамки критериев классовости. Кичливый бабник и пьяница, лгун и вертопрах – одним словом личность темная, отталкивающая и никчемная (великолепная роль М. Астангова) призвана была, согласно констатации уже упомянутого «Кинословаря», показать «уродливость общественных отношений в буржуазной Польше, порождающих такой характер»²⁰.

Ясные блики на черном фоне – рабочий-коммунист и крестьянская девушка. Его сыграл В. Соловьев, ее – Е. Кузьмина. Уже сам выбор исполнителей также предreshает характер заключенного в персонаже идеологического стереотипа и связанной с ним идейной линии. Итак, В. Соловьев «чаще всего играл роли положительных героев – революционных рабочих, командиров Советской Армии, волевых, цельных людей»²¹, а Е. Кузьмина показывала «становление характера в тяжелых испытаниях»²².

Итак, уже вследствие такого подбора исполнителей классово положительные польские персонажи – сознательный рабочий и под его влиянием постепенно обретающая классовое сознание крестьянка – должны были в восприятии советских зрителей ассоциироваться с идейно, классово и национально «своими» – знакомыми и известными киногероями: светлым образом борца за свободу и справедливость, фигурами, которые воплощали миф о солидарности «пролетариев всех стран». Итак, польско-советская граница должна была быть преодолена не только Красной Армией, но и сознанием строителей социализма, которые солидаризировались с угнетаемым трудовым народом Польши и протягивали ему братскую руку помощи.

Таким было наше общее советско-польское настоящее, а на вопрос, как должно выглядеть наше общее прошлое, отвечал фильм «Богдан Хмельницкий» (реж. Н. Савченко), который появился в 1941 г. Сценарист – многократный лауреат Сталинской премии, будущий член ЦК и председатель Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики А. Корнейчук.

Созданный в соответствии с предписаниями соцреализма сценарий актуализирует польско-украинский национальный конфликт путем противопоставления «польских панов» и украинских крестьян, благодаря чему события XVII в. обретают образ революции национально-освободительной и классовой одновременно. При этом сложные и неоднозначные украинско-русские отношения и соглашения возводятся на уровень извечной любви и братства. На фоне тогдашней реальности Стра-

ны Советов такие смещения имели также и другие функции – не менее важные для внутренней политики: 1) Затухание давних украинско-русских антипатий, усиленных антисоветскими настроениями после эксцессов гражданской войны, ликвидации большевиками государственной независимости Украины, массовых депортаций крестьянства в период коллективизации, организованном советской властью голоде в деревне начала 30-х гг., жертвами которого пали миллионы, а затем – массовыми репрессиями, которые обрушились на интеллигенцию и рабочих.

2) Направление массового недовольства в сторону «враждебного окружения СССР», которое засылало шпионов и диверсантов и из-за которого постоянно возникали «временные трудности» в строительстве социализма. «Панская Польша» была в этом списке ближайшим и, учитывая исторические конфликты, идеальным адресатом. (После Второй мировой войны в силу тех же идеологических потребностей это место заняла Западная Германия.)

3) Оправдание агрессии 1939 г. против Польши (а опосредованно – и против Румынии, стран Прибалтики и Финляндии).

Nota bene: представленный в фильме мотив Хмельницкого в большевистской интерпретации использовался на всем дальнейшем протяжении истории СССР (это еще один пример преемственности в использовании идеологического стереотипа в России царской и советской). В связи с этим вплоть до последнего периода существования СССР здесь не могла появиться первая часть «Трилогии» Г. Сенкевича, а в Народной Польше был наложен запрет на ее экранизацию.

Великая Отечественная война в очередной раз (после советско-польской и советско-финской) развеяла идеологический миф о солидарности «пролетариев всех стран», а в связи с этим – и пророческую картину их присоединения к Красной Армии, после чего должна была наступить молниеносная победа. Одновременно развеялся миф о цветущей жизни в СССР: когда началось наступление, советские солдаты воочию познали капиталистическую реальность. С этим связана очередная реакция сталинизма, депортации и аресты, которые нарастали в тылах по мере победы на фронтах²³. Именно тогда – в переломном периоде войны, когда среди союзников начал складываться план нового передела Европы, – наступает третий из выделенных выше периодов.

Характерное для II периода державно-патриотическое измерение, оставаясь для внутригосударственного пропагандистско-идеологического использования, одновременно обретает аспект «народной демократии», или «социалистического лагеря». Итак, великое и единственно верное учение Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина побеждает. Мы уже не одиноки во враждебном и бесчеловечном окружении империалистического мира. Наша крепость обрела подступы, которые будут

расширяться и дальше. Первоначальная идея мировой революции и свойственная ей лексика трансформируются в концепцию национально-освободительных движений и войн. В партийно-государственной идеологии и связанном с ней искусстве это на первоначальной стадии обрело образ стереотипа движения Сопrotивления фашистской оккупации, где главная либо исключительная роль принадлежала друзьям СССР. (Позднее – во времена «реального социализма» – это отразится на изображении борьбы с «колониализмом» и «империализмом» в так называемом Третьем мире.) Этот миф борьбы с общим врагом впервые был воплощен в фильме «Зигмунд Колосовский» (1946 г. реж. Б.М. Дмоховский и С.Ф. Навроцкий, сцен. Й.В. Луковский). Реализованный в рамках остро приключенского жанра, он представляет необыкновенные приключения и невероятные проделки журналиста Голембы (великолепная роль Дмоховского), который, переодеваясь, преобразуется в калеку, барона, прокурора, гестаповца. И каждый раз водит за нос глупых немцев, блестяще выполняя опаснейшие задания подполья. Естественно, тут, как и в первом польском послевоенном фильме «Запрещенные песенки», не было места подлинной – сложной и разнородной – картине подполья. Этому, впрочем, способствовала и принятая создателями фильма жанровая условность. Образ Сопrotивления предстает как неясно-однородный, расплывчато-гаиственный, туманно-никакой, состоящий из замечательных сподвижников великолепного героя, который, сражаясь с фашистскими оккупантами, всегда побеждает благодаря находчивости, самообладанию и смекалке. Так возник советский предшественник жанра «сказки для взрослых», которая спустя годы была воспринята кинематографом ПНР («Где генерал?», «Ставка дороже жизни», «Четыре танкиста и собака»).

Хронологически следующий стереотип возник как историческое продолжение первого, основанное на пропагандистском тезисе партийно-государственной политики о совместном созидании великого завтра. В публицистике, плакатах и праздничных призывах Польша, а точнее – уже ПНР – выступала как одна из братских стран социалистического лагеря. В условиях плотной изоляции народонаселения Страны Советов от народно-демократических собратьев – ПНР вплоть до поздней оттепели представляла как некая абстракция, представляемая наравне с другими «странами народной демократии» в обобщенных и общих категориях «братской дружбы», «братского сотрудничества», «совместных усилий» при строительстве нового мира и его защите от посягательств общего врага. Этот расплывчато воображаемый мир «идеологического единства», «добрососедской дружбы» и «братской любви» основывался также и на благодарности Стране Советов всех союзников, а в их числе и поляков, за освобождение от фашистской оккупации

и несправедливого буржуазного строя²⁴. Поэтому-то «Пепел и алмаз» Е. Анджеевского, который в ПНР был отмечен премией и вошел в школьную программу, в СССР долгое время находился под запретом, ибо не соответствовал советским стереотипам Сопротивления и советским стереотипам освобождения. Это же предопределило и то, что снискавший мировую известность фильм А. Вайды попал на советские экраны десять лет спустя после премьеры, уже после хрущевской оттепели. Именно на ее протяжении начались, хотя и в ограниченной степени, непосредственные контакты советских граждан с действительностью соцстран. Официальная пропаганда СССР начала соответственно наставлять общество относительно их неоднородной действительности и недавнем прошлом. (Так, например, если речь идет о ПНР, информация об Армии Андерса, Катыни, АК, Варшавском восстании и внутренней борьбе за установление власти коммунистов выступала в уже традиционном аспекте «измены», «провокации» и враждебности к СССР «буржуазной Польши».)

Жесткая изоляция и нивелирующе-расплывчатый образ «братских стран» в советской пропаганде сталинского периода предопределили невозможность возникновения произведений искусства о зарубежных собратьях. Только во времена оттепели, когда несколько размякли твердые идеологические предписания времен сталинизма и несколько разжались жесткие тиски обязательных нормативов «творческого метода» (который по-прежнему оставался непререкаемым), когда начали появляться произведения «шестидесятников», стремящихся к человеческому (а не идеологически-классовому) постижению действительности, ожил в искусстве и польский мотив. Его появлению способствовали и тенденция к ограничению изоляции, начинающийся период контактов с польской творческой и научной средой, командировок в Польшу на учебу, туристических поездок.

В общем движении к обновлению и очеловечиванию творчества в этих новых условиях особое место занимает драма Л. Зорина «Варшавская мелодия» (1967) – произведение лирическое, реально-бытовое, психологическое и историческое одновременно, ибо отображает человеческие судьбы и смену времени, которая наступила со сменой власти. Это повесть о русском и польке, которая училась в СССР. Их любовь и их судьбы были предрешены системой: они не могли стать мужем и женой, ибо это подданным братских стран в сталинские времена было запрещено. Спустя годы они встречаются в Варшаве, куда он приехал в служебную командировку.

Это по-своему в чем-то близкое современной ему польской «литературе расчетов» произведение одновременно является отражением преемственности традиционного для русского искусства мифического

стереотипа польки – прекрасной, остроумной, строптивой и кокетливой. Из-за такой можно потерять голову, забыть обо всем, натворить что угодно. Герой же в свою очередь воплощает традиционный автостереотип русского – добросовестный, медлительный, робкий, простодушный и прямолинейный, открытый и чувствительный. Он и она воплощают менталитет русского мужчины и польской женщины, встречу стихий России и Польши, их взаимное притяжение вопреки прошлому и наперекор современности. Все это благодаря правдоподобию ситуации и искусству диалогов обрело подлинную жизненность – психологическую, бытовую, историческую.

До сих пор это художественно наиболее удачное, правдивое и честное произведение на – в тех условиях – заранее обозначенную и «сверху спущенную» тему «дружбы народов».

В пришедших на смену оттепели временах застоя польско-советский мотив вошел в канон требований власти в отношении государственного искусства, что находилось в прямой связи с нарастающей (после восстаний в Восточном Берлине, Познани, Будапеште) пропагандистской кампании на тему «дружбы народов», которая была призвана заглушать нарастающие вплоть до конца «лагеря социализма» внутренние напряжения и кризисы. Именно в этот период особый удельный вес в рамках общих схем обретает тема «боевого содружества», реализуемая на основе мифологизируемых мотивов Второй мировой войны. Послевоенная действительность – в силу близости во времени – не подходила для достоверной мифологизации на тему дружбы.

Произведения о товарищах по оружию могут иллюстрировать также действие механизмов пропаганды и культурной политики, осуществляемое синхронно и согласованно соответствующими институтами в СССР и ПНР. Иллюстрировать также и взаимодействие двух государственных машин, социотехник, творческих союзов, управляемых партийно-государственными инстанциями, что обрело воплощение в совместных постановках.

Среди наиболее удачных произведений этого последнего периода – в разной степени основанные на подлинных материалах телесериалы «Вызываем огонь на себя» (сцен. и реж. С. Колосов, 1963)²⁵ и «Майор Вихрь» (сцен. Ю. Семенов, реж. Е. Ташков)²⁶. Наряду с несомненным профессионализмом оба сериала демонстрируют ограниченный официальной политикой братской любви образ Польши и поляков, хотя этот образ и обретает черты жизнеподобия благодаря польским исполнителям, демонстрирующим именно польские характеры, польскую речь, польскую манеру поведения.

Гимн дружбы народов в его официальной интерпретации на наших глазах трансформировался в траурный марш, сопровождающий

демонтаж «лагеря» и внутренний распад системы, основанной не на подлинных национальных ценностях, а на классовой демагогии, которая была оторвана как от действительности человеческой, общественной, исторической, так и этнической, ментальной, психологической²⁷.

Подлинный – частный, личный, сердечный, сочувствующий и понимающий – русский взгляд на Польшу, отношение русских к полякам иногда прорывались в жанрах не совсем публичных: песенке Булата Окуджавы, посвященной Агнешке Осецкой, поэзии А. Вознесенского или стихотворении В. Высоцкого, где вся эта впервые увиденная им страна ассоциируется с кровью Варшавского восстания. Эти строки могли появиться в печати спустя восемь лет после смерти автора – накануне распада империи. Наступило новое время, когда государственное искусство, снимая казенный мундир идеологии и освобождаясь от тяжести орденов за верную службу, начинает превращаться просто в искусство – без обязательного и обязывающего прилагательного. В этих условиях можно ожидать появление произведений, которые отразят подлинные представления русских о Польше. В житейской же реальности представления эти всегда были разные, как и сама Польша... как и сама Россия... как и сами русские.

Примечания

¹ Ср.: *Липатов А. В.* Авангард: искушение властью, или поэтическое катапультирование в социальную утопию // *Литературный авангард. Особенности развития.* М., 1993.

До I Съезда советских писателей типичным представителем таких устремлений был Маяковский, для которого революция – это литературная тема. Когда же со временем он осознал, к чему эта «тема» ведет в реальности – не в поэзии, – сам вынес себе приговор, как много лет спустя Фадеев.

Вообще же судьбы писателей на службе революции и их расчеты с собственной совестью – особая тема и притом тема трагичная: для многих это была смерть в лагерях, самоубийство или алкоголизм, для лишенных же таланта (и угрызений совести) – административная карьера, правительственные награды и огромные тиражи уже вскоре забытых книг.

² Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 1.

³ Там же. С. 4.

⁴ Там же. С. 717.

⁵ Там же. С. 675.

⁶ Там же. С. 236.

⁷ Там же. С. 230.

⁸ Там же. С. 184.

⁹ Там же. С. 515.

¹⁰ Польская проблема в русской словесности до 1917 г. имеет обширную научную литературу. Из новейших польских работ можно назвать: *Kępiński A.* Lach i Moskal.

- Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990; *Orłowski J.* Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Warszawa, 1992.
- 11 Я не ввожу в это определение аксиологические констатации, рассматривая его в категориях социотехники.
- 12 *Маяковский В.В.* Сочинения, т. 5. М., 1957. С. 122–128.
- 13 Там же, т. 3. М., 1957. С. 107.
- 14 Там же. С. 120.
- 15 Там же. С. 108.
- 16 В 1984 г. в подобном ключе (большевистская трактовка Первой мировой войны, идеологическая доктрина III Интернационала) будет реинтерпретирована мопассановская «Пышка» (сцен. и реж. М. Ромм) и картина франко-прусской войны.
- 17 В этот период начинаются и ограничения национальных культур, сопровождаемые массовыми репрессиями их носителей, что не могло не обойти и поляков в СССР.
- 18 А некоторые из них были блестяще сыграны Астанговым, Раневской, Пляттом.
- 19 Кинословарь, т. 1. М., 1966. С. 808.
- 20 Там же. С. 120.
- 21 Там же. Т. 2. С. 568.
- 22 Там же. Т. 1. С. 858.
- 23 Ср.: *Лунатов А.В.* Литература и факт (о войне и мире в произведениях польских и советских писателей) // *Studia Polonica.* Москва, 1992.
- 24 *Nota bene:* локальными свидетельствами такого образа «лагеря народной демократии» были издаваемые в СССР литературные произведения соцреализма и демонстрируемые на советских экранах соцреалистические фильмы, создаваемые в этих странах по советским образцам.
- 25 Этот фильм был отмечен главной премией на I Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в 1967 г. и премией Ленинского Комсомола в 1968 г.
- 26 Фильм получил премию на II Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов.
- 27 *À propos:* массовый успех польского фильма в СССР со времен оттепели был связан именно с этими, отвергаемыми официальной идеологией ценностями. «Польская киношкола» показывала человеческий (а не идеологизированный, оторванный от человеческой реальности) образ поляков и Польши.

«Советский человек» в польской соцреалистической поэзии

Трудно сказать, какие стереотипы России (и Советского Союза) преобладали в польском общественном сознании сразу после войны. Несомненно, продолжали существовать представления о послереволюционной России как о «Большевии», которой управляют комиссары в черных кожаных куртках. Несомненно также, что в определенной среде сохранился довоенный культ Советского Союза как отчизны победившего пролетариата. Но война, конечно, спутала эти представления. Многие тысячи поляков получили горькую возможность познакомиться с советскими тюрьмами и лагерями, но для многих из них служба в I Армии Войска Польского проложила путь наверх по общественной лестнице. Ходили слухи, что советские солдаты насилюют женщин и отбирают часы, что было правдой, но правдой было и то, что встречали их, как освободителей.

В первые послевоенные годы цензура запрещала любые критические или даже просто оценочные высказывания на тему русских и Советского Союза. С другой стороны, по-видимому, власти в то время вовсе не стремились насаждать позитивный образ Советского Союза и русских, поскольку все начинания подобного рода указывали бы на их вассальную зависимость от Москвы. «Нежная революция» должна была выглядеть как польских рук дело, а интеллектуальный «Лагерь больших реформ» пытался укоренить в интеллигентском сознании традиции польского Просвещения и позитивизма, ссылаясь на них, как на главный источник своих концепций.

Положение радикально изменилось в 1949 году, когда наступало время польского сталинизма. Очевидным образцом его был советский сталинизм, который в качестве первоочередной задачи подсказывал необходимость перевоспитания общества, в том числе утверждения восторженного отношения к советским достижениям и примерам, привития навыков любви и уважения к советскому человеку. После войны употреблялись два определения: довоенное «советский» (*sowiecki*) и новое «радзецкий» (*radziecki*)*. Даже официальный орган Польской рабочей партии ежемесячник «Новэ дроги» использовал поначалу довоенное определение. Но с конца 1948 года оно было заменено на «радзецкий», замена эта произошла одновременно во всех средствах массовой информации. По-польски эта форма

* В переводе на русский язык это различие теряется. Оба определения переводятся как «советский».

звучала комично, но тем не менее она в обязательном порядке употреблялась до конца существования ПНР.

С подобной поспешностью и отсутствием здравого смысла была начата кампания по распространению любви к СССР и «советским людям». Литература при этом была лишь частицей огромной пропагандистской кампании. В новых школьных программах тема Советского Союза вводилась повсюду, где только можно было ее всунуть. При изучении польского языка, например, требовалось показать «борьбу народов Советского Союза за социалистические формы производства в промышленности и сельском хозяйстве <...>, замечательные достижения Советского Союза в экономике и культурной жизни как пример и образец для нашего народа в деле строительства социализма <...>, рост могущества Советского Союза, победителя фашизма и оплота мира, страны, победоносная армия которой принесла нам свободу, а правительство которой – экономическую помощь в труднейший период нашей жизни». Публиковалось множество информационно-пропагандистских материалов, поставляемых советскими информационными агентствами. По первой программе Польского радио шли ежедневные передачи «Из жизни Советского Союза», которые готовились, если не ошибаюсь, в Москве. В кинотеатрах преобладали советские фильмы, полки книжных магазинов были завалены переводами советских романов, а в газетных киосках красовался великолепно издаваемый и очень дешевый журнал «Край Рад». В этом потоке пропагандистского энтузиазма местные поэтические изделия были лишь ручейком, впадавшим в полноводную реку. Но они имели весьма важное значение – они создавали впечатление, что выражают убеждения идейного авангарда польского общества. По этой причине они заслуживают внимания.

При их рассмотрении я оставляю в стороне стихотворения и поэмы, посвященные Ленину, Сталину, Дзержинскому, Мархлевскому, ибо они не служили непосредственно формированию образа Советского Союза, в них просто доминировала тема любимого вождя.

Характерной чертой всей компании начала 50-х годов, направленной на пропаганду польско-советской дружбы, было то, что она никак не была связана с уже имевшимися представлениями о России и Советском Союзе, о которых я упомянул в начале статьи, с историческими антипатиями и политическими предубеждениями. Были предприняты попытки привить позитивные стереотипы общественному сознанию, рассматриваемому как чистый лист, на котором можно писать все, что угодно. В то же время в пропаганде, а также и в литературе осуществлялась переоценка польской истории. Переоценка эта в принципе не нарушала кодекса польских патриотических ценностей и исторических ассоциаций. Замалчивалось выступление легионов Пилсудского, без

устали утверждалось, что только Октябрьская революция принесла Польше независимость, но никто не отрицал, однако, что идея независимости была важнейшей в деятельности нескольких поколений поляков на протяжении полутора веков. Литература, поставившая своей целью утверждение польско-советской дружбы, исходила из совсем иной перспективы. В ней вообще не затрагивалась тема истории России – за исключением Октябрьской революции, которая патетически, а стало быть, довольно абстрактно представлялась как поворотное событие в мировой истории – и истории польско-русских отношений, т. е. войн, царского империализма, разделов Польши. Память о прошлом мешала построению современной идиллии, поэтому она просто устранялась.

Стоит обратить внимание на то, что к тем немногим элементам культурной традиции, которые старались использовать при создании культа Советского Союза (традиции, впрочем, достаточно узкой и весьма интеллектуальной), принадлежал мотив *ex oriente lux*. Мотив этот интерпретировался своеобразно: «свет струится из Кремля», «свет от Москвы», «звезда, что не гаснет над Кремлем», «звезда над Москвой» «Сталинградская звезда». Почти у каждого поэта повторялись подобные формулы, призванные сблизить читателя с новой верой. Звезда была, правда, красной, но разве не могла она ассоциироваться с вифлеемской звездой?

А в целом доминировала произвольность концептов. Часто они не свидетельствовали о здравом уме, чувстве реальности и заботе о читателе, которому приедались похожие друг на друга, шаблонные образы. Например, из стихотворения А. Слуцкого «Скорбная элегия на смерть Андрея Жданова» мы можем узнать, что «над Сеной безработный муж зарыдал, читая жене газету (с известием о смерти Жданова)». Отсутствие чувства меры, чрезмерное усердие – свидетельство того, что советская тематика трактовалась поэтами как ритуальная и они легко позволяли себе условные подходы в ее разработке.

Два человечества

Политическое мышление эпохи сталинизма было пронизано дихотомией. Существовала только одна правда, а вне ее простиралась разнообразная неправда – будь то осознанная ложь или жалкое заблуждение. Неправда эта, впрочем, постоянно отступала перед неуправляемым натиском марксистско-ленинской правды. Добро и зло были окончательно разделены: все то, что служит добру, то есть социализму, становилось автоматически добрым, а то, что служит злу, не может быть добрым, независимо от намерения. Подобная дихотомия разделяет весь земной шар и все человечество. В перспективе, нарисованной соцреалистической поэзией, существуют два человечества: освобожденное и

скованное классовыми противоречиями, то, что проживает на большой территории от Эльбы до Камчатки, и другое, подчиненное империалистической системе. Для этой поэзии несущественны национальные отличия: она говорит не столько о польско-советском или польско-болгарском братстве, сколько о стирающей культурные и языковые различия общности, которая объединяет все народы социалистического мира. Вместе, плечом к плечу они творят новую историю, свободную от войн, эксплуатации, нищеты, унижения. У них общие цели и общие достижения.

Рисуя портреты людей, принадлежащих этой общности, соцреалистическая поэзия не сосредотачивается на гражданах «Страны Советов». Гораздо более выразительны в ней представители других стран, например, «добрых немцев», жителей ГДР, часто названных по имени либо фамилии. Поэзия в этом случае, как и вся тогдашняя пропаганда, оказалась перед трудной задачей: сохранить антинемецкий пафос и в то же время пробудить доброжелательность к новым союзникам за западной границей. У немецких персонажей в поэтических произведениях нет никакого фашистского и военного прошлого, они – наши друзья, потому что вместе с нами строят социализм.

«Советские люди» – менее выразительны, анонимны, схематичны. Схематизм этот выглядит намеренным. Создаются клише, которые легко запоминаются и которые легко тиражировать. Поэт пишет:

Друг ближайший, товарищ
из страны терпеливых садовников,
смелых солдат, колхозников.

(Т. Кубяк. Песенка к берлинскому съезду.
Из кн.: «Среди людей», 1952 г.)

В перечислении отсутствует какая-либо логика. Другой поэт поступает подобным образом:

Земля, земля мира,
урожаев, прозрачных рек,
турбин, шумящих каналов,
рабочих и трактористов

(А. Слуцкий. Песнь о дружбе.
Из кн.: «Встречи», 1952 г.)

Все это, так сказать, друзья по разнарядке. Они важны не потому, что поэт с ними лично связан, а потому, что представляют передовую «Страну Советов». Они лишены индивидуальности, зато у них есть общая черта, определяющая их судьбу: они граждане счастливого мира, мира всеобщего благоденствия, в котором нет места сомнениям и отчаянию, а труд служит высшим целям добра. Сами по себе они значат немного, но они выражают новое измерение человеческой

судьбы, которое введено социализмом. Идиллические изображения советского пейзажа принимают иногда сказочную окраску: красота, целеустремленность, изобилие столь необыкновенны, что кажется — мы приблизились к осуществлению извечной человеческой мечты.

Окружила меня сибирская степь

.....
Через посадки низких яблонь
в сад сказочный, где перемешались
разные климаты <...>,
где стелется рассвет меж яблонь,
румяная, ядреная садовница
как фея проводила нас.

(М. Яструн. Окружила меня сибирская степь...
Из кн.: «Краски земли», 1951 г.)

В этой картине наслаиваются друг на друга два ряда значений. Первый из них навеян укорененной в культуре традицией: женщина как фея в цветущем саду. Второй обращен к советским реалиям: фея — агроном, ядреная женщина, выращивающая новые сорта яблонь. Очевидно, что героиня — работница колхоза или совхоза и является продолжательницей опытов Мичурина, о котором тогда много писали. Но труд ее вымыслен, она создает нечто из ничего. В бесплодной степи расцветает сад — важно, что именно сад с яблонями, а не, например, огород с овощами, и важно, что в саду «перемешались разные климаты», ибо таким образом эта «сказка» начинает ассоциироваться с библейским раем.

Прославление работы, творческого труда было весьма частым в соцреалистической поэтической продукции. Особенно характерными были картины, представляющие великие стройки или достижения в сельском хозяйстве — появилось несколько десятков произведений на эти темы. Разумеется, они лишь иллюстрировали программу «преобразования природы», которой так гордилось советское государство. Но обилие подобных произведений говорит о том, что эта программа действительно действовала на воображение поэтов, которые видели в ней нечто большее, нежели хозяйственное мероприятие огромного масштаба. Поэтические образы подчеркивали идейный смысл этих гигантских преобразований: советский человек бросает вызов природе, перестает отныне быть пленником ее законов, формирует ее в соответствии со своими потребностями. Природа должна подчиниться человеческой воле. Иногда при этом писали не о воле людей или «народа», а о воле Сталина, которая «засевает тундру пшеницей, насаждает леса в степях, закладывает сады» (А. Важик).

Творение «народа» или самого Сталина делает человека счастливым хозяином мира.

По воле и планам Партии
 вода вливается в пески
 и Сталинская Эра
 меняет век Аму-Дарьи.

Молодые заплещут здесь воды,
 урожайными станут пески
 и скоро старые народы
 войдут в благоуханные сады...

(Ст. Выгодский. Реки днем утекают.
 Из кн.: «Холмы», 1952 г.)

Природа в коммунистическом мире уже завоевана, покорена. Поэтому для большинства поэтических образов этого тематического круга характерно использование отдаленной перспективы, позволяющей охватить широкое пространство и показать запечатленную в нем хозяйственную экспансию человека:

Глянь – <...>
 Девушка на тракторе в пшеничном поле,
 С песнями с работы возвращаются колхозники,
 С природой и человеком в сердечной дружбе;
 Глянь – на север отправляется флотилия,
 На юг – экспедиция в степи –
 Это сталинский человек побеждает пустыню,
 Покоряет болота, засеивает пустоши!

(Л. Левин. Поэма о Дзержинском, 1951 г.)

Идея «покорения природы» была в основе коммунистической пылкости прежде всего Яструна, в стихах которого звучала вера в то, что этот большой советский эксперимент изменит всю существующую философию человека, ибо делает его владыкой тайн материи и жизни, позволяет ему переступить элементарные границы его существования. Таким образом рядовые и скромные «советские люди», вроде упомянутой выше «агрономши», изображались как авангард побеждающего природу человечества.

Наряду с этим в польской соцреалистической поэзии существовал и другой образ человечества, также дихотомически раздвоенный, но с другой точки зрения. Раздвоенный на человечество угнетенное и человечество, борющееся с угнетением. Границы между ними рисовались по-разному: по фронтам проходивших тогда войн и внутри общества. Русские в этом случае не могли быть на авансцене, это место занимали китайский солдат, кореец, французская коммунистка, преграждавшая своим телом путь эшелону с военным снаряжением, бунтующий негр в Америке. Но все же эти образы были взаимосвязаны. Ударные стройки и достижения мира социализма изображались как

интегральная часть борьбы пролетариата и угнетенных народов за свое освобождение, а успехи Советского Союза как стимул для этой борьбы, как указатель пути в будущее. Поэтому:

Донецкий шахтер, работая в шахте,
защищает вьетнамских братьев

(Л. Пастернак. Измененный мир.
Из кн.: «Поэтический лист», 1950 г.)

В такой перспективе пример Советского Союза вновь становился пригодным. Энергию для труда и борьбы должна была пробуждать память об Октябрьской революции, вызвавшей к жизни героический эпос человека новой эпохи.

Как большевики сделай стальными
сердце,
мысли,
слова.

(Ст. Выгодский. Первомайская кантата.
Из кн.: «Холмы», 1952 г.)

– призывал поэт. А другой вторил ему:

Из драгоценного слитка Октября
строится стальной дом.

(Х. Гаворский. Песни о будущем веке.
Из кн.: «Ритм сердца», 1953 г.)

Еще один поэт устами своего героя, выступающего на собрании рабочих, выразил свое преклонение перед подвигом «советских людей»:

Большевики
подняли немало тяжестей, комсомольцы
трудились до изнеможения,
пока первая пятилетка не воплотилась
в бетон дорог,
кирпич городов,
сталь марتنенов.

(В. Ворошильский. Профессия.
Из кн.: «Три поэмы», 1952 г.)

Я не считаю, что процитированные выше поэты верили в агитационную действенность своих красивых слов. Думаю, что их подлинный замысел был совсем другим. Они представляли тогда наиболее молодое литературное поколение, которое кичилось своей революционной принципиальностью. Они хорошо знали, что слово «большевик» вызывает в Польше негативные ассоциации, которые утвердились перед войной, и именно поэтому демонстративно стремились придать ему позитивный смысл, связать его с проявлением героизма

и воли, а кроме того ввести его в контекст будничных дел. Они прославляли большевиков и комсомольцев с той же целью, как в других стихах работников госбезопасности.

Понятия «Октябрь» или «большевик» в этом случае лишались какого-либо конкретного содержания, становились понятиями символическими с яркой эмоциональной окраской. Поэт, призывавший читателей «как большевики» перековать свои души либо уговаривавший «горного Ящичина» подойти к производственным обязательствам «по-большевицки» (В. Вирпша), создавал крайне плоский стереотип «большевика», который отличается лишь «смелостью и решительностью».

Собственно говоря, даже неясно, имеем ли мы здесь дело со стереотипом или, скорее, с попыткой создания новых языковых клише, призванных обслуживать публичные и торжественные выступления. Такие клише социалистической отчизне в то время были очень нужны.

Солдат с красной звездой

Многочисленными в польской соцреалистической поэзии были стихотворения и поэмы, посвященные войне, боям Первой армии, фронтовой польско-советской дружбе. Вполне понятна тональность уважения и благодарности, в которой создавались произведения о солдатах с красной звездой на шлеме. Любопытно, что крайне редки случаи, когда внушалось, что эти солдаты принесли не только свободу, но и социализм. Мне кажется даже, что этот вопрос сознательно опускался, а если и упоминался, то крайне осторожно, поскольку это никак не служило утверждению симпатий к Красной Армии. Подчеркивались скорее такие общепризнанные положительные солдатские качества, как отвага, самопожертвование, героизм. Шимборская создала цикл портретов рядовых героев Сталинграда. Писали о саперах, которые разминировали Варшаву. Вообще говоря, поэты старались, как правило, представить простых людей, совершающих героические поступки, но считающих их обыкновенным выполнением своего долга. Многократно повторялся мотив солдата, который пришел в Польшу откуда-то издалека – из-за Урала, с Кавказа –

И где-то под польской сосной
или белой цветущей акацией
пал, прижимая к сердцу
свой партийный билет

(А. Слущкий. Баллада о солдате.
Из кн.: «Утро», 1958 г.)

Речь шла о неизвестном солдате. К исключениям относится поэма Галчиньского «Сильвестр Марош», рисующая портрет героя, расска-

зывающая о его жизни и военной судьбе. Преобладала же тенденция изображения анонимных персонажей, иногда экзотических представителей солдатской массы, которых трудно идентифицировать:

Игорь, Петр и Василий,
Дмитрий, Саша, Алексей!
Вы высоко, над тучей сизой,
Как в январе на передовой
взвились сегодня – с берегов Оби,
Волги или Дона – птицы Востока.

(*Я.М. Гизгес. На передовой.*

Из кн.: «Ближайшая сердцу», 1955 г.)

Хотя подобных стихов много, нет смысла подробно их рассматривать. Они писались несомненно с благородной целью, но в своей массе являются своеобразной поэтической галантереей, серийным производством. В них без конца повторяются описания солдатских поступков, которые, думается, являются вполне очевидными и вполне традиционными. Но если бы тогдашним французским поэтам пришлось в голову воспеть в стихах своих американских освободителей, то, скорее всего, результат был бы такой же. По-видимому, в этой тематической сфере мало что можно изобрести.

Стоит зато обратить внимание на разные подходы в изображении Красной Армии и советского солдата. При описании Красной Армии в целом обязательным был возвышенный тон, присущий всей пропаганде, – это армия непобедимая, героическая, к тому же армия – защитница.

Ты пришла к нам в эпическом шлеме
Снежная Ника от стен Сталинграда –

(*Е. Загурский. Сталинградская Ника.*

Из кн.: «Мужская песнь», 1954 г.)

Другой поэт написал еще более патетично:

Я не погиб, я тысячу раз встану,
Я армией мира оберегаю землю
Я должен сломать руку, занесенную для удара,
и защитить кормящих матерей.

(*С. Выгодский. Памятник
советскому солдату в Берлине.*

Из кн.: «Холмы», 1952 г.)

Образы советских солдат – если оставить в стороне их изображение непосредственно на поле боя – созданы в совсем иной, можно сказать, деревенской стилистике. Может показаться, что в этом случае ожил миф доброго славянина – кроткого, спокойного, дружелюбного миру.

Примечательно, что два этих разных подхода соседствуют в такой строфе:

О, великая, какую же ты выказала силу.

Даже в дни поражений в тебе жила надежда на творческую жизнь – и вот в нескольких стадиях от боя со смертью, в ручья тени вечерней спокойно засыпал танкист, как бродячий косец.

(С. Пентак. Красной Армии.

Из кн.: «Имя будущего», 1951 г.)

Похожая картина и у Яструна:

Стоял бесформенный танк. Украдкой

В перерыве между пушечными выстрелами

Танкист читал том Гете

Используя лист клена как закладку.

(М. Яструн. Рассказ о первых днях.

Из кн.: «Год урожая», 1950 г.)

Солдат, временно свободный от битвы, сразу же становится самим собой – бродячим косяком или юношей, читающим под кленом книгу. Черты естественной доброты, наивной, стихийной чувствительности лучше других удалось запечатлеть Ружевичу в стихотворении о солдате, который после лет сражений взволнованно стоит над детской колыбелью. Это стихотворение, пожалуй, наиболее оригинальное из всех, посвященных красноармейцам; в его концовке солдат воспринимается глазами ребенка:

Такой черный и грозный

и страшный

и прославленный герой

так дрожит листочек ивы

так волнуется огромный солдат

советский

палевый

лев.

(Т. Ружевич. О малютке.

Из кн.: «Идущее время», 1950 г.)

Я начал цитатой из Яструна, в которой появилась ядреная, румяная агрономша, и заканчиваю стихотворением Ружевича, потому что их стихотворения относятся к тем немногочисленным текстам, в которых сделана попытка связать образ героя с утвердившимися, хотя и достаточно примитивными, представлениями о русских.

Трудно ответить на вопрос воспроизводила ли польская поэзия о «советском человеке» клише, распространяемые советской пропагандой, или же в стихотворениях содержались черты этого человека, оп-

ределяемые польской точкой зрения. А также на вопрос, как отразился в этой поэзии собственный опыт поэтов. Советская пропаганда на них безусловно воздействовала, если не непосредственно, то хотя бы через польскую пропаганду, которая подражала советской. Возможно, что здесь не было ничего оригинального, и задача поэтов сводилась исключительно к тому, чтобы облечь в польские языковые одежды заимствованные образцы. Что же касается второго вопроса, то при всей интенсивности, с которой провозглашалась польско-советская дружба, нельзя сказать, чтобы польские писатели были особенно заинтересованы Советским Союзом. В издаваемых тогда поэтических книгах есть множество стихотворений о Болгарии – писатели, как привилегированная каста, могли ездить в Болгарию на отдых. И наоборот, очень немного стихотворений о Советском Союзе, говорящих о том, что они возникли из непосредственных впечатлений и наблюдений. Более того, даже многим из тех поэтов, которые, как мы точно знаем, бывали в СССР, удалось остаться в рамках распространенных клише. Не была ли в таком случае эта поэзия братства прежде всего своего рода обязательным упражнением?

Я не думаю, чтобы настойчиво внедряемые образы «советского человека» (имея в виду не только поэзию, но и всю направленную на это широкую кампанию) проникали в общественное сознание. Они воздействовали разве что на подвергавшуюся тотальной идеологизации школьную молодежь, которая, однако, быстро забывала о них, особенно, когда по радио звучали французские песенки, а в кино появились американские фильмы. Образцы эти были слишком схематичны, слишком далеки от реального жизненного контекста. С другой стороны, Советский Союз был слишком близко и был слишком грозен, а будущее было неясным. После 1956 г. образы советских колхозников, передовиков, мичуринцев не имели уже никакой притягательной силы. Хотя по-прежнему живым оставался – прежде всего в польском фильме 60-х – начале 70-х гг. – образ советского солдата – простого, доброго и героического. Но поляки хорошо помнили венгерский октябрь и затем чехословацкий август, и потому зрители воспринимали этот образ как условный и сказочный.

«Расширение речи» (Иосиф Бродский и Польша)

Прежде всего, мне кажется необходимым сказать несколько слов о названии темы.

В первой его части использовано измененное выражение самого Бродского. В эссе, посвященном Уистану Одну («Поклониться тени», 1983), он говорит, что «путешествия», которые совершает поэт «по странам, пещерам души, доктринам, верам»¹, нужны ему для расширения собственной речи. В не меньшей степени это относится к путешествиям по культурам, которые совершают сначала переводчики – и в первую очередь переводчики поэзии, а затем читатели, ибо расширение собственной речи происходит для человека в процессе чтения, когда, по словам Мераба Мамардашвили, совершается борьба «с готовыми значениями языка»².

Формула «расширение речи» – в контексте других высказываний Бродского о языке – принципиально значима и для него самого, и для поэзии в целом. Если происходит расширение речи поэта, то происходит расширение поэтического языка вообще.

Вторая часть названия – Бродский и Польша – касается вопроса о значении польской поэзии, польской литературы – и того имиджа Польши, который сложился в русском культурном сознании для формирования поэтического языка молодого Бродского, а через него – проблемы присутствия этого польского «гена» в языке русской поэзии.

Трудность заключается в том, что отсутствует обычный арсенал источников: нет пока откомментированного полного свода текстов, переписки, не собраны или не написаны возможные воспоминания и т.д. Необходимы сведения о личных контактах, о круге чтения, об отношении к польскому языку, о впечатлениях, связанных с польской культурой и историей вообще, наконец, более полные, чем мы имеем сейчас, сведения о переводах. И тем не менее, на некоторые вопросы можно попытаться ответить уже теперь.

«Нам требовалось окно в Европу, и польский язык такое окно открыл»³. Эти слова Бродского удивительным образом похожи на высказывание русского публициста Ф. Батюшкова: Польша для России всегда оказывалась «преддверием к европейской культуре».

В этом смысле культурные прививки – в виде, прежде всего, переводов с польского – это реальная форма культурного взаимодействия или культурного диалога, конечный смысл которого, очевидно, именно в *расширении речи* его участников до степени *взаимопонимания*.

И полономания 60-х гг. сыграла роль таких размыкающих замкнутое пространство советской официальной культуры и «готовых значений» ее языка.

Молодой Бродский, главной чертой которого – по воспоминаниям знавших его – была фантастическая восприимчивость, не мог оказаться вне этого эмоционального и культурного опыта. Впрочем, он и сам, спустя десятилетия, сказал об этом так: «Польша была поэтикой моего поколения»⁴. И если самое общее определение поэтики – система средств выражения, то формула Бродского – свидетельство того, что романтизированный образ Польши – через ее культуру, прежде всего – давал поколению Бродского (и ему самому) образцы средств выражения собственного расширяющегося психологического и гражданского опыта.

В конце 50-х гг. Бродский, подобно многим тогда, самостоятельно выучил польский язык. Именно по-польски он впервые прочитал Пруста, Джойса, Фолкнера, не говоря уже о польских писателях. Свою роль сыграл и журнал «Пшекруй» – его Бродский читал в ссылке на Севере; и это, по его словам, было для него «большой поддержкой»⁵.

Интерес же к Польше возник у него рано и был очень серьезным. В ранних его стихах угадываются – слышатся, а иногда и просматриваются в образах – психологические, эмоциональные, зрительные отпечатки впечатлений – реминисценции, прямо или опосредованно связанные с польскими реалиями. Они безусловно зазвучали для него особым образом именно через язык (стихи), через польский кинематограф, через тот имидж Польши, который все это формировало в сознании русской интеллигенции. «Влюбленность в чужую культуру, в чужой мир особенно обостряется, если знаешь, что своими собственными глазами ты их никогда не увидишь»⁶, – сказал позже Бродский об этом. Тогда он не надеялся увидеть даже Польшу.

Достаточно назвать хотя бы его «Песенку» (1960) с ее концовкой, или романтический «цикл о всадниках» (1962), стихотворение «Пограничной водой наливается куст» (1962), «Песенку о свободе» (1965), чтобы ощутить в их интонации, в напряжении чувства эту влюбленность, привившую его поэтике польский «ген». Аллюзии – психологически очень действенный и оперативный язык восприятия. И в стихах раннего Бродского польская символика понималась сразу, заражая читателей особой энергетикой переживания и давая ей языковую форму.

Я остановлюсь немного подробнее на переводах Бродского с польского.

Обычно, говоря о переводческой деятельности Бродского, сосредоточивают внимание на его переводах англоязычных поэтов и существовании его самого в пространстве английского языка.

Но переводческая деятельность Бродского началась со славянских поэтов. «Переводить я начал для заработка. Сперва взялся за братьев-славян – чехов и поляков, потом двинулся дальше на Запад...»⁷. Кстати, в материалах процесса над Бродским он не раз называется поэтом и

переводчиком с польского. По словам же исследователя его творчества Виктора Куллэ, количество его переводов с польского сопоставимо только с переводами с английского.

Таким образом, до сформировавшегося и оказавшегося всепоглощающим интереса Бродского к *англоязычной* поэзии был этап его очень сильного интереса к поэзии *польской* и интенсивной работы над переводами с польского. И в феномене англо-русского писателя, каким Бродский вошел в мировую литературу – феномене столь же лингвистическом, сколь психологическом – нельзя не учитывать этот сильный польский ген, ибо польская поэзия в ранний период – вне всяких сомнений – сыграла для самого Бродского «формообразующую роль»⁸.

Все высказывания Бродского о поэзии и переводе связаны с глубоко и очень лично пережитой им идеей взаимосвязи лингвистического и психологического контакта поэта и – шире – человека с миром. И если для Бродского *лингвистическое* превосходство поэта есть его *психологическое* превосходство, то перевод, оперативно расширяя лингвистические возможности поэзии, расширяет одновременно границы формируемого ею психологического языка. Неслучайно в том же эссе об Одене Бродский говорит о «расширении души» как конечном смысле поэзии.

В свой ранний период – до отъезда из СССР – Бродский переводил Норвида, Вата, Кубяка, Стаффа, Херберта, Харасымовича, Рымкевича, Галчиньского, в Америке – еще и Милоша⁹.

Даже если помнить, что начал он переводить «для заработка», то выбор этих имен, надо думать, не был навязан только обстоятельствами. «Что диктует переводчику выбор той или иной вещи для перевода с иностранного языка, это наличие соответствующих средств в собственной речи»¹⁰, – писал Бродский позже. И следуя этой логике, можно сказать: наличие средств в собственной поэтической речи – это наличие в собственном опыте эквивалентных состояний и переживаний (или готовности к ним), сложно корреспондирующих с психологическим сюжетом переводимого стихотворения.

Личный душевный опыт и выразительные средства, «озвучивающие» его, дают возможность передать в переводе эквивалент «метафизических свойств», заложенных в психологическом сюжете переводимого стихотворения, и обнаружить некое единство метафизических усилий разных поэтических языков. (В сущности, по механизму это очень близко к тому, как осуществляется – и до какой степени возможно – понимание между людьми – слышание другого на глубине его душевного самостояния.)

Говоря об особенностях переводов Бродского, я позволю себе воспользоваться выражением Вяч.Вс. Иванова, который в статье о Бродском приводит случаи, как он это называет, «откровенной и явной отсебятины»¹¹ в его переводах с английского. Не вкладывая никакого

уничжительного смысла в это слово, он пользуется скорее его чистым смыслом – то, что *от себя*...

Попробую систематизировать подобную «отсебятину» в польских переводах Бродского.

Она неизбежна в любом переводе. Сам Бродский как-то сказал, что «перевод суть поиски эквивалента, а не суррогата. Он требует стилистической, если не психологической конгениальности»¹².

«Отсебятина» всегда объясняется возможностью–невозможностью, на границе которых балансирует переводчик, на *своем* языке передать *чужое* «тремоло» (этим словом Бродский обозначал звучание стиха, т.е. тот интонационный, ритмический, звуковой строй, который на психо-физическом уровне обеспечивает максимальную адекватность звучания чужой «прочувствованной мысли»).

Характер «отсебятин» в ранних польских переводах Бродского, самый ее вектор чаще всего направлен в сторону – «додумать» и «дочувствовать» мысль оригинала. Как писал Вяч.Вс. Иванов, в таких случаях обнаруживается «мощь той сферы подсознательного, которая, по словам Пастернака, у гения безгранична»¹³.

Есть известная типология этих «додумываний» в переводах Бродского, говорящая о свойственном ему характере погружения в стихию чужих языков («Там, где они кончились, ты начинаешь...»). Внутри чужого текста – на уровне поэтики – для Бродского осуществляется личный диалог с переводимым поэтом. И это всегда диалог стихий поэтических языков, дающий в переводе сплав *чужого*, ставшего своим, и *своего*, отдаваемого чужому.

Вот некоторые приемы такого внутритекстового диалога. Стремление сделать образ, имеющийся в оригинале, более выпуклым и аллюзийно более «говорящим» для своего языка. Такие примеры есть в переводах из Стаффа, Херберта, Рымкевича, где при этом соблюдается достаточно большая «подстрочная» адекватность.

Есть случаи даже своего рода рефлексии внутри чужого текста. Так, название стихотворения Рымкевича «*Na śmierć nieznanego obywatela*», Бродский переводит как «На смерть неизвестного обывателя». Вне русского контекста тех лет эта замена – «гражданина» на «обывателя» – не очень понятна. Там же слова из «Интернационала» он заменяет собственным аллюзийным микросюжетом:

Не запоем на собрании
Песню, которую любит...

а включенную в стихи цитату из Маяковского «Единица – вздор» дополняет ироническим комментарием:

Правильно.

В переводах из Стаффа он свободно нарушает свойственную оригиналу парность смысловых конструкций, снимая интонационное и смысловое напряжение внутри каждого такого сочетания, более соответствующей собственному слуху гармонией случайностей. И здесь, возможно, не обошлось, кроме опыта литературы, без влияния музыки (если помнить, что знакомство поколения Бродского в 60-е гг. с новой музыкой шло и через проникавшие в СССР записи Пендеревского).

При переводе «Ряски» Стаффа

...И весь день я думал
о жизни. Потом о смерти.
О Сократе. О римском
Форуме. И о башне
Эйфелевой. О бессмертье
души. Потом о пшенице.
О мамонтах и пирамидах –

Бродский рискнул применить прием перечисления, характерный для собственного слуха.

Есть случаи, когда нарушения синтаксических конструкций ведут в переводах к изменению ритма (например, в стихотворении Стаффа «Речь»). «Разночтения» такого рода Бродский объяснял несовпадением дыхания поэтов. Но, возможно, это еще и поправки на дыхание времени.

Есть целый ряд и других «несовпадений».

Так, строка в оригинале «Ряски» Стаффа «*Mędrzec spokojny / O czole myślą rozciętym*» переводится Бродским:

...какой-то спокойный
мудрец с изборожденным
проблемами лбом.

В «Дожде» Херберта слова « *mówił dużo*» Бродский переводит как «он подолгу болтал», а «*Napoleon go nie lubi*» как «не ладил с Наполеоном», внося оттенок снижения значимости.

Среди ранних переводов с польского надо выделить переводы из Галчиньского (кстати, в одном из писем в защиту Бродского он назван именно «переводчиком Галчиньского»).

Поэзия Галчиньского, действительно, на раннем этапе была очень важна для Бродского. Кто-то из писавших о Бродском назвал этот период «романтическим», и некоторое романтическое «тремоло» осталось в его интонации, стиле, вибрации голоса до конца. По воспоминаниям, Бродский часто читал на поэтических вечерах «Заговоренные дрожки» и «Песню о знамени».

Среди других ранних переводов с польского переводы Галчиньского – передающие напряжение, ритм, мелодию оригинала – действительно

можно считать наиболее удачными. Хотя доля «отсебятины», связанной с особенностями поэтики самого Бродского, есть и здесь.

Так обстоит дело с обилием прилагательных, свойственным молодому Бродскому. Парадокс в том, что несмотря на его собственные слова, правда, сказанные позже («Помню один <...> важный совет – я и сейчас готов его повторить любому пишущему: если хочешь, чтобы стихотворение работало, избегай прилагательных и отдавай решительное предпочтение существительным, даже в ущерб глаголам»¹⁴), именно прилагательные определяют мелодику его собственного стиха.

Эта особенность поэтики Бродского – приверженность к прилагательным – сохраняется и в переводах Галчиньского. Так, в переводе стихотворения «В лесничестве» в полтора раза больше прилагательных, чем в оригинале, и тем не менее, это действительно поэтический эквивалент оригинала.

То же можно сказать и о переводе «Песни о знамени», которая, может быть, поэтому приобретает в переводе Бродского более ровный, даже замедленный ритм. По той же причине, видимо, меняется в переводе соотношение «опорных» для стихотворения Галчиньского определений («szalona», «biało-czerwona», «biała», «śnieżna», «czerwona») и «фоновых».

В переводе «Аннинских ночей» Бродский использует характерную для него самого в этот период трехударную форму четырехстопного ямба, звучащую легко и замедленно – по сравнению с более изломанным ритмом оригинала. Этому ритму Бродский подчиняет все добавления и изменения, в том числе подчеркивающее его увеличение числа прилагательных (особенно характерны две последние строфы). Кстати, такое же изменение ритма (благодаря добавлению деепричастий) характерно для перевода стихотворений Стаффа «Толстой» и Херберта «Дождь».

Несколько слов о характере «расширения» образа в переводах Галчиньского.

В переводе «Песни о знамени» Бродским добавлена аллюзия с песней «Czerwone maki Monte-Cassino»:

Кроваво-красные маки
Из польской крови возрастают.

«Цветущие маки», как мы помним, фигурируют и в концовке его собственной «Песенки»:

Помнят только вершины
да цветущие маки,
что на Монте-Кассино
это были поляки.

Вообще именно переводы Галчиньского – по сравнению с оригиналами и по сравнению с другими переводами, о которых я упомина-

ла, – наименее «подстрочны» и наиболее «перестроены». Эквивалентность достигается здесь не дословностью, а психологической, семантико-звуковой близостью.

Так, при переводе «Заговоренных дрожек», с их характерным для Галчиньского сочетанием реалий Кракова и вымысла, возникает другой «набор» ночных вывесок, но ритм, самая эта смесь реальности и абсурда ночной жизни, ощущение фантазмагории жизни вообще – сохраняется. Этот феномен – абсурд реальности – в 60-е годы активно психологически обживался культурным сознанием в СССР, и Галчиньский через переводы, в частности, Бродского, сыграл свою роль. Цитаты из «Заговоренных дрожек» и «Лошади в театре» (как позже цитаты из Булгакова) были одно время кодовыми в определенных кругах интеллигенции:

В антракте конь овладел словами «аспект» и
«концепция»
и сыпал ими на все стороны, производя
колоссальный эффект:
игогогоконцепция, игогого аспект.
Конь говорил. Публика ловила его слова.
Потом прибежал фотограф. Кинооператор накрутил
две ленты.
А в финале программы на сцене была намалевана
травка.
Конь вскочил. И травку съел. И сорвал
аплодисменты.

Свободно пользуется Бродский и расширением образа, добавляя в переводе детали и даже строки. Вместо одной строки оригинала «I wielkim bezkresnym wachlarzem» он дает в переводе три:

И опахалом безграничным,
Украшенным узором птичьим,
узором, отлетевшим прочь...

Добавленные строки вырастают из всего строя стихотворения с повторяющимися «wiatr», «na zachód lecaą ptaki» и т. д. И возникающая в результате звуковая, смысловая, зрительная «каденция» воспринимается совершенно органично – как дочувствованная на своем языке мысль.

«Заговоренные дрожки» – длинное стихотворение, построенное по законам сюиты, и, возможно, для Бродского это был в какой-то степени психологически и лингвистически возможный и близкий образец искомой им формы длинного стихотворения, его организации.

Разговорные интонации, возникающие у Галчиньского, наверняка стали импульсом к аналогичным формам расширения собственной речи.

В творчестве Бродского можно встретить и отзвуки переводившихся им «Непричесанных мыслей» Ежи Леца, очевидно, близкого ему по самому складу иронии – ощущению ситуационного и словесного комизма и даже абсурда. Переводы эти менее известны, но они не случайны для Бродского. А афоризм «Следы многих преступлений ведут в будущее» обыгрывается в концовке стихотворения Бродского «Восславим приход весны!».

По мнению В. Куллэ, не без влияния Леца сформировалось и родство Бродского с Ч. Милошем, которого он считал одним из величайших современных поэтов мира. Дело даже не в этой оценке, а именно в близости: метафизика Милоша вне всяких сомнений питала и стимулировала «прочувствование» собственных метафизических смыслов, открывавшихся Бродскому уже вне России.

Но это особая тема, чрезвычайно важная для понимания и самого Бродского, и феномена «расширения речи» вообще. Скажу лишь, что внутренняя переключка «Элегии для Н.Н.» Милоша и стихов Бродского из сборников «Часть речи» и «Уrania», или стихотворения Милоша «Дитя Европы» и стихотворения «Назидание» Бродского несомненна.

Бродский, как видно по переводам, свободно «отдавал» Милошу выработанные им интонационные оттенки, свой собственный словарь. Милош же давал ему уроки другой наполненности эмоциональных универсалий.

«Пусть ты не открыл новый способ видения, но если ты сумел облечь это в слова, то обретаешь некую новую свободу выражения», – говорил Бродский¹⁵. Если чуть-чуть изменить акценты – «Пусть не ты открыл новый способ видения...» и т. д., то это и есть то, чего Бродский достиг в переводах Милоша.

В переводе так или иначе всегда выстраивается психологическая модель переживания, возможного, вероятностного по отношению к переживанию, выраженному на языке оригинала.

В душевном опыте другого, в чужом психологическом контексте рождается предощущение своего пути и своих новых возможностей, т. е. происходит расширение чувственного опыта и построения модели нового, обогащенного переживания. Это и есть феномен «расширения души», которое неотделимо от «расширения речи» поэта-переводчика. Так совершается расширение поэтического и психологического языка, и в итоге чужое становится сначала узнаваемым, а затем более или менее тождественным своему опыту; и, наконец, вос-

принимается как универсальный, общечеловеческий опыт «предчувствования мысли».

Это именно психологический диалог, высшая форма общения – на уровне параллельности и пересечения переживаний «видения экзистенциальных вариантов». Для уточнения собственной мысли я воспользуюсь словами Мераба Мамардашвили, сказавшего в своих «Лекциях о Прусте», что по-настоящему чтение – не просто «занятие рядом с жизнью, но психологические события самой души» и читать книгу – на самом деле «читать в себе»¹⁶. Высшей же формой такого чтения вполне можно считать перевод.

Еще в СССР Бродский переводил Норвида. Из переведенных им стихов сейчас известны два – «В альбом» (Из фантазии «За кулисами») и «Песнь Тиртея». Они были сделаны для книги, вышедшей уже после высылки Бродского, и напечатаны под именем Владимира Корнилова (таким образом была возможность заплатить гонорар родителям Бродского).

Норвид несомненно повлиял на Бродского – в том же плане – «видения экзистенциальных вариантов». Когда Бродский переводил Норвида, он еще не знал, что понятия пространства, времени, одиночества, власти слова обретут для него вскоре совершенно новый смысл. Каким-то непостижимым образом Норвид оказался для его собственного психологического опыта как бы опережающим: сначала было чужое слово, которым было выражено опережающее собственный опыт переживание, затем это слово как бы «притянуло» личный опыт, давший новые – свои – слова. И в этом сложнейшем сплаве, который представляет собой язык зрелого Бродского, присутствие импульса, полученного от Норвида, несомненно.

Кстати, в переводах Норвида для самого Бродского на первый план вышел уже не звук, как было у Галчиньского, а именно само слово, семантика сцепления слов, жестко и точно формулирующих «метафизическое усилие» стихотворения.

Очевидно, именно переводы из Норвида – после Галчиньского – были ступенькой к его последующему диалогу с поэзией Милоша.

Эти отдельные наблюдения и предварительные догадки требуют подтверждения сплошным стилистическим анализом переводов, польских оригиналов и собственных стихов Бродского.

Но пока что можно утверждать, что в переводах с польского – в частности, через их кажущиеся неточности – Бродский практически осуществляет сформулированную им конечную цель поэзии – «расширение речи». И через язык самого Бродского «польский ген» несомненно расширил возможности психологического языка современной русской поэзии.

Примечания

- 1 Звезда, 1997, № 1. С. 20.
- 2 Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995.
- 3 Цит. по: Милош Ч. Гигантское здание странной архитектуры // Литературное обозрение. 1996. № 3. С. 24.
- 4 Дравич А. «Я просто люблю литературу». Беседу вела Т. Бек // Вопросы литературы. 1997, № 2. С. 229.
- 5 Интервью с Иосифом Бродским Людмилы Болотовой и Ядвиги Шимака-Рейфера для польского еженедельника «Пшекруй» // Звезда. 1997. № 1. С. 99.
- 6 Интервью с Иосифом Бродским Свена Биркертса // Звезда. 1997. № 1. С. 83.
- 7 Там же.
- 8 Куллэ Виктор. Перенос греческого портика на широту тундры // Литературное обозрение. 1996. № 3. С. 8.
- 9 При работе использовалась библиография переводов Бродского с польского, составленная В. Куллэ // И. Бродский. «Бог сохраняет все». М., 1992. С. 295–297.
Мы из XX века. М., 1965 (Кубяк Т. «Плывущие Вислой». С. 151–152; Харасымович Е. «Партизаны». С. 257–258).
Современная польская поэзия. М., 1971 (Стафф Л. «Ряска», «Мать», «Речь», «Толстой». С. 23–25; Харасымович Е. «Геометрия», «Партизаны», «Зимний день», «В октябре». С. 171–173; Рыжкевич Я.М. «Физик», «На смерть неизвестного обывателя». С. 189–190).
«Континент». № 8 (1976). С. 7–11 («Польские поэты в переводах Иосифа Бродского»: Ват А. «Быть мышью»; Херберт Зб. «Дождь»).
- 10 Бродский И. Бог сохраняет все. М., 1992 (Милош Ч. «Элегия Н.Н.», «Стенанья дам минувших дней», «Посвящение к сборнику „Спасенье“», «Дитя Европы», «По ту сторону», «Счастливец»; Норвид Ц.К. «В альбом», «Песнь Тиртея»; Галчинский К.И. «Анинские ночи», «Заговоренные дрожки», «Маленькие кинозалы», «Конь в театре», «В лесничестве», «Песня о знамени»).
- 10 Интервью с Иосифом Бродским Свена Биркертса // Звезда. 1997. № 1. С. 83.
- 11 Иванов В.В. Бродский и метафизическая поэзия // Звезда. 1997. № 1. С. 197.
- 12 Бродский И. Сын цивилизации // Бродский И. Набережная неисцелимых. М., 1992. С. 43–44.
- 13 Иванов В.В. Бродский и метафизическая поэзия // Звезда. 1997. № 1. С. 197.
- 14 Интервью с Иосифом Бродским Свена Биркертса // Звезда. 1997. № 1. С. 85.
- 15 Там же. С. 87.
- 16 Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995.

Игорь Неверли и проблематика польско-русских стереотипов

Нет, пожалуй, в польской прозе XX в. писателя, который в своем стремлении разрушить схематизм негативных представлений поляков о России и русских пошел бы дальше Игоря Неверли. Эта «пространственная» метафора как нельзя более кстати – борьба Неверли с ограниченностью польско-русских стереотипов была именно процессом. Тема, возникшая в первой книге о «русском докторе» («Парень из Сальских степей»), достигает своего рода кульминации в последнем романе, где речь идет о Сибири и ссыльных («Сопка голубого сна»). В этой таинственной книге читателя ошеломляет замороженность сибирскими таежными просторами, восхищение тесно связанным с природой образом жизни русских сибиряков. Поражает и ракурс, в котором изображены судьбы польских героев романа – нередко именно в ссылке, а не в своей несчастной отчизне, они получают возможность реализоваться. Так, например, один из персонажей романа – Нарцисс Войцеховский, сосланный после январского восстания 1863 г., – адаптировался и разбогател в Сибири настолько, что смог перевезти к себе родителей, обеспечив им спокойную, достойную старость. Главный герой книги Бронислав Найдаровский – деятель социалистического движения рубежа веков, ставший жертвой провокации, узник Акатуя, приговоренный к пожизненной ссылке, – объясняет свою прежнюю неприязнь к русским воспитанием в традиционном (то есть антирусском) духе. Антипольский же стереотип, согласно которому в каждом из нас видят спесивого и легкомысленного «полячишку», затевающего очередное восстание, олицетворяет в романе персонаж эпизодический – человек исключительно неприятный, которого, впрочем, как только он обнаруживает свое предубеждение по отношению к польскому гостю, выпроваживают из дома его же соотечественники.

В особом свете видится «сибирский» роман Неверли, если учесть время его написания. 1981–1984 гг. – годы военного положения в Польше, о котором говорили, что оно было навязано народу польскими подразделениями Варшавского пакта – то есть, понятно, кем. Опубликована книга была в 1986 г. – в самом начале перестройки.

Понимание пути, приведшего Неверли к «Сопке голубого сна», может в немалой степени прояснить не только формирование, но и возможные способы преодоления польско-русских стереотипов. Путь этот, без сомнения, обусловлен не только биографией писателя, хотя, конечно и она сыграла немаловажную роль. Мало кто может, подобно Неверли, сказать о себе, что родился на пограничье народов и культур,

вер и языков, эпох и политических систем. Его мать происходила из чешско-английской семьи, отец был российским офицером. Сам же Неверли воспитывался в доме своего чешского деда – главного царского ловчего в польской Беловежской пуще, населенной в основном белорусами. Ребенком, ему довелось близко видеть в усадьбе белостокского лесничества последнего царя и наследника трона царевича Алексея. Перебравшись во время войны в глубь России, молодой Неверли участвовал в обеих революциях 1917 г., был комсомольским активистом, узником ЧК и, наконец, беженцем.

В Польше он оказался, пытаясь избежать вывоза в трудовой лагерь на Белом море. Именно тогда, общаясь с полонизированными родственниками матери, двадцатилетний уже Неверли выучил по-настоящему язык, на котором – спустя еще четверть века – он начнет писать свои замечательные романы.

Эти биографические обстоятельства нельзя не учитывать, поскольку они самым очевидным образом отражены в произведениях писателя. Для его прозы это элемент более устойчивый, чем стили, поэтики и идеи, через которые прошло творчество Неверли в течение сорока лет. Легко заметить, какую роль играет в нем тип человека, испытавшего влияние нескольких культур – т. е. человека «пограничья». Такие герои появляются во всех романах Неверли (порой даже безо всякого основания – как, например, Кичкайлло в «Парне из Сальских степей» или Перехубка в «Дневнике с фабрики „Целлюлоза“»^{*}) и рассказах-репортажах о путешествиях на байдарке (сборники «Архипелаг возвращенных людей», «За Опивардой, за седьмой рекой»). За таким «пограничным» человеком для автора всегда стоит потенциально интересная литературная тема, от которой он с сожалением отказывается.

В романах с ярко выраженным героем всегда возникает проблема двойной культурной инициации, двойного опыта – главным образом, связанного с Польшей и Россией. Русским был, как известно, доктор Вова из «Парня из Сальских степей», которому автор приписывает великолепное знание польского языка, литературы, даже народных песен (что – как выясняется позже – не вполне согласуется с прототипом этого персонажа). Щенскому – герою эпопеи о деятеле рабочего движения – Неверли просто «уступает» фрагмент своей российской биографии. И герой книги «Живые связи» Януш Корчак, сыгравший в жизни Неверли огромную роль, и, наконец, сам повествователь в автобиографической повести «Осталось от пира богов» – также люди двойной культурной инициации.

В романах, посвященных той или иной общественной группе, автор обращает внимание на различия внутри этих миров. «Архипелаг

* В русском переводе «Под фригийской звездой».

возвращенных людей» рассказывает о послевоенных Мазурах – интернациональном «тигле», в котором оказываются местные жители (прошлое которых нередко связано с немецкой армией), оставшиеся немцы и переселенцы с кресов. «Лесное море», действие которого происходит в маньчжурской тайге, повествует о поляках, китайцах, русских, причем писатель показывает внутренние различия каждой из этих национальных групп. Например, среди русских мы встречаем белых и красных, сбежавшего из лагеря заключенного и революционного агитатора, посланного на советско-китайскую границу с особой миссией. В «Сопке голубого сна», кроме ссыльных – польских и русских, политических и уголовных – появляются местные русские жители, буряты, евреи (причем в романе немало смешанных браков).

В произведениях Неверли составные элементы подобных конгломератов взаимно освещают, демистифицируют друг друга, выявляя опасную ограниченность стереотипного мышления. В рамках одной биографии опыт переживания различных культур рождает рефлексию – как, например, в первой книге Неверли о «русском докторе»: «Я только что отложил «Резню в Праге» – страшное описание бесчинств разъяренной екатерининской солдатни, и думал о том, что в Иськины годы мне приходилось читать не менее волнующие рассказы о том, как поляки правили в Кремле во времена Самозванца и Мнишек... Как же сильны старые счеты и слепое предубеждение, если, переходя из поколения в поколение, они уже с детских лет отравляли душу, служа преградой для содружества двух наших народов!» (110–111). Встреча людей с разным, часто противоположным культурно-историческим опытом приводит к диалогу о роли национальных стереотипов в размышлениях о собственной жизни. В последнем романе примером могут служить разговоры Найдаровского с Верой – «ляха» с «москвитянкой» (406).

Следует подчеркнуть, что ориентация Неверли на разрушение стереотипов не ограничивалась анализом лишь польско-русских взаимных представлений – она касалась всякой предвзятости, схематизма по отношению к любой общественной или национальной группе. В том числе – традиционно возвышенного автостереотипа поляка. Так, ложным символом представлялась писателю усадьба – ставшее традиционным историко-архитектурное олицетворение «польскости». В одной из повестей он с наслаждением начинает описание усадебных построек именно с коровника, конюшни, хлева, овина и амбара. «А между ними и помещечьим домом компостная куча в два этажа, жуткое навозохранилище – вызывающее и как-то не по-польски обнаженное, ибо в польской усадьбе должны быть липы и клумбы, чистая эстетика, чтобы и в голову не пришло, что на свете существует такая вещь, как навоз» (151). В «Кастелянше» – одном из своих лучших рассказов, повествующем о городской

уличной девчонке, которая, переодевшись барышней из помещичьего дома, ловко водит всех за нос, – Неверли показывает, как несложно манипулировать этим польским автостереотипом, используя его в своих целях. Подобную функцию выполняют польские патриотические легенды и культ героев. «Он невольно задрожал, потрясенный тем, что его соотечественники как бы требовали от него геройской смерти в рядах китайских партизан, – читаем мы в «Лесном море», – ...они из эгоистических побуждений поспешили его убить и похоронить. Похоронили со славой, с благодарностью и утешительной мыслью, что и одного героя, пожалуй, хватит...» (197).

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что связанное с происхождением и воспитанием Неверли стремление к синтезу культур было в то же время глубоко продумано и философски обосновано. Рефлексия помогала писателю отстаивать собственную позицию – позицию человека «пограничья»... Огромную роль в придании индивидуальному опыту масштаба универсальности сыграла встреча писателя с Янушем Корчаком – великим педагогом, воплотившем свои идеалы в созданном им еврейском детском доме и развивавшем их в публицистике и повестях для подростков.

С Янушем Корчаком Неверли сотрудничал до войны более десятка лет. Среди еврейских детей он был весьма популярен как воспитатель и столяр-любитель. «Малы пшеглонд» – журнал еврейской молодежи, редактором которого он стал, – достиг под его руководством тиража в несколько тысяч экземпляров и оказывал незаменимую помощь в самовоспитании молодежи, в том числе в сближении ее с польской культурой. Это стало для Неверли подтверждением того, что национальные, религиозные и общественные барьеры могут быть преодолены и – что еще важнее – он, со своим жизненным опытом, способен помочь в этом другим. Кроме того, встреча с Янушем Корчаком открыла для Неверли источник, питавший философию Корчака. В наследии Станислава Бжозовского и его духовных единомышленников рубежа веков – так называемых польских культураллистов (Эдварда Абрамовского, Людвика Кшивицкого, Яна Владислава Давида, Вацлава Налковского и др.) – писатель нашел опору и для собственных духовных и интеллектуальных исканий. В одном из рассказов, посвященных оккупации («Auf Wiedersehen Tschlowiek»), он вкладывает эту мысль в уста бывшей воспитанницы. Ее слова словно бы противопоставлены вызванному войной крушению веры в человека: «Они не искали решения загадки бытия в метафизических исследованиях, хотя некоторым из них не чужды были мистические переживания. Они не занимались и политической деятельностью, хотя многие симпатизировали социалистам... не создали школы или программы, скорее это было течение. Единственное, как мне кажется, польское обще-

ственное течение, в своем интеллектуальном и нравственном беспокойстве вырвавшееся за рамки внутренних польских проблем. Конечно, в том, что касалось освобождения отчизны и решения социальных вопросов, мы шли в русле времени, но шли рядом, а не в шеренге – индивидуалисты, слишком ценившие собственную независимость, слишком долго боровшиеся за освобождение собственного сознания от балласта ложных «священных» идей, навязываемых человеку извне. В годы моей молодости громко звучал призыв Бжозовского: где бы ты ни был, встань и твори! Только интенсивная духовная жизнь делает нас людьми...» (304).

Не случайно «русский доктор» из первой книги Неверли в поисках чтения более приятного, чем «Резня в Праге», останавливается на «Пламени» Бжозовского. Во многом именно благодаря ему Неверли стал рассматривать польско-русские стереотипы в ряду прочих «ложных „священных“ идей». В рамках общей проблематики истории и культуры XX века этот вопрос приобрел, таким образом, универсальное, общечеловеческое измерение. Наиболее важной, однако, остается для писателя личность Корчака. Не только потому, что Неверли близко с ним сотрудничал, но и потому, что именно в его пути он увидел героический вариант активной творческой позиции, видевшейся польскими «культуралистами» выходом из тупика XX века. В книге, посвященной Корчаку, на опасности, которые таит в себе наше столетие, указывает имя Густава Ле Бона – автора нашумевшей книги «Психология толпы», одним из первых предложившего концепцию XX в. как эпохи массовых движений, бунта масс, коллективного психоза. Говорит об этом и имя Фридриха Ницше, олицетворяющего для читателя проблематику индивидуализма, философии жизни, относительности ценностей и морали. Фигура Корчака становится для Неверли одним из возможных ответов на вызов XX столетия – причем, ответом, характерным именно для нашей части Европы, подвергшейся гораздо более тяжелым политическим и общественным испытаниям, чем Европа западная. (Другие варианты такого ответа прозаик связывает с именами польского писателя Личиньского и известных русских деятелей Каляева и Савинкова.) В интерпретации Неверли позиция Корчака согласует индивидуализм с потребностью работать в целях освобождения самого многочисленного и угнетенного пролетариата на свете – детей. Свою индивидуальность воспитатель реализует, пробуждая личность воспитанника, – особенно же в этом нуждаются сироты. С точки зрения интересующего нас вопроса, существенно, что именно это общественное сиротство, возможность его преодоления вопреки общественным, национальным, религиозным границам – путем самовоспитания, эмансипации личности, обретения равновесия в мире – оказываются для Корчака мерой оценки времен, людей и идей. Такова позиция и самого Неверли. Вопрос разрушения разделяющих народы барьеров и

стереотипов он рассматривает в рамках более широкой проблемы – проблемы преодоления сиротства, ставшего в XX в. определяющим фактором человеческого бытия.

К перечисленным выше постоянным чертам героев Неверли можно добавить еще одну, быть может, самую важную: исходная точка их романного бытия – сиротство. Парень из Сальских степей – маленький беглец, один из многочисленных послереволюционных «беспризорников». За время военного изгнания в глубь России герой «Дневника с фабрики „Целлюлоза“» Щенский теряет мать – отец же его сам нуждается в руководстве и защите. «Архипелаг возвращенных людей» посвящен прежде всего осиротевшим во время Второй мировой войны детям, которых детский дом на возвращенных территориях Восточной Пруссии должен вернуть к нормальной жизни. С убийства родителей (в первые дни Второй мировой войны) выпускника Харбинской польской гимназии Виктора Доманевского, поляка, «говорящего по-русски, но чувствующего и мыслящего, как китаец», начинается «Лесное море». О том, что Корчак был полусиротой, Неверли пишет в книге «Живые связи», а о подобном факте своей судьбы – в автобиографической повести о прошедших в России детстве и юношестве «Осталось от пира богов». Потеряв сначала одного из родителей, после раннего ухода из дома становится круглым сиротой персонаж «Сопки голубого сна» – член боевой организации, ссыльный Найдаровский, к двадцати пяти годам отбывший Акатуйскую каторгу и только теперь начинающий самостоятельную жизнь.

Неверли создает своего рода мрачную портретную галерею сирот истории. Это подтверждает то, что Неверли сознательно избрал тему сиротства – столь характерную черту XX века. Попытка же случайных жертв великих исторических процессов преодолеть свое сиротство (путем преждевременного взросления, возвращения на родину, обретения новой родины, дома, близкого человека, собственного места в жизни) оказывается и проверкой человечности нашей эпохи, и испытанием для самих героев. Автор, подобно опытному воспитателю, не оставляет своих персонажей полностью незащитными: он наделяет их чертами Робинзона, позволяющими этим жертвам кораблекрушений XX в. попытаться построить жизнь заново. Обращает на себя внимание тот факт, что почти у всех них, кроме прочих достоинств, еще и удивительно умелые руки – они способны превратиться в охотника или ремесленника-самоучку, смастерить стол или построить дом (мотив этот возникает практически в каждом романе писателя). Все это, несомненно, связано с личностью самого автора: Неверли был страстным охотником, несмотря на то, что у него не было одной ноги, много плавал на байдарке, кроме того, среди польских писателей это один из трех талантливых столяров.

Тема преодоления сиротства – связанного со стремлением к национальной, религиозной, культурной, языковой, духовной самоидентификации – претерпела в прозе Неверли знаменательную эволюцию. Поначалу пространством адаптации, обретения чувства родства с миром была история. Оптимистичная, несмотря на все ужасы концлагеря, перспектива победы над фашизмом в совместной борьбе помогает героям «Парня из Сальский степей» преодолеть взаимные предубеждения и укрепить дружеские польско-русские связи – будь то в лагере или в партизанских отрядах. Светлая историческая перспектива благоприятным образом влияет на судьбу Щенского в «Дневнике с фабрики „Целлюлоза“». Герой становится сознательным коммунистическим деятелем, от неприятия навязанного извне коммунизма приходя к глубокому убеждению в его интернациональном, по существу, характере. Об этой эволюции свидетельствует отъезд героя в Испанию, где идет гражданская война. С верой в построение нового общества, в котором будут преодолены и исконные, и недавно возникшие этнические, религиозные, политические конфликты, написаны рассказы Неверли о послевоенных Мазурах...

Конечно, историко-философский оптимизм, основанный на ощущении неизбежности преодоления трагического наследия войны и подкрепленный официальной идеологией, не мог быть вечным. У Неверли он иссяк после предания гласности сталинских преступлений. Писатель обратился к этой теме в романе, написанном в 1954–1958 гг. («Лесное море»), но его попытку лишила смысла цензура, целиком изъяв соответствующую главу и оставив лишь неясные упоминания о лагерях. В то время Неверли еще не исключал, что коммунизм может принести пользу в Китае или странах третьего мира. Однако своих польских героев, соприкоснувшихся с этими проблемами на китайской границе, он подобной веры лишает уже полностью – их поддерживает, в лучшем случае, лишь невеселое чувство долга. Одновременно в этом романе отразилось стремление Неверли освободиться от груза истории, идей, великих исторических перспектив – стремление как-то иначе ощутить связь с миром и людьми, обрести новое жизненное измерение. Интернациональная группа политических беженцев и беглецов, борцов и авантюристов, о которой шла речь выше, брошена на произвол судьбы. Автор позволяет им в прямом смысле слова заблудиться в «лесном море» маньчжурской тайги и попробовать начать жить заново – так, как будто и не было на свете ни войны, ни надвигавшейся революции, ни серьезной политической игры между Россией, Японией и Китаем. Приходится учиться охотиться и торговать, дрессировать собаку, готовиться к зимовке, ставить дом – и «не какую-нибудь фанзу или лесную избушку, а... дом – единственный в радиусе ста километров». Постройка дома

особенно сближает всех, в том числе бывших и будущих противников, по существу – Европу и Азию. «Возможно, мы стоим за кулисами истории» (421), – мечтательно рассуждает один из «случайных обитателей» тайги. Стремление автора выстроить некое внеисторическое бытие подчеркивает проведенная им параллель между соприкасающимися судьбами группы людей и семейства тигров.

После написания «Лесного моря» Неверли, очевидно, постоянно искушала идея показать, как преодолевают историческое сиротство и как относятся друг к другу люди, вырванные из традиционной ментальности, брошенные в мир элементарных потребностей и элементарных конфликтов. Такая ситуация требует мобилизации всех человеческих сил, и бессмысленным оказывается какое бы то ни было культивирование различий. Писатель не ищет более решения в историческом контексте. В двух своих подчеркнуто документальных, наиболее точно передающих исторические реалии повестях (о Корчаке и о самом себе), Неверли стремится проникнуть в самое существо начала XX века – столетия, которое, подойдя к концу, так и не открыло перед человечеством ясной перспективы. Тоска по миру, свободному от террора истории, выразилась в рассказах, посвященных путешествиям на байдарке (сборник «За Опивардой, за седьмой рекой»). На воде история отсутствует – она «осталась на берегу», – так написал Неверли в одной из новелл. Диалог с природой во время этих странствий дает возможность найти общий язык даже с немецким офицером, помогающим провезти контрабанду. В этих рассказах описаны путешествия за несколько десятков лет. Собранные под одной обложкой, они создают ощущение «вне-временности» или «все-временности», где возможны самые неправдоподобные встречи, а человек вновь превращается в Робинзона, обретающего своего Пятницу.

Наиболее совершенным воплощением мечты о внеисторической идиллии стала «Сопка голубого сна» – последняя книга писателя, с которой мы и начали свои рассуждения. Поразительный образ ссылки и ссылных в этом романе объясняется тем, что Сибирь раскрывается здесь в контексте иной, не-польской истории. Она показана через скитания и общение с ее природой, напоминающей дорогую Неверли Беложевскую пушу. Знаменательно, что герой романа окунается в мир тайги с таким же упоением, с каким сам автор отдавался своим эскападам. В последнем городе на пути к месту поселения герой запасается, ножом (какие Неверли любил дарить случайным помощникам во время плаваний) и конфетами для сибирских детей (подобно автору, покупавшему их для встречавшихся в путешествиях польских деревенских детей). Дальнейшая сибирская карьера Найдаровского похожа на биографию предприимчивого первопроходца на Аляске или в канадских лесах. Он

обзаводится собакой и охотничьим оружием, встречает опытного наставника, женщину, попадает в круг очень разных людей (описанный нами выше), строит дом, переживает большую любовь, заводит семью, прививает яблони, приручает зверей, находит золото, обретает, наконец, счастье. Найдаровский не замкнут на самом себе: знаниями и имуществом он делится с другими, а кроме того – деталь очень значимая для Неверли – подбирает и воспитывает осиротевшего ребенка. Мечта о самореализованности не выглядит при этом вульгарной идиллией. В мире романа немало жестокости. Его идилличность заключается в том, что человек от начала до конца – хозяин своих поступков: он создает себя сам, существуя в свободном от исторических законов мире – мире элементарных ценностей.

Позиция повествователя оправдана двумя обстоятельствами. Прежде всего, временем действия. Период, о котором пишет Неверли, считается золотым в истории Сибири как «крупнейшей тюрьмы мира». Были идеи колонизировать ее по образцу американского «дикого запада» – и развитие предпринимательства нашло отражение в романе. Самое важное, однако, то, что речь идет о времени перед Первой мировой войной, в разных литературах и по отношению к самым разным территориям описываемом как идиллия. Неверли также считал, что именно Первая мировая война положила начало зловещему XX в. Писатель несомненно осознает, как недолговечна эта «ниша» – ей не устоять под напором войн и революций. Из «Биографической справки о дальнейшей судьбе семьи Найдаровских» мы узнаем, что в 1923 г. она, нажив огромное состояние (правда, в царских рублях), возвращается в Польшу. Здесь ее тут же подхватывает роковое течение польской истории, счастливым избавлением от которого оказалась сибирская ссылка. Героя вновь называют провокатором, антипатию вызывает его русская жена, несмотря на польское происхождение по линии одной из бабок, в интернате кадетского корпуса практически арестован его приемный сын, свидания с которым запрещены до реабилитации, возникают трудности с работой. Когда же, наконец, благодаря счастливому стечению обстоятельств, все удастся выяснить, начинается война, и Найдаровский погибает. Вдова не в силах жить без него, а сын гибнет во время Варшавского восстания.

Ностальгический образ Сибири в последнем романе Неверли вызван причинами и чисто литературного характера. В творчестве писателя можно обозначить два полюса – документальный и художественный. Лишь в первом случае можно интерпретировать прозу Неверли как попытку реконструкции истории, проникновения в ее суть. Функция же художественного слова была сформулирована еще в первой книге писателя – «Парень из Сальских степей»: повествование необхо-

димо не для того, чтобы показать страшную правду, а для того, чтобы попытаться пережить ее, укрепить человеческие связи, поддержать надежду на возвращение к нормальной жизни. «Сопка голубого сна» – это, без сомнения, роман, призванный решать задачи художественного произведения. «Вокруг меня, словно шрапнель, рвались события, катясь громким эхом по всей стране. Страсти, надежды, иллюзии охватили всех, а я оставался один на один с прошлым, уже слишком старый для того, чтобы смешаться с толпой, помочь или помешать в чем бы то ни было...» (498). Неверли писал свою книгу в состоянии глубокой депрессии, не подозревая о том, что вскоре после ее окончания распадется Советский Союз.

Примечания

Издания произведений Игоря Неверли, на которые даны ссылки:

Chłopiec z Salskich Stepów. Warszawa, 1976, wyd. XXI; Archipelag ludzi odzyskanych. Warszawa, 1954, wyd. VII; Pamiątka z Celulozy. Warszawa, 1952, wyd. III; Leśne morze. Warszawa, 1961, wyd. II; Żywe więzanie. Warszawa, 1966, wyd. I; Za Opiwardą, siódmą rzeką. Warszawa, 1985, wyd. I; Zostało z uczt Bogów. Warszawa, 1996, pierwsze pełne wydanie krajowe; Wzgórze błękitnego snu. Warszawa, 1987, wyd. II.

Польша по путевым впечатлениям русских писателей (стихи и очерки 30-х — 70-х гг. XX в.)

Путевых заметок о Польше в русской литературе 30-х гг. XX в. немного. Причиной тому были прежде всего ограниченные возможности поездок русских писателей из СССР в Польшу.

Представления в русском обществе о современной Польше складывались преимущественно на основе официальной советской политической информации, создававшей неприязненный образ агрессивного польского государства, атмосферу которого определяли жестокие социальные противоречия и полицейские репрессии. Такой представляли Польшу текущая печать и некоторые художественные произведения (например, стихотворение М. Светлова «Польский день», 1932). В преддверии Второй мировой войны, особенно с приходом Гитлера к власти в Германии, в русской (как и во всей советской) литературе активное развитие приобретает военно-патриотическая тема. В произведениях этого тематического ряда появлялись реалии, возвращавшие мысль к прошлым «этапам большого пути», в том числе польским: «Иркутск и Варшава, Орел и Каховка» (М. Светлов. «Каховка», 1935); «На Дону и в Замостье | Глеют белые кости. | Над костями шумят ветерки: | Помнят псы-атаманы, помнят польские паны | Конармейские наши клинки» (А. Сурков. «Конармейская песня», 1935); «Под Перекопом и Варшавой | Не зря хлестал железный дождь...» (Он же. «Стрелковая походная», 1938) и др. В 1938 г. Сурков, обращаясь к событиям польско-советской войны, публикует поэму «Рейд на Сквиру». Начав ее со слов: «Кони польские буланы — | До чего ж красивы! | Белопольские уланы — До чего ж спесивы!», автор далее в бравурном тоне описывает победу коннармейцев: «Пан на хвост горазд, | На слова грубый... | Ну-ка, пан ясновельможный | Покажи удар хваленый <...> | Вылетай из седла...». В изображении «ясновельможных панов» Сурков использует черты традиционного польского стереотипа, сложившегося ранее в России: высокомерие, надменность, хвастливость, показная отвага и пр. В качестве знакового использовалось польское слово «пан», в котором акцентировались такие его смысловые наполнения, как «господин», «барин», «богатея». Образ врага создавался с помощью семантических конструкторов: «белополяки», «белопольские», «белопанские» (пули и т. п.), «польские паны», «панская Польша». Словосочетания с определением «белый» возникали по аналогии с русской «белой» антисоветской армией¹. Чаще всего тиражировался конструкт «панская Польша», — в самом названии соседней страны содержалось враждебное к ней отноше-

ние. В основе этих словесных порождений советской пропаганды лежали политические и идеологические причины. Они имели своей целью не столько дискредитацию польского этноса, сколько утверждение идеи превосходства социально-политической системы Советского Союза над капиталистической в соседней Польше.

В 30-е гг., в основном проездом в другие страны в Польше побывали некоторые русские писатели – А. Серафимович, Вс. Вишневский, Б. Пильняк, Н. Тихонов, Л. Никулин и др. Из ряда заметок о Польше выделяются дружелюбные к стране и встретившимся ему людям записки драматурга А. Н. Афиногенова. Миновав в марте 1932 г. советско-польскую границу, он замечал: «Земля, от того, что ее разделили на страны, – не изменилась. Елки, кустарники. Телеграф и цифры на столбах те же. И снег, и метель. Но земля чужая». О польских пограничниках: «Вежливость»... «Офицер или кондуктор ...говорит по-русски с приятным выговором – не беспокойтесь, паспорта принесут... Поехали по Польше. А земля все одно одинаковая (геология и социология)...»².

В 1936 г. Л. В. Никулин опубликовал довольно объемные «Путевые заметки. Польша – осень – 1935» (журнал «Октябрь», № 7)³. Польша напомнила ему провинцию российской империи – архитектурным обликом некоторых строений, домами бедняков, уличными картинками. Облик «усталой, раздираемой страстями Польши» (с. 175) Никулин соотносил то с богатыми западными странами, то с мечтой многих поколений поляков о свободной и независимой родине, и противопоставлял Польше советскую страну. Он скептически оценивал суждения о Польше, как о «великой державе», типично «капиталистической стране», «независимой и свободной» и т. п. – этому противоречила польская реальность: новые автомобильные заводы «Польский фиат» и «Урсус» работают не в полную мощность, новые океанские лайнеры «Юзеф Пилсудский» и «Стефан Баторий» используются не в полную меру... «Что это? – вопрошал Никулин и продолжал: «Не изменился польский Манчестер» – город Лодзь, с тех пор, как он был «уездным городом Царства Польского ... Та же грязь и вонь, забрызганные известкой сточные канавы», отсутствие канализации, «и те же палаццо фабрикантов, и зловонные казармы рабочих» (с. 185). Рабочие кварталы Варшавы – это «гнезда нищеты, реакции, острейших классовых противоречий» (с. 179), как и «кресы» – окраинные регионы Польши, где «вдоль восточной границы в польских, белорусских, украинских деревнях под белым орлом Речи Посполитой – нищета, голод, отчаяние, и думы о востоке, о стране за пограничным столбом...» (с. 176).

Затронул Никулин и тему, которая в советской печати определялась, как «милитаризация Польши». Он упоминает о репетициях ночной газовой тревоги, о «типичной детали Варшавы – мелодичном се-

ребряном звоне шпор». Признавая, что офицеров в Варшаве действительно много, автор призывал не видеть в них «только благодушных щеголей»: ссылаясь на «сведущих в военном деле людей», он утверждал, что «у Польши боеспособная армия, хорошо подготовленные военные кадры командного состава», что специалисты «отдают должное польской кавалерии и коням». Никулин подчеркивал «политическую обработку солдатской массы» и особую роль в этом «ксендзов <...> культурный уровень» которых, замечал он, – «выше, чем у православных попов» (с. 180).

Примечательны исторические рефлексии Никулина – о потере Польшей независимости и борьбе за нее. К этому его побудили посещения знаменитых музейных комплексов. Вилянув – «легкий, как бы прозрачный, светящийся насквозь дворец короля Яна Собеского» – «с конной статуей, копытами топчущей двух людей, один из которых – украинец». Лазенки, парк и дворец короля Станислава Августа – «эффектный фон исторической трагедии польского государства. В залах дворца звенели шпоры екатерининских фаворитов, здесь продавали польскую независимость <...> устраивали ясновельможные заговоры, готовили восстания, за которые потом расплачивался народ» (с. 177). И, наконец, Бельведер, где «жил и умер Ю. Пилсудский». «Жизнь этого человека, его воля, его энергия, – писал Никулин, – в свое время служили заслуживающей уважения цели. Эта цель – борьба с царской Россией, борьба за независимость Польши <...> Версальский мир. Из рук победителей поляки получают территорию, независимость, свободу» (с. 178). Бельведер, продолжает Никулин, – третий акт польской борьбы за независимость, отмеченный экономическим кризисом, классово-борьбой, наступлением на страну заграничного капитала.

Писатель затронул и актуальную проблему современных отношений между Польшей и советской страной. В его рассуждениях ощущается мысль о том, что сложности в отношениях двух народов проросли не на пустом месте и легких решений в этой сфере не предвидится. Не без грусти отмечал он, что существующих «дружественных связей» между литературами Польши и Советского Союза недостаточно. Хотя, «все, что идет из Москвы, вызывает повышенное внимание» (с. 185), пишет он и добавляет, что немало людей говорили по-русски и даже «с некоторым удовольствием вспоминали забытые слова». «Поэзия Пушкина и Лермонтова, проза Гоголя и Толстого, – продолжал Никулин, – боролись с суконным языком казарменных циркуляров и обязательных постановлений наместников – самодержавных идиотов, проводивших постыдную русификацию края. И теперь только самые глупые и рьяные шовинисты ненавидят язык Пушкина, Гоголя, Толстого» (с. 182). И как бы подводя черту под всем этим, он высоко отозвался о тувимовском переводе «Медного всадника» Пушкина.

Завершается очерк авторской рефлексией об «инаковости» двух миров – современной Польши и советской России, о новом историческом контексте отношений двух народов, что и делает проблематичным их общественное и культурное сближение. «При взгляде же на памятник Мицкевичу невольно приходит в голову мысль, – заключает писатель, – как он жалел бы об отсутствии связи между русской и польской литературой, вспоминаешь о ссыльных польских и русских революционерах, – и скажешь себе, что не может погибнуть дело, за которое лучшие люди мира отдали свою свободу и жизнь» (с. 186).

17 сентября 1939 г. вместе с частями Красной Армии на земли Западной Украины и Западной Белоруссии – польские восточные «крестьяне» – прибыли советские литераторы, прежде всего как военные корреспонденты. Во многих публиковавшихся тогда стихах и очерках советских авторов прославлялось воссоединение украинцев и белорусов. О вооруженном сопротивлении польского войска авторы корреспонденций писали скупно, не стесняясь при этом в выражениях типа: «польские банды», «охвостье польского офицерья», «проклятые волки панской Польши» и т. п. Один из эпизодов встречи с пленными поляками запечатлел в своем стихотворении В. Луговской: «Над пленными шумят ветла, ветра и осень. | Они идут гуськом | И кланяются нам». Польских военнопленных описывал в своем очерке «Дорога на Запад» Вл. Лидин: «Под Гродно шел бой... Офицеров взяли в плен более ста человек. Это были рослые, хорошо упитанные... заносчивые шляхтичи – стояло офицерство панской Польши, ее оплот, ее бездарное командование, сгусток спеси, ненависти и ужаса перед случившимся. Родовые перстни, геммы и тонкие обручальные кольца были на пальцах у многих ... Не хотели верить в поражение, в бегство правительства, хотели, чтобы их перебросили во Францию сражаться против Гитлера. Хотели мстить»⁴.

В очерках В. Шкловского о Западной Украине сентября-октября 1939 г. «польские» вставки немногочисленны, но знаменательны: «Погибла страна в несколько дней, рассыпались связи, стягивающие армию. Люди ждали немцев, а пришли советские войска. Судьбы людей менялась в мгновенье, – писал он. – Пленные идут большими группами... Лучшие польские полки были отрезаны около Поморья». И далее: «Не существовало народа, более подло преданного, чем предало польское правительство свой народ»⁵. С высоким уважением писал автор о польской культуре, и, что было совсем уж редкостью в те времена, название страны упоминалось без каких-либо неприязненно-унизительных «эпитетов»: «В Польше своя большая культура. Коперник помог нам понять строение вселенной. Кюри-Склодовская помогла нам понять строение атома.

У Польши есть великая литература. И сейчас в польских университетах есть крупные физики, химики...»⁶.

С середины 1944-го – в 1945-м гг. в русской литературе образовался особый пласт произведений – стихи и очерки, созданные их авторами на основе личных впечатлений о польских землях, через которые они шли с Красной Армией, освобождая их от гитлеровских захватчиков. Вобравшие в себя многие географические наименования, они отражают маршрут передвижения их авторов. Прежде всего это произведения о военном лихолетье – о жестоких боях, изнурительных переходах, трудном солдатском быте, о гибели людей и разрухе, что обусловило драматические, а нередко и трагические мотивы, особенно в стихах А. Коренева, И. Баукова, М. Львова, очерке В. Субботина и др. Исключение составляет в произведениях даже простое упоминание о красоте природы или архитектурных достопримечательностях: здесь польская земля, польская природа – места боев, кратких привалов, смертей и разрушений. Большинство произведений датированы осенне-зимними месяцами: ноябрем 1944 – началом 1945 г. Главенствующий компонент пейзажа – холодная заснеженная земля и ветер. «Был холод декабрьский, и я возле танка | На польском асфальте плясал сербиянку, – | Чтоб только согреться на зимнем ветру, | Пронзительно злом», – писал М. Львов (1944)⁷. Такие же страдания испытывал, продвигаясь через Варшаву в январе 1945 г., В. Субботин: «Сильно дуло. Нельзя было никуда спрятаться. Из этих ее холодных, мертвых улиц, взорванных домов... Мы в Рембертуве ... южнее Варшавы <...> Какая унылая, холодная зима открылась нам за Варшавой. Какую одинокость, жалость, тоску какую испытал я на этих пространствах! Какой пронизывающий меня ветер дул тогда на этих полях... Какая убогая, бесконечная, какая долгая зима... Мы едем и едем по дорогам Польши»⁸. В стихах А. Коренева, разведчика по фронтовой биографии, который то с группой, то один находился в осенне-зимние месяцы в лесу, устлавший землю снег, на котором явственно отпечатывались следы, усугублял опасность быть обнаруженным врагом: «Как пух, как пшено и как жемчуг | пороша. Засыпан весь край. | И хлопья | таинственно шепчут: | «Следов ты не оставляй!». И он должен постоянно об этом помнить: «Я „скочек“, и будьте уверены, | я следа не оброню». Раненный – «В рубахе две черные дырки, | Когда отдеру и сниму?», он осторожно ступает не по снегу, а «на куст или под кустом», или идет «словно в цирке, | по вмерзшему в снег бревну»⁹.

Но есть в этих произведениях и другой мотив – оторванность от родной земли. «Чужбина», «чужое» – эти определения многократно встречаются в текстах. Лирическим героям, испытавшим чувства «одиночества», «тоски», «черной грусти», охваченным «горькими мыслями», здешняя земля виделась «унылой» и «холодной», зима – «убогой», «бесконечной», «долгой», избы «неуютными», «голыми». «За окнами город лежит чужой, | Чужая вокруг земля. | Дождик чужой шевелится в окне, |

Ветра чужого стон...» (И. Бауков. «На чужбине») ¹⁰. Надо отметить, что оппозиция «свое-русское – чужое-польское» не несла в себе враждебного начала. «Чужбина» – это просто – не Россия. Здепние косые дожди, и шум осин, поля и реки – «на русские похожи», но «сердце ночью синей госкует по России» – «Говори о чем захочешь, | Лишь бы только о России. | Лишь бы только за беседой | Отдохнул я от чужбины» (И. Бауков. «Идут дожди косые», см. также «Родина», «Говори мне о России» и др.). Подобные чувства воплотил в стихотворении «Пехотинцу» М. Львов: «Ты прошел от Польши до Волги, | и от Волги обратно в Польшу | <...> И ты понял, | что нет ничего | лучше отчего дома» (1944).

С другой стороны – чужбина-Польша предстает в стихотворениях как земля, к которой по-особому привержен, потому что авторы хватили здесь лиха и потому что здесь полегли соотечественники: «Чужие сады. | Чужие поля. | И детство чужих детей. | Но ввек не забудется эта земля: | Мы здесь хоронили друзей» (М. Львов. 1945). О своих боевых соратниках, совсем юных, фактически подростках, которых он, их командир, и то знал лишь по кличкам, Коренев писал: «Разведчики, они так молоды!... Осталось нас немного из отряда, | Рассеяны. | Застрелены в лесу... Одесса-Вова, Збышек, | Федор, Пашка... Истлели они, всосаны сюда – | В суглинок, в почву Польши | навсегда».

Особое место в произведениях этих лет занимает варшавская тема. В. Субботин был потрясен зрелищем взорванного города, который он увидел перед началом наступления Красной Армии: «То, что я увидел, было страшно. Я глядел сверху на нее. Огромный выгоревший город. Сразу за рекой. На всю жизнь будет в памяти» ¹¹. Сочувствуя варшавянам, пережившим жестокое разрушение гитлеровцами их столицы и вынужденный исход из нее, И. Бауков невольно обращается мыслью к подобным бедам и страданиям, выпавшим на долю русских людей: «Девятый день горит Варшава. | Девятый день бойцы не спят <...> И Висла, бледная от горя, | Волной игривой не звенит <...> Горит Варшава. | Вот так же, как горел Смоленск <...> Проходят беженцы босые. | Вокруг гремит орудий гром. | Все так же, как вчера в России – | под Сталинградом, | Под Орлом» (1944).

Произведения тех лет в определенной мере отразили и впечатления о людях, повстречавшихся на польской земле и видевших в Красной Армии свою освободительницу. Эту тему развивал И. Бауков в ряде своих стихов. «Фашист лютует по ночам, | И древний Ян снимает шляпу | И земно кланяется нам. | Паненки, ладные собою, | На перекрестке двух дорог | Взирают на бойцов с мольбою | И шепчут: | „Помоги вам бог!“ | И дарят нам в тумане синем | Цветы и ласку нежных глаз. | Для них солдаты из России | Дороже братьев в этот час». По-человечески близкими становятся солдатам «чужие» избы, в которые они времена-

ми попадали, – пропахшие знакомым с детства богуном, а голос хозяйки – «старой пани», напоминавший «до дрожи» материнский, мысленно переносил солдат в «родной отцовский дом», и от этого становилось тепло на душе. (И. Бауков. «Спасибо тебе, дача Галинув», 1944). Общечеловеческие чувства любви к близким и тоска по ним в разлуке, понятные даже людям, не знающим языка друг друга, объединяют в беседе русского солдата и местную жительницу: Я «о любимой вслух говорю тепло... а та, что варит ужин... твердит о муже и все сидит со мной». (И. Бауков. «В чужой избе»). Помнится и веселая «синеглазая полька», с ее звонким смехом, которой долго будет сниться «чернобровый солдат-танкист», а М. Львову – «славянка, бойцу подносившая в рюмке сливянку». В стихотворении В. Саянова «Варшава» возникает романтическое видение: через Вислу по «пontonному мосту... тропой туманной» возвращаются изгнанники – те, кто за свободу Польши погиб вдали от нее. И «сквозь них» поэту является облик склонившейся девушки: «таких не видывал на свете | я благородно-строгих лиц... Она была как облик Польши, | когда на запад шел мой путь». Под стихотворением А. Коренева «Збигнев» сделана пометка: «Декабрь 1944, под Лидзбарком (горелой спичкой), переписано в Цеханове, январь 1945». Это по сути эпитафия «другу», «жолнежу», «товарищу», «католику», «ополченцу» – в одном лице. Поэт создает образ своего соратника по разведгруппе, который, «собственно мальчишка», «хлопец юный и чудной». Внешне он «костляв, нескладен», «длиннолицый, длинношей». Когда он спит в тесной норе-землянке, «как перочинный ножик» складывается пополам и его тонкая шинелька не натягивается «на донкихотовских колен углы». Отмечая в облике Збигнева вроде бы «стереотипные», «польские черты»: «...он вспылчивый и злой какой-то», поэт объясняет: «...Как уж тут не психанешь порою, | Если | Мрак | И только смерть вокруг | <...> Ополченец, ты, птенец, католик... | Днем я обругал тебя, прости...». В Збигневе как бы совмещаются романтически-возвышенное и буднично-житейское: то он «намаялся, налил за день, | намолился, глядя на звезду», а уснувший, головой опершись на поблескивавшую в темноте гранату, стал похож на аиста на болоте; то вдруг он поэту представляется «вознесшимся святым», а «его мама называла „Збышко“». Но, печально заключает поэт: «Не вернуться аисту в свой дом... | Ответ жертвы на лице худом... Звезды светят на его чело».

Не одного русского писателя тронула за душу и сердце такая примета польского пейзажа, как придорожные фигурки мадонны-богородицы – образ духовной польской традиции. Они возникают в русских стихах как своего рода символ матери-польки. Воплощением безмерного, невыразимого страдания единственной на земле матери, которая от горя не может заплакать, предстает мадонна в стихотворении С. Щи-

пачева (1944). В веночке из полевых цветов молится «тихо и одиноко придорожная грустная богородица», как та мать, сын которой «не возвратился из Освенцима и Трешлинки» (М. Матусовский. «По пути в Познань», 1944).

В русских произведениях этих лет обращают на себя внимание польские слова и выражения, упоение мелодикой польского слова и его созвучием с русским. В этом проявилось стремление авторов подчеркнуть адекватность своего восприятия Польши, усилить достоверность описания. В своем цикле «Польских стихов» (1944) С. Наровчатов обыгрывает однокоренные и созвучные русские и польские слова, в том числе, польские географические наименования: истомился-Томашев, Любашев-любви, плечи-Плоцк, познала-Познань, замолвит-Млава, Модлин-молить. Стихотворение венчают слова, воспевающие освободительный марш славян: «Крепнет братство грозное снова, | Много-славное братство славян». Эта мысль воплощена и в финале другого стихотворения, адресованного польке – лирическом объяснении «очарованного тобой». Поэт сопрягает польские и русские слова, образуя парные лексические обороты: «черной темнеть тоской» – «тенскнотой томиться чарной»; «то ли ручки твои, то ли рученьки» – «то ли белые рончки твои».

В рассмотренных здесь «военных» произведениях отразились сочувствие и сострадание к польскому народу русских людей, разделивших с ним тяжесть освобождения Польши и потерявших при этом многих своих соплеменников. Пребывание на польской земле позволило огромной массе русских людей непосредственно соприкоснуться с поляками – с их духовной, бытовой, языковой культурой и ощутить славянскую близость и родственность с ними. Это не осталось бесследным для русского общественного сознания, способствуя постепенному освобождению его от ряда предубеждений антипольской направленности, насаждавшейся советской пропагандой в 1920–1930-е годы.

С середины 1945 г. и почти до конца 1950-х гг. позитивная перестройка русского общественного сознания в отношении Польши в силу разного рода причин замедлилась. Связи между странами находились под сильным воздействием политической конъюнктуры, которая тем не менее вынуждена была учитывать возросшие в послевоенное время внимание и интерес к Польше в разных слоях советского общества. Польшу в те годы посещали, в основном, руководители писательских организаций, общественно-культурных объединений и комитетов, редакторы крупных газет и журналов и т. п., выезжавшие в страну с официальными миссиями – на конгрессы, съезды, юбилейные торжества, государственные праздники. Их путевые очерки были выдержаны в духе официальных коммуникатов, хотя и не лишены определенного инте-

реса. «Несущей конструкцией» таких очерков была мысль о широком и многообразном сотрудничестве СССР и Польши в новых исторических условиях. Все чаще в очерках появлялась формулировка о «братских» отношениях между народами обеих стран и о единстве «социалистического» пути их развития; название «Польша» все чаще сочеталось с прилагательным «новая». Авторы очерков с воодушевлением писали о самоотверженности и творческом энтузиазме, которые подвигали поляков отстраивать разрушенное войной хозяйство, возводить производственные новостройки, о помощи Советского Союза, восстановлении Варшавы, освоении западных земель и т.п. Русские литераторы отмечали радужные поляков, их интерес к СССР, к русской культуре. Однако образ Польши в этих очерках оказывался несколько «одномерным». Дополнительные штрихи к картине польской литературной жизни первой половины 1950-го года привносят впечатления о ней Н. Тихонова, побывавшего на праздновании юбилеев А. Мицкевича и А. Пушкина, и А. Суркова, приглашенного участвовать в работе V Общего съезда польских писателей. Речь идет о не публиковавшихся ранее стенографических отчетах их выступлений на заседаниях Иностранной комиссии Союза советских писателей.

Впечатления обоих писателей вобрали в себя немало интересных конкретно-исторических реалий января-мая 1950 г., в том числе об изменении «атмосферы»: «В Польше воздух стал чище, есть свежий ветер. Если сравнивать с Варшавой 1935 года, то это просто-таки другой мир... Однако самая страшная сила, которая сохранилась от реакции – это католичество», поддерживающее «подпольное движение»¹². Сурков, неоднократно бывавший в Польше после 1945 г., также говорил об изменениях в атмосфере Польши: «В Польше налицо перелом, лед сломан», – но добавлял: «Правда, есть еще много предрассудков... – это противорусская позиция», но «в последнее время очень заметны сдвиги в народе и заметны среди интеллигенции»¹³.

Однако основное внимание писатели уделили положению в современной литературе, «специфическому», по определению Суркова, что он объяснял отличием «процесса развития социализма» в Польше, «от того пути, по которому мы шли» (90, л. 7). Польское литературное общество предстает в описании Суркова некоей писательской вольницей, не признававшей, в частности, мировоззренческих перегородок. Его безмерно поразило то, что «под одной крышей польского союза писателей находятся и коммунисты, и исповедующие материалистическую веру, и ...капиталистические писатели», как поразило и то, что выступавшие по докладам А. Важики, С. Жулкевского и Л. Кручковского допускали для себя возможным «согласиться» со «строительством социализма в Польше», но «насчет марксизма» собирались «еще

подумать» (90, л. 2). Сравнивая все это с историей советской культуры, Сурков заключал: «Когда мы совершили Октябрь, – то у нас сразу появился водораздел и такое... уже невысказано было в 20-х годах... у них явление «ноева ковчега» более видны, чем у нас от всей эпохальной накипи в литературе» (90, л. 7). Постоянное сопоставление: «у нас» – «у них» проистекало из того, что Тихонов и Сурков несомненно ощущали себя посланцами руководства советской культурной политики, стремящегося внушить польским писателям идею значимости советской модели социалистической литературы. Сурков отмечал интерес и стремление «представителей всех поколений» польских писателей прояснить для себя происходящее в советской литературе и то, о чем «не договорились на съезде» – о «космополитизме, формализме... отношении литературы к государству, к партии и т. д.» (90, л. 9). Однако «выработка идеологической платформы», которая по убеждению Суркова была главным вопросом съезда и отождествлялась им с согласием польских писателей с теорией и практикой социалистического реализма, не состоялась. Польские впечатления Суркова пронизаны его ощущением духа сомнения и настороженности польских литераторов по отношению к самой идее пригодности советского опыта для польской литературы. Хотя он и настаивал на том, что «люди более или менее близкие нам духовно, и даже люди старой формации... и в печати и в выступлениях на съезде должны были говорить о том, что без нашего русского опыта, без нашего советского опыта, польскую литературу не построить» (90, л. 10).

В суждениях Тихонова и Суркова об истории польской литературы и русско-польских литературных связей было немало упрощенных и ошибочных представлений. При незнании ими обоими польского языка их представления о современной литературе в значительной степени основывались на мнении других людей. Это относится и к «стержневой» мысли об «отставании» литературы от жизни. «Они жаловались», – говорил Тихонов, что в условиях «подъема настроения», «роста строительства предприятий», начинающейся «коллективизации» деревни и т. п., «литература, главным образом проза, отстаёт, и назвать произведения, вторгающиеся в жизнь, они не могут» (664, л. 6). Перекликается с этим и высказывание Суркова о том, что польские писатели «уже мировоззренчески созрели до того, что они уже коммунисты и строители новой жизни, но в творчестве это не сказывается» (90, л. 4). На отдельных примерах русские писатели стремились показать «левачество» и «болезни роста» польской литературы, подобные «пройденным нами... в первое десятилетие после Октября» (90, л. 6). Их критике была подвергнута, в частности, пьеса Л. Кручковского «Немцы». Ее, считал Тихонов, «надо переделывать», и автор «ее уже переделывает, так как образ немецкого коммуниста, который выведен в пьесе... не такой, ка-

ким он должен быть. А эпилог пьесы вообще не годится. Получается впечатление, что все остается по-старому, что все продолжается так, как было... нет там показа, хотя бы символически, или аллегорически сегодняшней силы, ведь есть же что-то новое» (664, л. 4 об.).

Среди показательных реалий того времени Тихонов запечатлел курьезную историю с польским сборником произведений, прославляющих И. В. Сталина. Для сборника «целый ряд поэтов – и молодые, и старые, – рассказывал Н. Тихонов, – принесли свои стихи», оказавшиеся «негодными для печати в силу своего несовершенства», и тогда решили, что «опытные поэты» доработают «произведения до известного уровня», чтобы их было «можно печатать». Далее Тихонов рассказал, что некто (в тексте фамилия опущена) «один перевел этот сборник – 1 тыс. строк в течение 10 дней» на русский язык, а «после переведенные им стихи будут даны для работы уже настоящим поэтам и затем включены в антологию в хорошем виде» (664, л. 5 об.).

Показательны и иные реалии того времени: стремление некоторых официальных лиц Польши установить контроль за развитием культуры в собственной стране – при посредстве советской стороны. Через Тихонова советской стороне было сделано предложение информировать ее об отношении партийных сфер Польши к деятелям польской культуры, чтобы это соответствующим образом предваряло отклики и оценки в советской печати. «Имеется письмо, – рассказывал Тихонов, – заместителя заведующего отделом культуры ЦК. Она сказала, что надо что-то выправить, а то получается так, что в наших статьях и журналах дается похвала отдельным польским писателям, в результате чего люди начинают с таким видом ходить по улицам, что с ними невозможно справиться. А между тем такой похвалы они не заслуживают... А поэтому она обращает внимание на вредность таких поспешных, несогласованных с ними оценок... и предлагает пользоваться их информацией в случае надобности для оценки ряда явлений» (664, л. 5-5 об.).

И Тихонов, и Сурков однозначно высказывались за развитие более творческих отношений в области литературы и необходимость взаимных поездок в страны – это «обогащает знанием литературы», отмечал Сурков. Оба писателя были единодушны и в том, что русских переводов польской литературы мало: «...Мы далеко не чисты, – заключал Сурков, – перед нашими польскими друзьями, мы сотой доли не делаем того», что делается в Польше «по отношению к нашей литературе» (90, л. 13).

С момента оттепели в советской общественно-культурной жизни заметно возросло число произведений, в которых отражались путевые впечатления русских писателей о Польше, особенно в 60-е – начале 70-х гг. Ко второй половине 60-х гг., начиная с крупных городов, прежде всего Москвы и Ленинграда, в определенных кругах интеллигенции и моло-

дежи, стало престижным интересоваться польской культурой. В Москве, в частности, появились кружки по изучению польского языка. Увеличивалось число выезжавших в Польшу людей, в том числе деятелей культуры и искусства. Результатами этих поездок стали стихи и очерки о Польше.

С ними выступали и писатели, участвовавшие в освобождении ее в годы Второй мировой войны, к которым теперь их возвращала память. Печалью овеяны произведения о соотечественниках – погибших на той земле молодых москвичих – в стихотворениях Е. Винокурова «Земляк», «Вдали за Вислой сонной». А. Николаев написал о друге: он является к нему лишь во снах, потому что они «навек расстались, | где он упал в окопе узком | под минный грохот, вой и визг, | где встал ракетой | под Пултуском | ввысь устремленный обелиск» («Бессмертие»). В 1968 г. М. Львов писал: «Памятник | по-польски – | помник! | Все, что было, Польша помнит | ...Ты настрой | души | приемник, | Он историю напомнит». Русские писатели продолжали развивать варшавскую «военную» тему. Участник боев за Варшаву Д. Самойлов в поэме «Ближние страны» (1958) воспевал героизм восставших горожан и, усиливая эмоциональный накал произведения, влетает в его текст по-польски звучащий зачин польского гимна: «Jeszcze Polska nie zginęła!» – «Еще Польша не погибла!» К теме войны обращались и молодые писатели, сами непосредственно в ней не участвовавшие – Р. Рождественский, В. Гончаров, В. Шошин и др.

Более всего внимание русских авторов было привлечено к современной польской жизни. В их произведениях отразился взгляд на Польшу 60-х – начала 70-х гг. из советской России тех же лет. И вновь для многих людей, прежде всего молодого и среднего поколения, это было первое настоящее открытие Польши и поляков – истории, культуры, образа жизни. Немало людей могли бы согласиться со «странным», по его выражению, признанием В. Солоухина в том, что до определенного времени Польша, из-за малой осведомленности о ней, была для него «если не пустым, то холодным звуком»¹⁴. По этой причине, а также потому, что и теперь Польша стала первой в их жизни «заграницей» – миром, до этого закрытым, взгляд на Польшу оказывался особенно пытливым. Зрение «путников» охватывало явления и крупные, и малые, исторические и повседневные; живой интерес вызывало то, что было непохоже на свое. Объяснялось это и осознанием весьма сложных в прошлом взаимоотношений обоих народов, и чувством глубокой связи между ними.

«В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров – память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев», – писал И. Эренбург. Бывавший в Польше в 1928 г., а затем – с 1947 г. многократно ее посещавший, он острее многих ощущал изменения в

«климате» этой страны: «Я увидел другую Польшу ... двадцать лет назад в эпоху санации ... не только власти, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно...» Ни осенью 1947 г., ни впоследствии, продолжал он, «в Польше я не знал одиночества – это сухая справка, но она говорит о многом!»¹⁵. Иногда осознание истории взаимоотношений авторы просто констатировали: «Враждовали, | братались предки | и делили и жизнь и смерть» (В. Кузнецов). Б. Ш. Окуджава историсофски осмысливал общность судеб русских и поляков – в минувшем и в настоящем: «Мы связаны, поляки, давно одной судьбою | в прощанье, и в прощенье, и в смехе, и в слезах... | Когда трубач над Краковом возносится с трубою, | хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах» («Прощание с Польшей», 1966).

Иным по сравнению с военными годами стало зрительно-эмоциональное восприятие польской природы: «Я увидел знакомый пейзаж, | столь же милый в России и в Польше», – писал С. Куняев («Уезжая в направлении Варшавы»); в поездке по стране, «выслушивая дорогу», «зорко всматриваясь окрест», В. Кузнецов улавливал ее славянские истоки: «Польска! Польша!... | Славянское имя. | Поле-полюшко, поля-поль!» («Польская баллада»).

«География» Польши представлена в русских произведениях этих лет разными городами и памятными местами. Однако наиболее многогранно «прорисованы» в них Варшава и Краков. Это относится и к архитектурному облику, и к людям, населяющим их, и к особой «ауре» этих городов. Ю. Нагибин, писавший, например, что всему предпочитает Краков с его Мариацким костелом, в то же время признавался, что ему «никогда не надыхаться вдосталь варшавским воздухом»¹⁶ (с. 303). Многие авторы описывали варшавскую «Старувку»: это – «необыкновенный мир, чудесный мир», крыши домов здесь «образуют единственную на свете мозаику, они тянутся вдоль Вислы от руин Королевского дворца до костела Марии Девы», многообразные по форме, по цвету, по характеру соединения с соседними крышами, по «нарядности», материалу и т. д. (А. Кременский. Варшавские записки, с. 214–215). К. Паустовский писал о костеле Святого креста, где в одной из колонн замуровано сердце Шопена, и о Саской Кемпе, отмечая, «красоту ее улиц», «приветливость домов», где живет «много добрых и неторопливых людей»¹⁷. В стихотворении «Угол Хмельной и Новы Свят» П. Вегин запечатлел поразивший его на этом варшавском перекрестке «дуэт»: «На балконе кружевном | пани с мельницей кофейной, | а внизу на мостовой | бессеребренник – шарманщик». И поэту захотелось «мысленно привить» к современному джазу «черенок его мазурки», чтобы сохранить и распространить духовную атмосферу, в которой, «кроме хруста ассигнаций, есть магический кристалл!» – это спасение для современного мира, сколь бы он «ни был ша-

ток». Вегин уверовал в то, что поэтичность – элемент будничной жизни Варшавы – она «не для интуристов»: ведь этот «дуэт» уже «то ли тридцать, то ли триста непрерывных длится лет» (с. 104).

Подобного рода свойство – жить не напоказ, отмечали и другие. Варшава – «город домашний, – пишет Л. Лиходеев. – Там, как мне показалось, все свои и не перед кем ломаться... Определенная ортодоксальность, которая, казалось, должна бы сопутствовать столичной сущности, в Варшаве ... не выпячивается. Там живут <...> так сказать, для себя, а не для отчета. Если красивый дом – так не для показа, а исходя из его сущности, если красивая одежда – так тоже не для того, чтобы кого-нибудь поразить, а для того, чтобы самому лучше себя чувствовать в такой» («Варшавская мозаика», с. 267). Каким-то семейным уютom веет от описания Л. Славиним Лазенковского парка, где ветер гоняет «лапчатые листья каштанов», весело перекликается мелькающая меж деревьев детвора, и «стайки пенсионеров азартно обсуждают мировые дела – все это в ласковой рамке осени выглядит ... так безмятежно!»¹⁸. Описания подобного рода с часто встречающимися в них определениями «изысканный», «обаятельный», «очаровательный» создают впечатление о каком-то особом мире Варшавы – красивом и, подчеркнем, очень притягательном. Но Варшава предстает и в другом ракурсе, при этом в описаниях ее русскими авторами используются выражения: «мужество», «героизм народа», «беспримерный подвиг» и т.п. – когда речь заходит о Варшаве восставшей, а затем возрожденной из руин за несколько лет. С восхищением писали русские авторы о восстановлении Варшавы в ее историческом облике, как не имеющем прецедента в мировой культуре. И если на первых порах в варшавских впечатлениях еще упоминались некоторая «макетность», «нарисованность», то к началу 60-х гг., по словам К. Паустовского, Варшава стала уже «не гениальной подделкой, а подлинностью»¹⁹. Такого рода варшавские наблюдения особым образом корреспондируют с описаниями варшавских новостроек. Речь идет не о репортажной публицистике, исполненной официального оптимизма и пропагандировавшей новые стройки, как иллюстрации социалистических преобразований в Польше. Ю. Нагибин воспринимал обновление Варшавы в контексте широко понимаемой исторической связи времен. «Сохранив свое лицо, – писал он, – город стал чем-то иным – современным, просторным, свободным к дальнейшему росту, ко всем чудесам будущего. В этом своеобразии сегодняшней Варшавы, ее особенность, она сумела слить прошлое, все сколько-нибудь ценное в нем, с настоящим». Подчеркивая «святую память» горожан о своих погибших сыновьях и дочерях, Нагибин очень энергично отмечает, что Варшава – «не склеп с саркофагами», а трудовая, радостная... ироничная, не терпящая позы и надутости», Варшава, «уме-

ющая здорово работать и со вкусом веселиться... – словом жить... И ради этой полной и громкой жизни все памятники... все мемориалы и монументы, ради большой жизни выстояла Варшава наперекор всему». («Из варшавского дневника», с. 313–314). По Славину секрет очарования Варшавы составляют «ее героическая история, и прелесть ее черепичных крыш, новостроек, дворцов и каштанов, и весь этот сплав гордости и горечи, отваги и юмора, упорства, изящества и революционного пыла, которые и есть судьба и нрав Варшавы»²⁰.

Русские авторы как в этом случае, так и по другим поводам писали о таком свойстве поляков, как историческая память – сохранение памяти о прошлом. Размышления их на эту тему имели внутренний контекст – поощрить своих соплеменников задуматься над корнями и истоками собственного бытия, над тем, что в сознании русского общества десятилетиями последовательно затмевалось. Стремясь создать целостное представление о Варшаве, ее макром мире, К. Паустовский писал, что «во всем», что его в ней окружало, было «разлито то спокойствие, какое помогает жить и пользоваться дарами культуры... Куда бы я ни попадал, это состояние спокойствия и душевной ясности не покидало меня...»²¹.

Длительность знакомства с Варшавой у русских авторов, писавших о ней, была разной, у каждого из них был свой к ней интерес, свой круг людей, с которыми они общались, но у всех у них этот город 60-х гг. вызывал чувства огромной симпатии, восхищения и приязни. Подобного облика Варшавы русская литература до сего времени не создавала.

Среди русских впечатлений о Кракове немало признаний в любви, по большей части замыкавшихся в формуле: «Краков – грандиозный музей». С огромным пиететом писалось при этом о Вавельском замке, Суkenницах, Площади Главного рынка, Мариактом костеле с трубачом, Плантах и т. д. Зачастую «краковская тема» увязывалась с Новой Гутой – грандиозным металлургическим комбинатом, построенным с помощью Советского Союза. Его строительство вызывало в польском обществе противоречивые мнения, в том числе из-за экологии. Л. Славину идея создать, как он писал, «под древними крепостными стенами Кракова, с его живучими религиозными традициями и музейной психологией, мощный индустриальный центр, населенный передовой пролетарской молодежью», представлялась удачной. В этом он видел исполнение пророчества С. Жеромского об утопающих в зелени городах.

Среди очерков, отразивших краковские впечатления, выделяется «Свечение беседы» Ю. Куранова. Тонкий ценитель природы, он прекрасно передает поэтичность польской осени, возникающую не только от ощущения природы, но и от общения с людьми. Очерк построен по принципу – сюжет в сюжете: знакомство автора с Краковом развивается на фоне его воспоминаний о встречах с К. Паустовским, много значившим

для него, «более всего похожего именно на писателя» (с. 242). Таинственное очарование Кракова автор пытается распознать, обращаясь к волшебному смыслу рассказов Паустовского «Ручьи, где плещется форель» и «Соранг». Куранов описывает, как в прогулках по Кракову теплым осенним днем его постоянно сопровождали то парящие в воздухе, то оседавшие на волосах и одежде, то вдруг с порывами ветра взмывавшие ввысь листики с деревьев, а когда он общался с людьми, словно бы зажигалась «бесшумная свеча» и становилось тепло и светло, – как при встречах с Паустовским. В уютном кафе «Коссакувка», что в доме потомков художников Юлиуша и Войцеха Коссаков, Куранов повстречал его владелицу. Это была «приветливая молодая женщина», здесь же был ее «очаровательный», «светловолосый», «красивый», «миловидный» сынишка. Ребенок «ловил» на полу «солнечных зайчиков» и дарил их русскому писателю, и «рука мальчика была теплой и ласковой». У переводчицы, пришедшей на встречу с Курановым, голос был «низкий, пожилой и веселый... Она из тех пожилых женщин», умение которых «оставаться красивыми... долго сохраняется и вызывает удивительное чувство уважения», «они умеют ценить в себе не только красоту, но и ум» (с. 242). Ощущение какого-то внутреннего свечения этого города не покидало писателя, бесцельно бродившего по нему: «весь город светился оживленностью прохожих, беспечностью молодых, полулегкомысленностью пожилых» (с. 243). Поздним вечером, «в глубине старого ренессансного двора», слушая в открытом окне, как кто-то играл на фортепиано романсы Глинки и Алябьева, вальсы и мазурки Шопена, писатель ощущал, что его «свеча горела ярко и освещала липу и кем-то посаженный рядом с нею куст папоротника»; вспоминалось русское «холмистое поле ржи», над которым «бился в синем небе жаворонок» (с. 246). А потом в памяти всплыла вера героев рассказа Паустовского – моряков в «чарующий» ветер-соранг, который будто бы дует раз в тысячу лет, и тогда, цитирует Куранов Паустовского, «сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники». И автор очерка уверовал в то, что «этой ночью в Кракове был соранг» (с. 247).

Очерки вместили немало впечатлений русских писателей о современных поляках – их внешнем облике, психологии, поведении. Примечательно их внимание к пожилым людям – и «на возрасте» оставшейся молодой собеседнице Куранова в «Коссакувке», или Нагибинская реплика о таксисте-частнике – «пожилом человеке с сильно изморщенным, заношенным, но каким-то неусталым лицом и светлыми глазами» (с. 303); ощущение Паустовским живости и благожелательности «сухой маленькой старушки», к которой он обратился в поисках нужного ему адреса и которая при этом «вся расцвела, заулыбалась и приветливо... охотно»

ему помогла²². Ощущение присущего молодой женщине чувства свободы и достоинства возникло у Нагибина, наблюдавшего, как она в дорогой шубе (оказалось, врач-психиатр) в отсутствие заболевшего дворника утром «щедрым жестом сеятеля» разбрасывала из совка песок на заледеневшую дорожку, по которой перед этим было опасно продвигаться. Общение с конкретными людьми подводило писателей к размышлениям более общего свойства – о национальном характере поляков. «Неповторимое обаяние польского характера, – писал по этому поводу Нагибин, – в том и состоит, что тут в самое простое, чисто бытовое или формальное движение вкладывается максимум – не вежливости, хотя поляки прекрасно воспитаны, а радушия, приязни, открытой доброты. Рыцарственный польский характер не раз проявлял себя в боях, в жестоких схватках с поработителями, доказав всему миру свое мужество, бесстрашие, стойкость. Тем прекраснее, что, испив до дна горькую чашу, поляки не оплатили тяжелый исторический опыт угрюмостью, бирючеством, неверием к миру. Нет, открытость, дружелюбие, душевная широта – существо польского характера» (с. 305).

Психологические и бытовые зарисовки фокусируются, как правило, в мысли о том, что люди живут здесь не суетно, а свободно, с чувством собственного достоинства и гордости. Очерк писателя-сатирика Л. Лиходеева «Варшавская мозаика» – это своего рода коллекция новелл о поведении людей в городских «зонах риска» – на улицах и в заведениях «общепита». В этих житейских зарисовках собрано то, что особенно впечатляло, что понравилось, чего, может, недоставало у себя дома и могло бы послужить поощряющим примером. «В Варшаве ездят широко и свободно» (с. 271), но между пешеходами и шоферами не существует антагонизма, с очевидной завистью пишет Лиходеев, потому что обоим кланам свойственна «цеховая горделивость», основанная на уважении ими правил уличного движения и ответственности людей прежде всего перед самими собой. В сценке задержания автоинспектором «молодого автонахала» писатель передает строгость, достоинство, некоторую ироничность автоинспектора, как и отсутствие в нем высокомерия и назидательности – здесь вообще «никто никого не учит, ибо ученого учить – только портить», – заключает Лиходеев (с. 275). Описывая обслуживающий персонал в ресторанах и барах, писатель проводит знак равенства между чувством собственного достоинства этих людей и их профессионализмом, уважением к собственному занятию. Кельнеры ресторана держат себя «учтиво», «предупредительно», «с легкой веселой иронией», без «искренности» в глазах и «суетливости» в движениях. Писателю, заявившемуся в молочный бар за двенадцать минут до его закрытия, буфетчица «не сообщила», что у нее рабочий день заканчивается. Несколько архаизируя свою речь для придания ей «высокого штиля», Лиходеев пишет:

«Полячка младая была свежа, причесана и деловито приветлива»: она на работе, «и никогда не унижится до того, чтобы сорвать на первом встречном свою раздражительность»; ее работа и заключается в том, «чтобы посетителю было хорошо» и в 7 часов утра и в 1 час дня – «в этом ее рабочее достоинство» (с. 269–270). В пивном баре его поразили взаимная культура поведения и взаимоотношений посетителей и obsługi: «после-рабочие парни всех возрастов тянули пиво и обсуждали политические проблемы... без пьяных гарниров», а «хриплый буфетческий голос» не показался автору очерков «грубым» (с. 269).

Сквозной темой многих рассматриваемых произведений является польская культура, ее история и современность. Чаще других писатели обращались к А. Мицкевичу, но также Ю. Словацкому, скульптору В. Ствопу, к современным театральным художникам, режиссерам, писателям. Многие русские литераторы знали Я. Ивашкевича, бывали в его подваршавской усадьбе Стависко, где «темно от вязов и тесно от книг», – писал К. Паустовский и признавался, что именно здесь он почувствовал «подтекст» Польши, то, что вбирает в себя ее современность, реальность, повседневность и в то же время некую таинственность, полувидимость, полуслышимость. В самом Ивашкевиче Паустовский отмечал его «строгую и несколько утомленную настроенность... неожиданный юмор – он роняет его как бы невзначай – его страсть к скитаниям по земле, соединенная с высоким патриотизмом, его служение литературе, всепонимание»²³. Хорошо знавший Ивашкевича Эренбург, с которым они особенно сблизились в 60-е гг., отмечал, что он только «на первый взгляд» казался «баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но, – подчеркивает Эренбург, – никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много душевного смятения»²⁴. Многие деятели русской культуры знали и были дружны с В. Броневским, в котором ценили душевную щедрость и чувство живой связи с Польшей, ее судьбой и народом, а также привязанность к русской литературе, которую он пронес через все свои годы. «Поэт-интернационалист, верный сын польского народа, – писал о нем В. Огнев. – А я почему-то вспоминаю фото: старый могучий дуб с опаленной листвой, с могучими корнями» (с. 334).

В облике многих деятелей современной польской культуры, как и вообще у поляков – знакомых и малознакомых, русские писатели отмечали такое свойство, как ироничность. Это сильно сказывалось в восприятии Эренбургом А. Слонимского. Он «некоторым кажется англичанином, – писал Эренбург, – чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыта доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная... Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть слишком крепкая для другой страны, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами»²⁵.

Размышляя вообще о польской культуре, Эренбург особо для себя притягательным в поляках считал «страстность – она в национальном характере», – писал он, ссылаясь при этом на скульптуру В. Ствоша, поэзию Мицкевича и Словацкого, на народные песни. И продолжал: «Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения», которое – «не удел избранных. Оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины – в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи... Может быть именно эта насыщенность искусством притягивает меня в Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве»²⁶.

Пожалуй, чаще других деятелей польской культуры русские писатели вспоминали имя Ф. Шопена. Не удивительно: когда-то композитор Д. Кабалевский сказал, что Шопен – самый известный в России из зарубежных композиторов, и естественен интерес к его родине.

Проникновенно написал о композиторе Ю. Юзовский: «Когда мы слушаем Шопена, вспоминаем Польшу, когда едем по Польше – вспоминаем Шопена» («Поездка в Желязову Волю», с. 478). Описывая посещение музея, Юзовский признавался, что его «резануло», когда одна из посетительниц его шепотом произнесла: «только поляк может по-настоящему понять Шопена!». Писатель не согласился с этим, «так же», как никогда не соглашался с подобного рода утверждениями по отношению к русскому Ф. Достоевскому, ни к «очень поляку» Шопену. «Не удержавшись», Юзовский обратился к таким примерам, как первые премии шопеновских конкурсов в Польше, присуждавшиеся русским музыкантам, – «не потому ли, что они „по-настоящему“ понимали Шопена?» (с. 476). Через музыку композитора стремился Юзовский познать то, что «называют польский характер»: «Это синтез индивидуальности (самолюбиво подчас отстаиваемый) и судьбы родины, столь дорогой каждому поляку, когда его ущемленность в том и другом настойчиво ищет своего восполнения, что и приносит Шопен? Имеется в виду не только индивидуальность Шопена, но вообще индивидуальность, возвышенно поддерживаемая в нас Шопеном» (с. 475). Посетив шопеновские места, Ю. Куранов писал о Шопене: Это – «целый мир красоты и добра, великолепия и грусти»..., без него «мы все бы были несказанно беднее сердцем и дыханием, страданием и надеждой»²⁷.

Примечания

- ¹ По этой же аналогии возникали и другие подобные конструкты – например «белоэстонцы». А. Сурков, например, писал: «В ноябре 1918 пошел по партмобилизации на фронт. Участвовал в боях против белоэстонцев» // *Сурков А. Избранные стихи. 1925–1935. М., 1936. С. 5.*
- ² *Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки. М., 1960. С. 79.*
- ³ Отдельные фрагменты «Путевых заметок» Л. Никулина в 1936 г. были опубликованы в «Правде», «Литературной газете» и журнале «Огонек».
- ⁴ *Лидин Вл. Дорога на Запад // Знамя. 1940. № 2. С. 41.*
- ⁵ *Шкловский В. Рассказы о Западной Украине // Там же. С. 16-17.*
- ⁶ Там же. С. 33.
- ⁷ Стихи М. Львова здесь и далее цитируются по его сборнику: *Избранное. 1939–1974. М., 1976.*
- ⁸ *Субботин В. Отдельная глава // Как кончаются войны. М., 1968. С. 62-63.*
- ⁹ *Корнев А. Избранное. М., 1979;* стихи поэта приводятся также по его сборнику «Взорванный горизонт». М., 1962.
- ¹⁰ *Бауков И. Во имя нас. М., 1973.* Здесь и далее стихи поэта приводятся по этому сборнику.
- ¹¹ *Субботин В. Отдельная глава. С. 62.*
- ¹² РГАЛИ. Ф. 631. Инкомиссия ССП. Оп. 14. Отчет Н.С. Тихонова. Ед. хр. 664. Л. 5, 6. Далее ссылки на отчет Н. С. Тихонова будут приводиться по ед. хр. – 664 и номеру листа.
- ¹³ Там же. Отчет А.А. Суркова, ед. хр. 90. Л. 9. Далее ссылки на его отчет будут приводиться по ед. хр. – 90 и номеру листа.
- ¹⁴ *Солоухин В.А. Варшавские этюды // Мед на хлебе. М., 1978. С. 245.*
- ¹⁵ *Эренбург И. Собр. соч. Т. 9. М., 1967. С. 560.*
- ¹⁶ В тех случаях, когда произведение цитируется по сборнику «Книга друзей». М., 1975, в тексте приводятся номера страниц.
- ¹⁷ *Паустовский К. Третье свидание // Новый мир. 1963. № 6. С. 99.*
- ¹⁸ *Славин Л. Свидание с Польшей (1961) // Мой чувствительный друг. М., 1973. С. 245.*
- ¹⁹ *Паустовский К. Указ. соч. С. 95.*
- ²⁰ *Славин Л. Указ. соч. С. 248.*
- ²¹ *Паустовский К. Указ. соч. С. 96.*
- ²² Там же. С. 98.
- ²³ Там же. С. 96.
- ²⁴ *Эренбург И. Указ. соч. С. 562.*
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ Там же. С. 561–562.
- ²⁷ *Куринов Ю. Там ночной снегопад // В мире книг. М., 1974. С. 62.*

Россия и русские в польской лагерной прозе

Проблематика возникновения и функционирования в любой национальной культуре обобщающего образа другой страны, другой нации – благодатное поле для исследований. Присмотримся ближе к образу России и русских в том фрагменте польской литературы, который составляет так называемая лагерная проза – произведения о пребывании в советских лагерях принудительного труда поляков, депортированных в СССР в годы Второй мировой войны.

Созданный бывшими эсками лагерный эпос стал общей трагической биографией сотен тысяч польских граждан, вывезенных в качестве заключенных или спецпереселенцев в отдаленные местности Советского Союза с занятых Красной Армией в 1939 г. польских восточных территорий. Он содержит сведения о судьбах широких категорий населения, ставших жертвами советского режима, – солдат и офицеров Армии Крайовой, крестьян, творческой интеллигенции, государственных служащих, католического духовенства, детей¹. Какой вошла в коллективное сознание этих людей Россия эпохи сталинизма? Какова была польская интерпретация ГУЛАГа? Что из пережитого в те годы досталось в наследство современному поколению?

Пожалуй, любой ответ на эти вопросы окажется неполным или спорным, однако стоит пытаться его искать. Свою задачу я видела в том, чтобы в прозе, зафиксировавшей этот исключительный опыт, исключительные состояния и обстоятельства, различить оттенки восприятия «иного мира», в который массы поляков были вовлечены карательной политикой Сталина.

Для анализа было отобрано более 20 произведений разнообразных повествовательных жанров (преимущественно художественная документалистика), изданных в основном в 40–50-е гг. в эмигрантских изданиях, а также созданных в разные годы в Польше. Лагерная тема представлена в них как основная, в качестве фона или отдельных эпизодов. Примечательно, что литература о сталинских лагерях не знает поверхностных стереотипов. Россия с ее установившимся советским бытом представлена в ней удивительно разнообразно. Вот наиболее заметные штрихи этой панорамы.

1. Россия как географическое понятие.

География депортаций поляков в глубь СССР была чрезвычайно широка. Главные потоки репрессированных в 1940–1941 гг. и 1944–1945 гг. (по данным польских и западных источников – от полутора до 2 млн. человек²) направлялись, как правило, в один из многочисленных лагерей или поселков для спецпереселенцев, расположенных на Кольском полуострове, Чукотке, Колыме, Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и

Казахстане³. Этим, вероятно, можно объяснить, что понятие «Россия» в польской литературе лагерной темы не совпадает с ее географическими границами. В одном случае это слово отсылает к территории Сибири и шире – русского Севера (ср.: «поехать <...> к белым медведям»⁴), в другом – и гораздо чаще – оно означает помимо европейской еще и «азиатскую Россию»⁵ и сближается с понятием Wschód (Восток), обозначающим не только Россию, но также Белоруссию, Украину и другие территории, расположенные на востоке от Польши.

2. Россия как terra incognita

вызывает ощущение чего-то непонятного, непостижимого, пугающего; кажется незнакомой областью, неизвестной землей, где все окружающее поражает своей инаковостью. Этот мир неспокоен, враждебен пришельцу⁶.

3. Россия как царство природы

неизменно восхищает поляков, открытых для малейших проявлений прекрасного⁷. Но какой бы восхитительной ни представляла эта земля, для них она всегда «чужбина»⁸.

4. Россия как фантастический мир.

Встречается ее сравнение со «страной Гулливера». Основа для подобного сближения очевидна⁹.

5. Россия как аномалия.

В парадигму аномалий включены три основных элемента: холод/жара, время и пространство, которые превращают жизнь в ее противоположность – «антижизнь».

6. Россия как страна контрастов.

Характерно цветовое восприятие России, в котором всего 4 краски – черная, белая, серая и красная. «Не было видно более живого цвета, только: черный, серый, грязно-бурый, белый и вновь серый», – замечает Ю. Мацкевич в романе «Контра»¹⁰. У Т. Витглина читаем: «...на столах, покрытых красным сукном, лежат журналы и брошюры, а <...> в обитых красным плюшем креслах <...> гнездятся не менее красные клопы»¹¹. Стоит подчеркнуть, что столь же выразительно описаны социальные контрасты: роскошь, в которой живет советская аристократия – высшие партийные чины – и нищета народа¹².

Что касается цветообозначения, ограничусь замечанием об особой роли, которую играют цветовые характеристики человека и окружающего его мира. С помощью цвета выражается внутреннее состояние героев (ср.: «черные хлопья снега»). Цвет является также средством характеристики персона-

жей, сигнализируя их социальную принадлежность: «...хромой Вася в черной войлочной обуви, черных ватных штанах, черных матерчатых рукавицах, черной ватной куртке, подпоясанной веревкой, черной упанке <...> и подбородком, прикрытым черным воротником. Его черное от грязи и копоты лицо заросло черной с проседью щетиной многомесячной давности»¹³. Кроме того, цвет имеет символическое значение (ср.: «мир белой смерти»).

Любопытно, что польские писатели-лагерники уловили некоторые центральные компоненты художественного образа России, присущие национальной традиции русских и проявившиеся в разных видах словесного и изобразительного искусства. Однако у поляков цветовые ассоциации оказываются иными. В русской традиции сочетание белого, черного и красного цветов является одним из элементов поэтики праздничных мотивов и ситуаций, так как нередко отождествляется с понятием красоты (ср.: «белоллица, черноброва», «кровь с молоком»). Лексемы, обозначающие данные цвета, имеют (помимо других значений) глубоко укоренившиеся в национальном сознании и культуре позитивные коннотации (ср.: «темна ноченька», «все белым-бело»). В особенности это касается лексемы «красный», первоначальное значение которой – «красивый». В Словаре русского языка С. И. Ожегова отмечается, что это слово помимо обозначения цвета и выражения принадлежности к революционной деятельности, советскому социалистическому строю и Красной Армии употребляется в народной речи и поэзии для обозначения чего-то хорошего, яркого, светлого или ценного (ср.: *красный денек, красное солнышко, весна красна, красная девица, красный зверь, красное слово, красный угол, красный товар, красная цена, долг платежом красен* и др.).

В польской лагерной прозе та же лексема осмысливается иначе: «красный» кроме своего основного значения («цвета крови») воспринимается как знак пропаганды и советской власти (ср.: «красно от транспарантов», «красные плакаты с изображением Ленина», «красная звезда на черной шапке охранника»).

Использование всей полноты семантики лексем польского языка, обозначающих вышеуказанные цвета, включая лексему «серый» (ср.: «черный» – цвета сажи/угля, темный, потемневший, грязный; «серый» – цвета пепла; бледный, с землистым оттенком; невыразительный, пасмурный; «красный» – цвета крови, кровавый; атрибут «красной» – большевистской – России), усиливает гнетущее впечатление от жизни при советском режиме, неотъемлемой частью которой стал ГУЛАГ. Для иллюстрации уместно привести несколько примеров.

Черный – «черные лужи», «черные ветви деревьев», «черный песок», «черная пропасть болот», «хлопья черного снега», «сажа темноты», «черная завеса воздуха», «черные баржи», «черная тюремная машина», «чернеющая толпа на перронах», «чернеющие решетки», «черные ногти охранника» и др.

Белый – скованное морозом белое пространство», «однообразная снежная белизна», «болезненно бледный свет <...> белой сибирской ночи», «белая известка стены», «мир белой смерти», «поехать к белым медведям» и др.

Серый – «серые дома», «серый мешок заключенного», «серое вонючее мыло», «серые клубы пара тюремной бани», «серые лица», «серая, мертвая деревня», «серая тюремная жизнь», «серая мгла сибирского рассвета» и др.

Красный – «красное сукно», «красные плакаты/транспаранты», «красная звезда», «красные погоны», «красные клопы», «красные ящики смерти» (о «краснухах» – телячьих вагонах для перевозки заключенных – В. Т.).

К сказанному можно добавить, что в прозе о сталинских лагерях широко используются цветообозначения, построенные по принципу контраста черно-белых тонов (ср.: «ночь и белая луна над тюремным двором», «спотыкаясь и скользя по белизне снега, мчался табун черных теней», «черно-белая изба, полная спящих вповалку заключенных, напоминала гравюру к дантовскому „Аду“», «черный каменный пол и белый потолок камеры смертников»). Образное пространство аскетического, жесткого рисунка вызывает не только ощущение неуютного и чужеродного мира, отключенного от живых источников жизни. Оно поддерживает убеждение в том, что черно-белую схему этого искаженного мира, устроенного по образцу приходно-расходной книги, мог вычертить только сталинизм.

7. Россия – страна бедняков.

Основа для такого суждения – реалии столкнувшейся с войной жизни: плохое снабжение населения, нехватка продовольствия (советские солдаты «не знали, как едят масло – они мазали его на пирожные с кремом»¹⁴). К подобному взгляду на Россию приводил очевидцев также низкий уровень организации национального быта:

«Говорим официантке:

– Дайте чаю.

– Чаю нет.

– Дайте кипятку.

– Кипятку нет.

– А вода есть?

– Есть.

– Тогда дайте воды.

Ушла, через минуту вернулась. Сказала, что не может дать воды, потому что ее не в чем подать – нет ни стаканов, ни чашек. Удивившись, говорим, что можно налить воду в те глубокие тарелки, в которых был суп, ведь надо же как-то напиться. Снова ушла, а вернувшись, ответила: – Хозяин сказал, что нельзя – некультурно»¹⁵.

8. Россия как страна «самых больших парадоксов».

Здесь либеральные законы запрещают труд несовершеннолетних, и потому они умирают от голода на пайке («ждивенца»), здесь кормят коров соломой, в то время как сено гниет в поле, здесь продавец может выдать дошкольникам сдачу презервативами. «Слова <...> „двенадцать лет – Архангельская область“, „десять лет – Новосибирск“ они произносили с такой легкостью, как будто говорили: „я еду <...> на шесть недель в Швейцарию“ или „на месяц в Париж“»¹⁶. Словом, это «мир пирамидального абсурда»¹⁷.

9. Россия – страна иной культуры.

«Когда в Польше говорили „Европа“, никогда не принимали в расчет Россию», – замечает М. Ванькович¹⁸. В глазах поляков, считающих себя европейцами, русская бытовая культура предстает далекой от цивилизации Запада, более того, ее образ – с налетом вульгарности и безвкусицы – нередко окарикатурен. Другое дело – интеллектуальный уровень культуры русского народа, в особенности классическая литература и музыка. Эта сфера художественного пространства воспринимается как родственная культурным ценностям Западной Европы («Публика понимала музыку так, как только понимают и умеют оценить исполнителей русские»¹⁹).

10. Россия как западня.

Она кажется «мертвой точкой», ловушкой, единственный выход из которой – бегство²⁰.

11. Россия – страна «рабов XX века».

Отсюда исходит «обессиляющая волна рабства». Это ад, построенный на земле коллективной волей, которому дано множество определений (зачастую они становились заглавиями произведений): «дом неволи» (Б. Обертыньская), «страна неволи», «республика узников» (Я.К. Умястовский), «расширенная зона» (Б. Скарга), «кошмарная страна», «проклятая земля», «дно ада», «место <...>, забытое Богом и людьми», «Голгофа» (Т. Витглин), «бесчеловечная земля» (Ю. Чапский), «иной мир», «мертвый дом», «земля мучений», мир «прикованных к галерам рабов «русской земли»» (Г. Херлинг-Грудзинский)²¹.

12. Россия как точка столкновения двух миров.

Для поляков это место отторжения «западной стороны» от «восточной», нормы от аномалии, всего, что связывалось для них с понятием «там» и понятием «здесь». «Там» означало Польшу, а значит, Европу с ее идеями гуманизма, свободы и заботы о личности. «Здесь» воплощалось в бесчеловечности, рабстве, деперсонализации человеческой массы. «Западная сторона» знаменовала надежду на жизнь, «восточная» – на смерть,

но смерть особенную – «без ксендза и последнего утешения, без облачения, без гроба и огражденной могилы»²².

13. Россия как советский «рай».

Если Kresy (восточные окраины бывшей Речи Посполитой) воспеваются в польской литературе как «разрушенная Аркадия», «утраченный рай»²³, то в нашем случае Россия тоже изображается как парадиз, пропуском в который служит «советская виза» – следы цинги. Страна Советов видится царством лжи, показухи и обмана, в котором участвуют как государство, так и его граждане. В ней процветают лицемерие, взяточничество, воровство; царят фарс законов, «спектакль» судебных решений, «комедия» справедливости; жизнь русских пропитана страхом, недоверием и подозрительностью. Изопренность политического доноса «не породила бы даже больная фантазия Достоевского». Это всеобщее безумие – плод системы, которая подминает под себя другие народы и страны, в том числе Польшу: «взглянув на кольцо <...>, он придвинулся к лампе и тщательно соскреб корону с изображения орла. Теперь даже мой орел <...> стал похож на агента»²⁴. В советском «раю» одно хорошо – «бесплатный кипяток»²⁵.

14. Россия как тоталитарная система

рассматривается в контексте европейского представления о ней как деспотии, имеющей продолжение в тоталитаризме XX в., и польского взгляда на большевизм как «красный царизм», выраженного в стереотипе «вечной» – вначале царской, затем коммунистической – России, угрожающей существованию польского народа²⁶. Открытием в лагерной теме польской литературы является сопоставление (по сходству и различию) гитлеризма и советизма как проявлений сущности двух тоталитарных империй²⁷.

15. Россия как «театр».

Такое сравнение – больше чем художественный прием, это скорее гипотеза, раскрывающая (на основе подлинных фактов) сущность сталинской системы²⁸. Кроме того для поляков Россия – это историческая сцена, где актеры-поляки разыгрывают польскую драму²⁹.

16. Россия как братская могила поляков.

В исторической памяти польского народа Россия стала знаком репрессий и мученической гибели сотен тысяч сограждан³⁰.

17. Россия – враг независимой Польши.

«Советское правительство сбросило маску, – писал в своих воспоминаниях генерал В. Андерс. – <...> Россия уже ясно определилась как враг

свободной Польши. <...> Тень России пала на мир. <...> Польша стала первой, но не последней жертвой надвигающегося с Востока кошмара»³¹.

Подобный (и весьма распространенный) взгляд на Россию сформировался на почве прошлого, а также последствий сталинской диктатуры в отношении поляков. В его основе лежала цепь красноречивых эпизодов в советско-польских отношениях до и во время Второй мировой войны – подписание советско-германского договора 1939 г., аннексия восточных территорий второй Речи Посполитой, массовые аресты и депортации огромного числа польских граждан, убийство интернированных польских солдат и офицеров – участников сентябрьской кампании, гибель восставшей Варшавы, процесс «шестнадцати» (арест руководителей польского подпольного государства во главе с генералом Л. Окулицким – В.Т.) и др.

18. Россия – союзник Народной Польши.

Другой точкой зрения является психологический подход к Советскому Союзу той части поляков, чье сознание подверглось здесь индоктринизации. Они воспринимали СССР в качестве гаранта сохранения нарождающейся в Польше новой власти³².

19. Россия как стихия контрреволюции.

Единственным примером взгляда на Россию с иной перспективы – участников развернувшегося здесь в годы войны антибольшевистского, антисоветского движения, направленного на борьбу с коммунизмом, – является роман Ю. Мацкевича «Контра»: «Не только в тюрьмах, лагерях, изоляторах, на каторгах и в казематах: в городах и колхозах люди обращали лица на запад и в ожидании чуда всматривались в приближающуюся войну. После двадцати четырех лет рабства – ждали освобождения. После двадцати четырех лет большевизма – ждали его конца»³³.

20. Россия как смерть.

Ту же смысловую нагрузку несут слова «Колыма» и «Сибирь»³⁴. Образ смерти, небытия создает поток метафор: «баржа <...> как плавающий гроб», «грязные красные ящики смерти – товарные вагоны для перевозки человеческого материала», «белые кладбищенские березы в тундре», «грядки не подстриженных кустов <...> как забытые могилы». Тот же смысл имеют отдельные топонимы, например, узбекское название местности, означающее в переводе «Долина смерти»³⁵.

21. Россия как «призрак».

Мечется между мрачными уральскими городами, словно неуловимый «корабль-призрак», поезд со спецпереселенцами; из «вагонов-призраков» выбрасывают на ходу трупы; заключенные похожи на «при-

видения», существа «с того света»; поляки возвращаются на волю «как из могилы, оставляя за собой призрак страшной смерти»³⁶.

Можно допустить, что слово «widmo» (призрак, привидение) – ключевое, оно встречается в прозе о лагерях ГУЛАГа довольно часто и в отдельных случаях (М. Ванькович) придает фрагментам повествования поумистический оттенок. Размывается грань реальности, сдвигаются оба плана – земного и потустороннего, через вакханалию реальной тирании просвечивает вакханалия фантазмагорическая. Возникает ощущение пугающей чужеродности по отношению к предметам и явлениям, которые вторгаются в материальную действительность из какого-то другого места, уклоняясь от законов физического мира.

22. Россия как новый духовный опыт.

Пребывание в России порой оценивается как расширение опыта познания религиозно-нравственных ценностей. Такое видение вписывается в католическую концепцию действительности, наиболее полно отраженную в книгах о ГУЛАГе польских священников³⁷. Кроме того, то, что обычно называют духовным зрением, полетом духа, присуще многим литературным записям светских писателей и воспоминаниям очевидцев. В них скрупулезно фиксируются малейшие проблески человеческого участия и формулируется главная мысль: через все народы России шла волна страдания, и потому все людские души одинаковы. «Двухлетнее пребывание в СССР, – читаем в одном из воспоминаний, – это не загубленная молодость, как многие ошибочно утверждают. Там мы поняли ценность человеческих отношений, научились жить с теми, кто отличен от нас, и узнали цену величайшему дару – свободе»³⁸.

23. Русские глазами поляков.

Если в сознании рядовых граждан СССР слова «русский» и «советский» слились в нераздельное целое, то в массовом восприятии поляков, отождествляющих Россию с советским тоталитаризмом, те же слова имели разные смысловые оттенки. Когда речь шла о лучших людях нации, страданиях и героизме народа или созданных им ценностях культуры, употреблялось, как правило, слово «rosyjski» (русский), в то время как в описании реалий коммунистического режима использовалось другое определение – «sowiecki» (советский). Ср.: «Rosyjska Mater Dolorosa, której syna pognali na Gołgotę Gór Uralskich» «rosyjskie zespoły muzyczne są najlepsze w świecie», «stara rosyjska inteligencja», но «sowieccy pogranicznicy/żołnierze», «sowiecka stacja», «sowiecka cywilizacja», «sowiecka świńska tuszonka», «Związek Sowiecki», «sowieckie państwo», «sowiecka Ojczyzna», «ruski ideał <...> w sowieckim systemie», «stara rosyjska i sowiecka inteligencja» и др.³⁹.

Разное содержание понятий «русский» и «советский» отчетливо про- ступает в коллективном национальном образе. В первом случае «про- филь» русского включает такие черты, как:

1. Самоотверженность, доброта.
2. Чувство собственного достоинства.
3. Жертвенность, героизм, мученичество.
4. Сознание причастности к судьбе своего народа.

Иначе рисуется характер, подвергнувшийся советизации. Его опре- деляют:

1. Безжалостность (иногда в сочетании с добродушием).
2. Крайняя жестокость, переходящая в садизм.
3. Примитивность, необразованность, вульгарность.
4. Лживость и изощренное лицемерие.
5. Обман и воровство.

Примечательно, что польская лагерная проза не пробуждает в чи- тателе враждебности к особи, названной «настоящим советским чело- веком»⁴⁰. Она видит в этих людях жертвы механизма, который «ломает своих и чужих», иначе говоря, «советизирует» человеческий материал: «бедные, мы были в их власти, но они боялись даже думать. Я, узница, была более свободна. Могла ли я <...> ненавидеть?»⁴¹.

Промежуточным между названными типами русского характера можно, вероятно, считать еще один «профиль», который формируют следующие признаки:

1. Чувство страха.
2. Пассивность.
3. Вежливость, ум, образованность, европейский уровень культуры (отдельных личностей).
4. Любовь к искусству.
5. Дикий, иррациональный порыв.
6. Тревожающая европейского человека неразгаданность русской души:

«Ведь это был москаль – не брат-москаль, не москаль-декабрист, обычный москаль в советском мундире и с советской звездой на фураж- ке <...>. И я должен пить с ним за Старобельск и Катынь? А может за со- ветский Львов и советский Вильнюс? Или за успехи русской контрраз- ведки? <...> Вдруг я понял, что мы никогда не узнаем, с чем он сюда пришел и с чем завтра уйдет, кого каждый вечер оплакивает или про- клинает, убивая себя вонючей водкой. <...> Мы еще долго сидели в но- чи <...>, а он монотонно тянул свое «ммммм», как немой, который хочет, но не умеет или не может рассказать кому-то о своих страданиях»⁴².

Итак, перед нами целый набор образов, которые формировались в разных сферах восприятия России и русских – бытовой, историко-фило- софской, художественной. Не все из отмеченных здесь представлений о

России (этот список далеко не полон) переходят в разряд стереотипов. Однако взятые в совокупности, эти представления особым образом организуют как отдельные тексты, так и литературу лагерной темы в целом.

Главным принципом этой прозы является строгая фактическая основа, а наиболее общей чертой – преобладание автобиографий, документальных повествований с невымышленными событиями и лицами, а также личных свидетельств, авторы которых передавали подробности быта и моральную атмосферу жизни в СССР. Кроме поляков героями литературы о ГУЛАГе были украинцы, белорусы, литовцы, евреи, немцы, жители Средней Азии, представители других национальностей, но главным образом – русские.

Из этих «документов души» (В. Шаламов) вырастают художественно-документальные и художественные произведения. Они создаются в разные годы и в разных частях света не связанными между собой писателями, однако в них прорисовывается общий облик России (порой в нем совпадают даже отдельные детали), который вызывает ассоциации с миром русской каторги, подробно описанным Ф. Достоевским, Л. Толстым, А. Чеховым и другими летописцами острогов и ссылок прошлого века. Кстати, прямые отсылки к «Запискам из Мертвого дома» являются одной из особенностей польской лагерной прозы (наиболее яркий пример – «Иной мир» Г. Херлинга-Грудзиньского).

С другой стороны, в глазах поляка сталинские лагеря – это «русская каторга плюс советизация»⁴³, что сближает лучшее из написанного о них с «Архипелагом ГУЛАГ» А. Солженицына, «Колымскими рассказами» В. Шаламова, прозой Е. Гинзбург. Примечательно, что самые известные книги польских авторов – Ю. Чапского, Г. Херлинга-Грудзиньского, А. Краковецкого, Б. Обертыньской и др. – опередили во времени появление этих произведений, выходящих за рамки чисто литературных явлений русской культуры. Замечу, что интересно было бы, во-первых, сопоставить польскую литературу лагерной темы с книгами о ГУЛАГе русских писателей, во-вторых, прояснить, как соотносится русская тема в польской лагерной прозе с тем образом России, который бытует в историческом сознании нации, в том числе наших современников. Однако есть смысл посвятить этим вопросам отдельные исследования.

К сказанному можно добавить, что в работах, рассматривающих проблемы формирования в польской литературе и общественном сознании символов и национальных стереотипов, отмечается распространённость негативного⁴⁴, в лучшем случае амбивалентного образа России⁴⁵. Представляется, что польская литература лагерной темы, с одной стороны, несла негативное восприятие России и русских, которое упрочилось в коллективной памяти поляков после Второй мировой войны, добавив-

шей к существовавшему в их менталитете комплексу Востока новые болевые точки и психологические травмы. Этот вывод косвенно подтверждают данные анкетирования польской молодежи, проведенного в 1993 г. профессором университета им. М.Кюри-Склодовской в Люблине Е.Барминьским и положенного в основу его исследования⁴⁶. Так, польские студенты считают, что русский человек «открыт, бережлив, предприимчив», но вместе с тем «покорен, агрессивен, некультурен, нечестен, малопатриотичен, пьяница и неверующий». По наблюдениям польского ученого в данном «профиле» на первый план выдвигаются два бытовых признака — «бедность и пьянство»⁴⁷.

С другой стороны, проза о сталинских лагерях сделала множество записей, раздвинувших границы представлений о России и свойствах русской души, существовавшие в польском культурном коде. Запечатлев один из самых трагических эпизодов нашей совместной истории, она не разжигала вражды к русским. Напротив, несла идеи терпимости, взаимопонимания и преодоления разделяющей народы неприязни. Вслушаемся в ее живой голос:

«Patrzyłem na żołnierzy, otwierających drzwi wagonów i myślałem: „Więc to jest tak, właśnie tak, jak mi opowiadano. Bydłęce wagony i ludzie, którzy otwierają je dla ludzi. Rosjanie, którzy otwierają je dla Polaków. Tu my, a tam oni. Jak zawsze. Rosjanie. Ale czy naprawdę tylko Rosjanie? <...> Więc dobrze, komuniści. Rosjanie-komuniści. Ale czy to już wszystko? Czy to na pewno coś wyjaśnia? Nasz major jest jednym z nich <...> Ale także jednym z nas. <...> Może on także musiał kiedyś jechać takim wagonem. Może też klęczał na jakichś rosyjskich dworcach i czekał na jakiś rosyjski pociąg. Więc jak jest z tobą, majorze? Mam cię nienawidzieć. Muszę cię nienawidzieć. Wobec tego kim jesteś? I kim ja jestem? Co nas łączy? I co nas dzieli? <...> I czy zawsze tak będzie, aż do konca? Czy nikt tego nie zmieni, nie odwróci?“»⁴⁸.

Примечания

- ¹ В специальных исследованиях и публицистике свидетельства детей и подростков рассматриваются как «исключительный по важности исторический, социологический и литературный документ», в них видят «малую историю» судеб поляков в России, содержащую детали, отсутствующие в воспоминаниях взрослых. См. об этом, например: «W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali». Polska a Rosja 1939–42 / Wybór i oprac. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross. Wstęp J.T. Gross. Londyn, Wyd. Aneks, 1983; То же: Warszawa, Wyd. Res Publica i Libra, 1990. S. 11–12. Далее цитируется по этому изданию.
- ² См., например: *Siedlecki J. Losy Polaków w ZSSR w latach 1939–1986*. Wyd. 3. Londyn, Gryf Publications, 1990. S. 46; *Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR, 1939–1945. Przegląd piśmiennictwa / Pod. Red. T. Walichnowskiego*. Warszawa, PWN, 1989. S. 11, 23, 24; *Żagoń Z. Wojenne losy ludności polskiej na obczyźnie w latach 1939–1947*. Warszawa; Londyn, UNICORN Publishing Studio, 1994. S. 47.
- ³ См., в частности: *Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней*. Варшава, Науч. изд. ПВН, 1995. С. 279; *Żagoń Z. Op. cit.* S. 46–47.

- ⁴ «W czterdziestym nas Matko...». S. 64.
- ⁵ Эти понятия («Rosja Europejska», «Rosja Azjatycka») встречаются также в специальных работах, посвященных проблеме депортаций поляков в СССР. См., например: *Siedlecki J.* Op. cit. S. 45. Из литературных примеров приведу один: *Isfahan miasto polskich dzieci.* Wyd. 2. Londyn, 1988. Цит. по: *My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrow i zsyłek w ZSRR / Wybór i oprac. B. Klukowski.* Warszawa, Wyd. ALFA, 1989. S. 285.
- ⁶ Приведу отдельные примеры: *Wańkiewicz M.* *Dzieje rodziny Korzeniewskich.* Tel Awiw, 1942; То же: *Rzym, Bibl. «Orła Białego», 1945. S. 47.* Далее цитируется по этому изданию. *Isfahan miasto polskich dzieci... S. 272, 273, 276, 277.*
- ⁷ Ограничусь несколькими примерами: *Wańkiewicz M.* *Dzieje rodziny... S. 26;* *Krakowiecki A.* *Książka o Kołumie.* Londyn, Wyd. Veritas, 1950. Цит. по: *My deportowani... S. 152;* *Obertyńska B.* (псевдоним Marta Rudzka). *W domu niewoli.* Rzym, Bibl. «Orła Białego», 1946. Цит. по: *Polacy w ZSRR. 1939–1942. Antologia / Oprac. i wstęp M. Czapskiej.* Warszawa, PWN, 1991. S. 24; *Czuchnowski M.* *Tyfus, teraz słowiki.* Londyn, Wyd. Modern Writing, 1951. Цит. по: *Polacy w ZSRR... S. 290;* *Wittlin T.* *Diabeł w raju.* Londyn, Wyd. Gryf, 1951; То же: *Warszawa, Wyd. Polonia, 1990. S. 112.* – Далее цитируется по этому зданию. См. также *Fedorowicz T.* *Drogi Opatrzności.* Lublin, Wyd. Norbertinum, 1991. S. 81–83, особенно S. 149, где перечислено около 80 (sic!) видов степных растений Казахстана.
- ⁸ *Isfahan miasto polskich dzieci... S. 276.*
- ⁹ М. Ванькович сравнивает советскую Среднюю Азию со «страной Гулливера», где «все имеет другие измерения». Сатира Т. Витлина «Дьявол в раю» открывается главой «Сон Гулливера», в которой сказочный сюжет сновидения героя продолжается в фантазмагорической картине эковского быта. См.: *Wańkiewicz M.* *Dzieje rodziny... S. 9–10; S. 48.*
- ¹⁰ *Mackiewicz J.* *Kontra.* Paryż, Instytut Literacki, 1957; То же: *Warszawa, Wyd. Baza, 1989. S. 63.* Здесь и далее цитируется по этому изданию. Если не указано иначе, приведенные в статье цитаты даются в моем переводе.
- ¹¹ *Wittlin T.* Op. cit. S. 199.
- ¹² См., например: *Wittlin T.* Op. cit. S. 188–189; «W czterdziestym nas Matko...». S. 78–79, 82.
- ¹³ *Wittlin T.* Op. cit. S. 15.
- ¹⁴ «W czterdziestym nas Matko...». S. 78, 82. *Skarga B.* (псевдоним Wiktorja Kraśniewska). *Po wyzwoleniu... 1944–1956.* Paryż, Instytut Literacki, 1985; То же: *Poznań, Wyd. «W drodze», 1990. S. 235.* Далее цитируется по этому изданию.
- ¹⁵ *Fedorowicz T.* Op. cit. S. 47.
- ¹⁶ *Wittlin T.* Op. cit. S. 108.
- ¹⁷ *Skarga B.* Op. cit. S. 5, 192, 235. См. также: *Wańkiewicz M.* Op. cit. S. 53, 55; *Wittlin T.* Op. cit. S. 200, 233.
- ¹⁸ *Wańkiewicz M.* Op. cit. S. 53, 55;
- ¹⁹ *Wittlin T.* Op. cit. S. 208. См. также S. 36, 37, 157.
- ²⁰ *Wittlin T.* Op. cit. S. 34, 40, 199; *Isfahan miasto polskich dzieci... S. 262.*
- ²¹ *Skarga B.* Op. cit. S. 192, 206; *Wańkiewicz M.* Op. cit. S. 45; *Obertyńska B.* Op. cit.; *Umiastowski J.K.* *Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939–1942.* Londyn, Bibl. pamiętników, 1947. Цит. по: *My deportowani... S. 239–240;* *Wittlin T.* Op. cit. S. 98, 123, 189, 198; *Czapski J.* *Na nieludzkiej ziemi.* Paryż, Instytut Literacki, 1949; *Herling-Grudziński G.* *Inny świat. Zapiski sowieckie.* Londyn, Wyd. Gryf, 1951; То же: *Warszawa, Czytelnik, 1992;* *Герлинг-Грудзинский Г.* *Иной мир. Советские записки.* Пер. с польск. Н. Горбаневской. М., 1991. С. 161–162, 169. Далее цитируется по этому изданию.
- ²² *Wańkiewicz M.* Op. cit. S. 59.
- ²³ См., например: *Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni / Pod red. E. Czapplewicza i E. Kasperskiego.* Warszawa, 1996. S. 16.
- ²⁴ *Ścibor-Rylski A.* *Pierścionek z końskiego włosa.* Warszawa, 1991. S. 298.

- 25 My deportowani... S. 263; Такой видели Россию, в частности, *Skarga B.* Op. cit. S. 194–199; *Wańkowicz M.* Op. cit. S. 63; *Witlin T.* Op. cit. S. 93; *Anders W.* Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946. Newton, Montgomeryshire Print. Comp., 1946; То же: Lublin, 1992. S. 361. Далее цитируется по этому изданию.
- 26 См. об этом, в частности: *Prokop J.* Mit Rosji w dziesięcioletniej Polsce [w:] *Współczesni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów / Pod red. M. Bobrownickiej, L. Suchanka, F. Ziejki.* Kraków, 1997. S. 184, 186, 189.
- 27 См., например: *Skarga B.* Op. cit.; *Krakowiecki A.* Op. cit.; *Herling-Grudziński G.* Op. cit.
- 28 *Czaplewicz E.* Polska literatura łagrowa. Warszawa, 1992. S. 68.
- 29 *Skarga B.* Op. cit. S. 153, 154.
- 30 Например: *Czapski J.* Wspomnienia starobielskie. Rzym, Bibl. «Orla Białego», 1944; *Ezo жсе: Na nieludzkiej ziemi...*; *Krakowiecki A.* Op. cit.; *Wańkowicz M.* Op. cit.; *Stocki A.* Barża. Цит. по: Polacy w ZSRR...
- 31 *Anders W.* Op. cit. S. 205, 460, 467.
- 32 См., в частности: *Dańko B.* Nie zdążyli do Andersa (Berlingowcy). Londyn, Wyd. UNICORN, 1992.
- 33 *Mackiewicz J.* Op. cit. S. 55.
- 34 См., например: *Krakowiecki A.* Op. cit; *Grabski R.* Cz. Gdyby nie Opatrzność Boża... Wspomnienia zesłańca. 1940–1955. Paris, Ed. Spotkania, 1985.
- 35 См. *Wańkowicz M.* Op. cit. S. 52, 56, 75; *Witlin T.* Op. cit. S. 120.
- 36 *Wańkowicz M.* Op. cit. S. 41, 64; *My deportowani...* S. 258.
- 37 См., в частности: *Fedorowicz T.* Op. cit.; *Grabski Cz.* Op. cit; *Kuczyński J.* Między parafią a łagrem. Paris, Wyd. Spotkania, 1985; *Bukowiński W.* Wspomnienia z Kazachstanu. Paryż, Wyd. Spotkania, 1979.
- 38 *My deportowani...* S. 286. См. также: *Wańkowicz M.* Op. cit. S. 48.
- 39 *Witlin T.* Op. cit. S. 61, 121, 198, 199, 208; *Skarga B.* Op. cit. S. 19, 49, 141, 200, 216, 237.
- 40 «Настоящий советский человек – homo soveticus – это <...> выделенная из человеческого сообщества особь, ломпен, маргинальное существо или (что в сущности одно и то же) человек низко павший, с изломанным характером, который с завистью смотрит на тех, кто не изменил собственной совести» – *Gross J.T.* Przedmowa. [w:] *W czterdziestym nas Matko...* S. 73. См. также: *Skarga B.* Op. cit. S. 203.
- 41 *Skarga B.* Op. cit. S. 19.
- 42 *Scibor-Rylski A.* Op. cit. S. 291–293.
- 43 *Czaplewicz E.* Op. cit. S. 87.
- 44 См., например: *Хорев В.А.* О стереотипе и убеждении в литературе (на материале польской и русской литературы) // «Путь романтический совершил...». Сборник статей памяти Б.Ф. Стахеева. М., 1996. С. 150–167.
- 45 См., в частности: *Prokop J.* Op. cit. S. 185.
- 46 *Бартминьский Е.* Этноцентризм стереотипа. Польские и немецкие студенты о своих соседях // *Славяноведение.* 1997. № 1. С. 12–24.
- 47 Там же. С. 20.
- 48 «Я смотрел на солдат, открывающих двери вагонов, и думал: „Да, это так, именно так, как мне рассказывали. Телячьи вагоны и люди, которые открывают их для людей. Русские, скрывающие их для поляков. Здесь мы, а там они. Как всегда. Русские. Но только ли русские! <...> Хорошо, коммунисты. Русские – коммунисты. Но разве это все? Разве это действительно что-то объясняет? Наш майор – один из них. <...> Но он также – один из нас. <...> Может ему тоже пришлось когда-то ехать в таком вагоне. Может и он стоял на коленях на каких-то русских вокзалах в ожидании русского поезда. Так что же, майор? Мне нужно тебя ненавидеть. Я должен ненавидеть. Так кто же ты? И кто я? Что общего между нами? И что нас разделяет? Всегда ли так будет? И никто этого не изменит, не переменит?“» (*Scibor-Rylski A.* Op. cit. S. 301–302).

Русская литература в творчестве Марии Домбровской (Домбровская и Л. Толстой)

Психологическую атмосферу, связанную с отношением польской интеллигенции к русской литературе, Домбровская воспроизвела в романе «Ночи и дни». Ее героиня Агнешка Нехциц пережила тяжелую психологическую ломку, когда начала учиться в русской гимназии, где «ставились двойки за польский акцент», преподавание велось на русском языке, и классная дама строго следила за тем, чтобы девочки говорили только по-русски. Но пытливая Агнешка искала решения этих проблем в произведениях русской литературы.

«Какое-то мучительное любопытство, – анализирует состояние героини Домбровская, – влекло ее к русским книгам... И словно для того, чтобы еще увеличить ее муку, от этих произведений исходило непреодолимое очарование; в их атмосфере она жила, как околдованная. Персонажи из украинских повестей Гоголя, из романов Гончарова и Тургенева, из прозы Пушкина и Лермонтова были как живые, они проникали в душу, обступали ее, словно близкие знакомые, и, казалось, спрашивали: „За что ты нас ненавидишь?“

Она же то в полудреме, то в лихорадочном бреде кричала им: „Если вы такие, если вы такие, то за что вы нас угнетаете!..“ – и швыряла книги, шепча: „Все это ложь, низкая ложь!“ И опять тянулась к ним, как пьяница к вину, и думала: „А может, это и есть единственная правда о них, а гимназия, преследование – ложь, заговор жестоких негодяев, которые не хотят, чтобы люди поняли друг друга!“ И широко раскрытыми, недоумевающими глазами смотрела в глубину страшной темной трагедии – трагедии разлада между людьми»¹.

Эта оценка, высказанная писательницей в 1932 г. в романе «Ночи и дни», определяет два аспекта отношения и самой писательницы, и польской интеллигенции к русской литературе. Первый – ассоциировался с политической русификацией, участием Российской империи в разделах Польши. Второй – проявился в эстетической сфере естественного интереса к русской культуре, оказавшей влияние на другие национальные (и тем более родственные, связанные с ней переплетенностью судеб) культуры, литературы, искусства, а порой и жизни ее творцов. Эти противоречия проявлялись на всех социально-политических уровнях и в личных судьбах людей.

В польском литературоведении придается большое значение и революции 1905 г., ее влиянию на развитие польской культуры. Многие писатели, входившие в литературу вместе с XX веком, вспоминали о

движении интеллигенции, даже школьной молодежи за право учиться на родном языке. Домбровская участвовала в самой крупной школьной забастовке 1905 г. И в то же время она отмечала, что в пансионате госпожи Паулины Гельвеке учителем русской литературы был «красный революционер» и «порядочный москаль» Леонид Породько, который «на уроках читал русских классиков, причем таких, как Чернышевский, Некрасов, Белинский» или «рассуждал на различные социально-философско-литературные темы»². Однако Домбровская подчеркивала, что в пансионе «деление пансионеров осуществлялось не по национальным признакам, а по интеллектуальному уровню»³.

Иной представлена гимназия в «Ночах и днях»: учитель русской словесности «огромный, толстый блондин», «с мутными глазами», «апоплексической шеей», «говорит зловеще ласково», издевается над ученицами из бедных семей. Школьная забастовка показана как всеобщее недовольство: толпы бегущих гимназистов, выкрикивающих лозунги: «Долой русскую школу»⁴. Однако о настоящей революции писательница лишь упоминает: «Море крови, – пишет она, – разделяет царя и подвластные ему народы. Об этом говорят всюду – в России, в Варшаве, во всем мире»⁵. И все же в этот трудный период происходило заметное сближение польской и русской интеллигенции. Возрастал интерес к русской литературе и у Домбровской, проявляясь по-своему в каждый период ее творчества. В дневнике ее упоминаются десятки имен и произведений русских писателей от А. Пушкина до А. Суркова. И каждый из них занял определенное место в ее творческом сознании. Наиболее часто Домбровская обращалась к Арцибашеву, Л. Толстому, А. Чехову, Ф. Достоевскому. Наиболее близкими ей и по манере творчества, и по духу были Толстой и Чехов. Фундаментальные знания по русской литературе, полученные Домбровской в гимназиях Калинца и Варшавы, помогли ей творчески осваивать их опыт.

К сожалению, в это время писательница еще не вела дневника, и период ее собственного становления можно проследить лишь в романе «Ночи и дни», в котором подчеркивается значение автобиографического элемента. Становление Агнешки, очень похожей на Домбровскую, проходило не без влияния русских писателей, любимых не только героиней, но и автором романа. Среди них особое место занял Лев Толстой. Пределы статьи позволяют остановиться лишь на кратком анализе его роли в творчестве польской писательницы.

Агнешка Нехциц имеет много сходства с Наташей Ростовской, проявившегося в показе психологической атмосферы, окружавшей обеих героинь, в использовании приемов внутреннего монолога, даже в подобию их психологических портретов и в определенной степени внешнем сходстве.

Работая над «Ночами и днями», Домбровская постоянно обращается к произведениям Толстого, трансформируя не только их художественные традиции, но и идеи самого писателя. «По мере того, как живу, – пишет она, – я начинаю понимать Христа и Толстого „непротивление злу“. Чем больше его видишь, тем больше воплощаешь в человеке добра, милосердия, кротости»⁶.

Итак, замысел «Ночей и дней» рождался еще в 1922 г., и уже тогда Домбровская думала о герое, в котором бы воплотились черты Христа. Вспомним, что Богумил Нехциц, страдавший от ран, полученных во имя спасения Польши в 1863 г., и его почти чудодейственное возвращение к жизни напоминают воскресение Христа. А благоговейное отношение к земле и людям, философская позиция «непротивления злу насилием», которой придерживался герой Домбровской, является по сути доктриной Толстого. Отмечу очевидность ассоциативного сходства Нехцица с Левиным.

Не случайно в период работы над романом Домбровскую окружали произведения Толстого. В дневнике она постоянно напоминает об этом: «Хочу писать Нехцицев не думая о сроках» и рядом: «Прочитала „Воскресение“ Толстого» (14.06.1929)⁷.

По завершении «Ночей и дней» она читает «Войну и мир» на русском языке с осознанно творческой целью – создать новый исторический роман на военную тему, правда отмечает, что не любит военных произведений, кроме Сенкевича и Толстого⁸. Видимо, замысел Домбровской был ближе к Сенкевичу и реализовался он в драме «Гений – сирота» (1939), воспроизводящей эпоху XVII в. Хотя Толстой по-прежнему вызывал восхищение: «Закончила „Войну и мир“ Толстого и нахожусь под сильным впечатлением и романа и Толстого»⁹.

В зрелости приходило и осмысление сходства с творчеством Толстого ее собственных произведений.

«Почти целый день, – пишет она 2.06.1937, – лежу и читаю Толстого различные деревенские рассказы самых ранних лет. Читаю это в первый раз в жизни и поражаюсь: сходством его творчества с моим. В таких, например, мелочах, как междометие при выполнении какой-либо работы. Эти люди кричат точно так же, как и у меня при мытье овец или переносе кровати Доленецкого. Меня удивило, что можно так похоже видеть людей и мир»¹⁰.

Польские и отечественные литературоведы подчеркивали художественное и эмоциональное сходство творчества Л. Толстого и Домбровской. Я. Станюкович отметила близость «Улыбки детства» Домбровской с «Трилогией» Л. Толстого, проявившуюся в том, что оба писателя в повествовании о детях, сохранив детскую свежесть в восприятии мира, предназначали произведения «для взрослых», поскольку решали в них «сложные

морально-философские и психологические проблемы»¹¹. К.В. Заводзиньский, первый серьезный исследователь творчества Домбровской в 30-е гг., увидел черты близости «Людей оттуда» с «Хаджи Муратом» Толстого, назвав оба произведения «Гимнами в честь жизни»¹². Тот же Заводзиньский отметил «поразительное сходство между „Ночами и днями“ и „Войной и миром“». А.Грушецкая и Р. Матушиньский назвали Домбровскую последовательницей Толстого. Общей в их суждениях была мысль о силе самовыражения обоих писателей и значении в их творчестве автобиографического фактора. Однако Домбровская судила об этом иначе: обратим внимание на фрагмент ее письма к русской исследовательнице Я.В. Станюкович: «Мое творчество, – сообщает писательница, – никогда не было воспоминанием о былом, это художественная композиция на тему собственных жизненных испытаний»¹³.

Домбровская изучала и литературоведческие работы Л. Толстого и писала исследования о его творчестве, подчеркивая его общечеловеческое значение: «Существует общий язык красоты, – размышляет писательница, – голос добрых дел, часто не замечаемый, но в конце концов в своих тысячных проявлениях понятный и воспринимаемый каждым человеком доброй воли»¹⁴.

Эстетические критерии Домбровской также имеют много общего с принципами Л. Толстого. Не случайно много раз в жизни она обращалась к статье Толстого «Что такое искусство?», использовала ее для оценки политической ситуации в Польше в начале 50-х гг., осуждая политику правительства в области культуры.

«К каким же аллюзиям должны прибегать наши редакторы, – с горечью отмечала Домбровская, – в период намеренно искажаемой свободы слова, чтобы разоблачать деспотизм власти»¹⁵.

О значении в творчестве Домбровской традиций Л.Н. Толстого свидетельствовало важное литературное событие: в 1951 г. в польской секции ПЕН-клуба (правда, с некоторым опозданием) отмечалось 40-летие со дня смерти Толстого. Доклад о русском писателе был поручен Домбровской, которая впервые в польском и советском литературоведении обратилась к необычной проблеме: отношению Толстого к Польше и полякам. И хотя Домбровская утверждала, что старалась «быть объективной» и «трактовать этот вопрос в категориях человеческих, и исторических», избежать тенденциозности ей не удалось. «Общественная ненависть, – писала она 16.04.1951 г., – всей русской литературы (не исключая прогрессивной) к полякам и общеизвестна симпатия польской литературы к русским»¹⁶.

Эту оценку опровергнуть нетрудно, труднее представить тот факт, что Домбровская, готовясь к докладу, не перечитала Толстого, а использовала исследование Вацлава Ледницкого «Некоторые размыш-

ления о национальном и христианском у Толстого», изданное еще в 1935 г. «У него (Ледницкого), – пишет Домбровская в дневнике, – много соответствующих цитат, и это мне помогло не тратить времени на их выискивание в произведениях Толстого»¹⁷.

Однако восприятие его творчества через мировоззрение и сознание литературоведа и философа 30-х гг. не дало положительных результатов. Домбровская отметила¹⁸, что ее доклад без изменений был опубликован в сборнике «Мысли о делах и людях»¹⁹. Писательница подчеркивает драматизм отношений между польским и русским народами и «отсутствие симпатий» к полякам со стороны русских деятелей культуры. Исключением, с ее точки зрения, являются Пушкин, Герцен, Бакунин. Что касается Толстого, то Домбровская без ссылок на источник приводит его суждение: «С детства во мне развивали ненависть к полякам. Теперь я оплачиваю эту ненависть особой чуткостью»²⁰.

Домбровская считает, что эта ненависть проявилась и в творчестве Толстого, который, якобы показывал поляков только с отрицательной стороны. Свои упреки писательница направляет на «Севастопольские рассказы», «Войну и мир» и «Анну Каренину». В «Севастопольских рассказах», по ее мнению, русские солдаты и офицеры осуждают поляков за браваду, шум, эффекты, позу, и считает, что это «ненавистно не только персонажам, но и автору»²¹. Думается, что Толстой в данном случае подчеркнул лишь национальные черты воинов. Русским на войне свойственны суровость, аскетизм, молчаливость, полякам – яркая эффектность. Напомним, что подобными чертами наделял своих лучших героев и Генрих Сенкевич в «Трилогии».

Обратим внимание на эпизоды в «Войне и мире», которые Домбровская трактует как антипольские. Скажем, женитьбу Анатоля Курагина на польской девушке писательница считает проявлением недоброжелательности Толстого к полякам, поскольку отец героини получил «отступное» за молчание о «проказах» русского аристократа. Ситуацию эту можно отнести к числу «бродячих» не только в русской, но и мировой литературе. А более отрицательного персонажа, чем Анатолий Курагин в романе, пожалуй, нет. Не случайно всю их семью Пьер Безухов назвал «подлым отродьем».

Нельзя отнести к «антипольским проявлениям» и упоминание Толстого, что глава масонской ложи Виллерский был польским графом, или что Андрею Волконскому не нравился Адам Чарторыйский и т. д. И уже совсем далек от этих проблем лирический эпизод, связанный со спасением Николаем Ростовым польской семьи, вызвавший слезы умиления у Денисова. Но его возглас: «Какой же глупый весь ваш род Ростовых» Домбровская расценивает не как доброту и бескорыстие героя, а как неприятие поляков автором.

Из нескольких тенденциозно подобранных, а главное тенденциозно истолкованных эпизодов писательница делает вывод, что Толстому «Польша и поляки, видимо, не очень нравятся, пробуждая в нем чувства легкого пренебрежения и иронического осуждения»²².

Правда, Домбровская считала, что последнее десятилетие жизни Толстого было переломным в отношении к полякам. Этот перелом наступил после изучения им движения декабристов, в котором участвовали и лучшие представители польской нации; осмысления значения революции 1905 г., в результате которой произошло сближение польской и русской интеллигенции, и установления личных контактов с польскими деятелями культуры, учеными, политиками. Домбровская упоминает профессора М. Здзеховского и экономиста А. Цешковского, которых Толстой принимал в Ясной Поляне и с которыми переписывался.

Все это, по утверждению Домбровской, способствовало изменению отношения Толстого к полякам и изменению типа героя-поляка в его творчестве. В романе «Воскресение» среди благородных персонажей-революционеров были и поляки. В «Хаджи Мурате» писатель осуждает политику царизма, связанную с угнетением польского народа. Наконец, рассказ Толстого «За что?» Домбровская назвала «уникальным в русской литературе», поскольку в нем польская тема является свидетельством уважения русского писателя к восстанию 1831 г. Герой произведения Юзеф Мигульский наделен чертами благородных борцов за свободу. Добавим лишь, что Толстой в его обрисовке использовал традиции польских романтиков, трактовавших своих персонажей как носителей «особой миссии» страдать за все человечество.

Тенденциозность в оценках творчества Толстого была лишь небольшим эпизодом в жизни Домбровской. В целом же тема Толстого занимала в ее творческой биографии значительное место. Критики справедливо подчеркивали использование Домбровской традиций русского писателя. Сама она была близко знакома с семьей последнего секретаря Толстого и исследователями его творчества в Польше Е. Вебер-Хиряковой, З. Молевским, Н. Модзелевской. Последняя предложила Домбровской сделать новые переводы произведений Толстого, заявив, что «великого писателя должен переводить великий писатель». Однако среди переводчиков был близкий друг писательницы С. Стемповский и по нравственным соображениям Домбровская отказалась от лестного предложения.

Последняя запись в ее дневнике о Толстом относится к 15.02.1962 г. и посвящена она защите с помощью Толстого Э. Хемингуэя. Д. Макдоналд – один из его противников противопоставил «новаторский стиль Хемингуэя» «классическому стилю Толстого», отметив значимость последнего. Со свойственной Домбровской иронией, она отметила, что Макдоналд «сам того не понимая, поднялся до гениальности». На де-

ле же он не смог ни понять значения творчества писателя, ни преодолеть собственной ничтожности²⁴.

В подведении итогов отметим, что творчество Домбровской связано с идейно-нравственными и художественными традициями Л. Толстого. Писательница с ранних лет обращалась к его произведениям и постигала их стилевую природу, использовала и трансформировала их, обновляла и обогащала тем самым и творчество собственное.

Примечания

- ¹ Домбровская М. Ночи и дни. Роман в двух томах. М., 1964. Т. I. С. 689–690.
- ² Dąbrowska M. Warszawa mojej młodości // Warszawa naszej młodości. Warszawa, 1954. S. 34, 35.
- ³ Ibid. S. 40.
- ⁴ Домбровская М. Ночи и дни. Т.2, с. 7.
- ⁵ Там же. С. 5.
- ⁶ Dąbrowska M. Dzienniki 1924–1932. Warszawa, 1988. S. 160.
- ⁷ Ibid. S. 292.
- ⁸ Dąbrowska M. Dzienniki 1933–1945. Warszawa, 1988. S. 101.
- ⁹ Ibid. S. 102.
- ¹⁰ Ibid. S. 207.
- ¹¹ Станюкович Я. Реализм Марии Домбровской. М., 1974. С. 43.
- ¹² Zawodziński K.W. Maria Dąbrowska. Historycznoliterackie znaczenie jej twórczości. «Przegląd Współczesny», 1933. Nr. 129.
- ¹³ Станюкович Я. Реализм Марии Домбровской... С. 82.
- ¹⁴ Dąbrowska M. Czy piękno zobowiązuje? // «Pion», 1935. Nr. 36.
- ¹⁵ Dąbrowska M. Dzienniki 1951–1957. Warszawa, 1988. S. 289.
- ¹⁶ Ibid. S. 38.
- ¹⁷ Ibid. S. 38.
- ¹⁸ Ibid. S. 39.
- ¹⁹ Dąbrowska M. Myśli o sprawach i ludziach. Warszawa, 1956. S. 43–53.
- ²⁰ Цитируется по: Myśli o sprawach i ludziach. S. 52.
- ²¹ Ibid. S. 47.
- ²² Ibid. S. 46.
- ²³ Dąbrowska M. Dzienniki 1945–1950. S. 367.
- ²⁴ Dąbrowska M. Dzienniki 1958–1965. S. 242.

О. Цыбенко

Русские поэты Серебряного века о польской культуре (Игорь Северянин)

*Страна красивых гениев: Шопена,
Мицкевича, Словацкого, других,
Тебе пропел я не однажды стих...*

К. Бальмонт. «Польше»

Сложность и драматизм исторических взаимоотношений русского и польского народов находили свое выражение в литературе и публицистике, в создании ими амбивалентного, противоречивого образа соседа¹. В этой связи хочется подчеркнуть, что «польская» тема в русской литературе, проявленная как отношение к богатой и разнообразной польской культуре, как правило, работала на создание положительного стереотипа. Во многом именно писатели в своих откликах на польскую культуру строили мосты даже над самыми глубокими пропастями.

Распространенное мнение о чуть ли не полной разобщенности русской и польской литератур после 1863 г. не подтверждается новейшими исследованиями. Работы таких ученых, польских и русских, как А. Дравич, З. Баранский, Ф. Неуважный, Б. Бялокозович, Я. Орловский, С. Бэлза, Е. Цыбенко, Н. Богомолова, О. Медведева и др., свидетельствуют о большом взаимном интересе писателей России и Польши друг к другу и в период сразу после восстания 1863 г., и позднее.

Интерес русских писателей к польской литературе и польским проблемам, характерный для периода модернизма, возрос, по мнению профессора Я. Кульчицкой-Салони, в годы Первой мировой войны². «Польский» вопрос волновал всех честных, мыслящих людей России. Лейтмотивом большинства посвященных Польше произведений русской поэзии, созданных в 1914–1916 гг., является сострадание ее горькой участи и одновременно вера в то, что война станет переломным моментом в судьбах родины Мицкевича и Словацкого. К страданиям Польши не остались безучастными В. Иванов, Ф. Сологуб, Б. Пастернак, М. Цветаева, В. Брюсов, К. Бальмонт, С. Есенин, С. Соловьев, Н. Павлович, Н. Агнивцев, Т. Щепкина-Куперник, З. Гиппиус, М. Моравская, Н. Ашукин, П. Орешников, Н. Асеев, С. Михайлов и др.

Большой популярностью в начале века пользовались у русских читателей произведения польских романтиков (прежде всего Мицкевича и Словацкого), Пруса, Ожешко и Сенкевича, из современных писателей известны были Жеромский, Реймонт, особо популярен был и оказал большое влияние на русскую литературу С. Пшибышевский, а также К. Тетмайер и Я. Каспрович, несколько менее С. Выспяньский и др.

Связи русских поэтов Серебряного века с польской культурой и литературой только начали находить своих исследователей. Раньше и полнее исследовалось влияние на польскую поэзию Есенина и Маяковского. Опубликовано несколько работ о Блоке в связи с поэмой «Возмездие», единичны пока разработки тем, связанных с символистами – Брюсовым, Бальмонтом, на одной из конференций в Польше был сделан доклад «Андрей Белый и Польша», писалось немного о Бунине (главным образом, о его переводах польских поэтов).

Совсем не затрагивались в этом плане поэты-футуристы (за исключением Маяковского). Высказывалось даже несправедливое утверждение, что футуристы, с «их крикливой саморекламой, построенной на принципе полного отрицания всей существовавшей до них и современной им литературы, кроме собственного «стихачества»³, не стремились отыскать своих предшественников и авторитетов в мировой литературе вообще, а следовательно, и в польской. Обратимся в этой связи к творчеству Игоря Северянина, эгофутуриста, затем кубофутуриста, в котором, однако, находят и тяготение к символизму, и черты поэта-неоромантика (в позднем творчестве). Но вначале несколько слов о В. Соловьеве, творчество которого пока не рассматривалось в контексте русско-польских взаимосвязей.

Говоря о «польской» теме в творчестве русских поэтов рубежа веков, о восприятии ими польской культуры, нельзя пройти мимо такой фигуры, как В. Соловьев. Он является представителем и Серебряного века русской литературы, и Золотого века русской философии, корифеем русской философской критики. Его собственное художественное творчество, эстетические концепции, оценки конкретных писателей и поэтов и философские построения оказали несомненное влияние на заметнейшее течение рубежа веков – символизм, на его крупнейших представителей – Брюсова, Белого и др., на все самосознание эпохи. Соловьев был идейным вдохновителем для целой плеяды творцов рубежа веков. Польская тема затронута Соловьевым – христианским мыслителем и публицистом – в работах о национальном вопросе в России, им дана высочайшая оценка поэзии Адама Мицкевича, а вся его жизнь оценена как нравственный подвиг (в статье, первоначально – речи на столетнем юбилее поэта, «Мицкевич»). Наконец, Соловьев перевел стихотворение Мицкевича «Сон». К сожалению, в работах как отечественных, так и польских ученых позиция Соловьева по польскому вопросу не освещена достаточно глубоко. В предисловии к антологии произведений русских поэтов XIX – начала XX вв. о Польше «Звуки рухнувших оков» ее составитель Б. Бялокозович пишет о нагнетании антипольских настроений в русском обществе рубежа веков, об официальной пропаганде шовинизма, перед которой устояли немногие (например, А.К. Тол-

стой)⁴. Но автор не упоминает о Соловьеве, а ведь он вел полемику с этой пропагандой, обращался с письмом к Николаю II с требованием прекратить политику насильственного обращения в православие, полемизировал со славянофилами.

Сама его речь на торжествах в честь юбилея Мицкевича в 1898 г. была вызовом имперской политике угнетения Польши. Мицкевич, наряду с Пушкиным, был любимым поэтом Соловьева. Сего творчеством Соловьев познакомился в молодые годы. Он писал в письме другу: «Читаю по-польски Мицкевича, в которого совершенно влюбился. Тебе непременно нужно выучиться по-польски, хотя бы для него одного»⁵. (Заметим, что буквально то же записывал для себя впоследствии И. Бунин.)

Перевод Соловьевым стихотворения Мицкевича «Сон» отрицательно оценил С. Бэлза, поскольку образ земной возлюбленной Мицкевича превращается в переводе в символ «вечной женственности» в духе идей самого Соловьева⁶. Надо отметить, что такого рода вольный перевод не редкость, к тому же Соловьев указал в подзаголовке: «На мотив из Мицкевича». За вольность С. Бэлза упрекает и Бальмонтские переводы Ю. Словацкого. Он отмечает желание и Соловьева, и Бальмонта видеть в польских романтиках предтечу своих духовных вождей, поэтов, близких по мироощущению и поэтике.

Может быть, еще более важным, чем очарованность Соловьева Мицкевичем-художником, является тот факт, что на недостижимую нравственную высоту русский мыслитель ставил его, видя в нем великого человека⁷. С идейной, содержательной стороны Соловьев ставил Мицкевича выше любимого им Пушкина.

На наш взгляд, односторонне выглядит «соловьевский» сюжет о Мицкевиче в работе А. Кемпиньского о национальных стереотипах «Лях и москаль»⁸ (1990). Ему посвящено несколько строк с одной цитатой из Соловьева, где тот не соглашается с идеей Мицкевича о страданиях польского народа, искупающего грехи других народов. Восстановив контекст высказывания, увидим, что Соловьев считает это «безвредным заблуждением», а важным считает, что Мицкевич преклонился перед Польшей «как перед Мессией не торжествующим, а страждущим». Цитатой из Соловьева Кемпиньский заключает абзац, где речь идет о «собственном, русском Боге», о тождестве государства и веры, т. е. о тех идеях, которые были глубоко чужды русскому мыслителю, мечтавшему о сближении Востока и Запада и польско-русском объединении «на дороге именно религиозной, а не социальной или политической»⁹, – как отмечается совершенно справедливо в книге Я. Орловского «Из истории антипольской фобии в русской литературе». В ней приводится мысль Соловьева об обязанности русского

народа, как христианского, сделать первый шаг на этой дороге, его утверждение: «Россия должна делать добро польскому народу». Правда, по мнению Орловского, «такой мыслитель, как Соловьев, совершенно закрывал глаза на то зло, что принесла польскому народу тогда и ранее антипольская политика России»¹⁰.

Однако в статье Соловьева «Русская идея», в разделе «Политика гнета и русификации и Берлинский конгресс», мы встретим такие резкие выражения, как «гнусная система русификации» – «преступная и зловредная», «тираническое разрушение греко-униатской церкви» и т. д., что Соловьев считал историческим грехом России¹¹.

Более справедлива оценка А. Лазари – рецензента польского издания трудов русского философа, который справедливо отметил, что «Соловьев – один из немногих русских мыслителей, кто объявил решительную войну русскому национализму, антисемитизму и полонофобии»¹². Жаль, что такая емкая и справедливая оценка вклада Соловьева в «строительство мостов над пропастью» не прозвучала в трудах о национальных стереотипах и «польской» теме в русской литературе рубежа веков.

Огромный авторитет Соловьева, влияние его как поэта и мыслителя сказались на подходе к польской проблеме следующего поколения русских писателей и поэтов. Так, это явно прослеживается в сочувственном интересе к Польше его племянника Сергея Соловьева, выраженном в его поэзии и в публицистике военных лет (недавно опубликованы его очерки «Впечатления Галиции»¹³). А. Блок, работая над поэмой «Возмездие», специально изучал взгляды В. Соловьева на польский вопрос (об этом пишет З. Бараньский в статье «„Польская“ поэма Александра Блока»¹⁴).

Подобно Соловьеву, остался без должного внимания Игорь Северянин. Он и сейчас остается полузабытым поэтом начала века, когда-то скандально известным, и сейчас у большинства читателей в памяти остались разве что его эпатажные строки

Я – гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно озкранен!
Я повсесердно утвержден!

Помнится еще, что его неологизм «бездарь» вошел в русскую речь.

Волна нового интереса к Северянину поднялась в 1987 году, в связи со 100-летним юбилеем поэта и перестройкой. Была издана значительная часть его творческого наследия эмигрантского периода (а это 8 сборников стихов, 3 автобиографических поэмы). «Полного»

Северянина, однако, нет до сих пор. С 1918 по 1941 год Северянин жил в Эстонии, не считая себя ни беженцем, ни эмигрантом: «Я дачник. С 1918 года»¹⁵. Зрелое творчество поэта значительно отличается от дореволюционного. Если в начале века ценившие его авторитеты – Брюсов, Блок – говорили, что при несомненном таланте, богатстве и разнообразии ритмов и т. д. у Северянина нет темы, или круг тем его ограничен, то в этот период в его поэзии утверждается гражданская тема, тема Родины и ее природы, мотивы ухода друзей-современников, собственной неприкаянности поэта в чуждой среде, непонятости эмигрантскими группировками, для которых он был не красный, не белый, и даже не розовый.

Северянинская поэзия до 1918 г. и созданная в эмиграции, конечно, различаются между собой, но их объединяет самоирония, ощущение красоты жизни и ее трагизма, резкая субъективность и откровенность. Зрелую поэзию Северянина отличает укорененность в русской культуре и большой интерес к мировой культуре. Северянин никогда «не сбрасывал Пушкина с парохода современности», этим принципиально отличалась его программа эгофутуризма от кубофутуристов. А подписав позднее нигилистическую программу кубофутуристов, он никогда не следовал ей на практике.

В творчестве поэта до 1918 г. польских мотивов немного. В созданной в 20-е годы, уже в эмиграции, автобиографической поэме «Роса оранжевого часа» есть воспоминания о детстве поэта. Его мать Наталья Степановна Шеншина, дворянка, состояла в дальнем родстве с Фетом, была замужем в первом браке за поляком. Вот как пишет Северянин:

За генерала-лейтенанта
 Мать вышла замуж. Вдвое муж
 Ее был старше...

Имел двух братьев; был один
 Сенатором; другой же гласным.
 Муж браком с мамой жил согласным...

Он был вдовец и похоронен
 В фамильном склепе близ жены, –
 Все Домонтовичи должны
 В земле быть вместе: узаконен
 Обычай дряхлой старины.
 Ему был предком гетман Довмонт,
 Из старых польских воевод.
 Он под Черниговым в сто комнат
 Имел дворец над лоном вод¹⁶.

Здесь можно отметить добродушную иронию автора в обрисовке старинного, традиционного уклада польской шляхты, уважение к «обычаям дряхлой старины», которых придерживались выходцы из Польши, узнаваемы и стереотипны для русского восприятия их любовь к роскоши и гостеприимство.

Северянин любил свою сестру от первого брака матери Зою, которая была старше его на двенадцать лет, и других польских родственников. Так или иначе, частица Польши вошла в жизнь поэта с детства. В начале 20-х годов, живя в Эстонии, он получил теплое письмо от А.М. Коллонтай, советского государственного деятеля: «Помните Шурочку Домонтович, вашу троюродную сестру, шумную подругу Зои?»¹⁷.

О знании Северяниным польского языка и литературы в дореволюционный период нам неизвестно. Знаем только, что он очень увлекался музыкой и музыкальным театром. Мелодически-музыкальные строки его вдохновлялись Шопеном:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

(«Это было у моря»)

Шопен в русской поэзии занимает огромное место, этой теме посвящены отдельные работы польских ученых (Я. Орловского Е. Слизиńskiego и др.¹⁸). Надо отметить вполне традиционное соединение с мотивом Шопена любовной темы, воссоздание утонченной атмосферы, часто встречающиеся (в том числе и у Бальмонта) попытки передать своеобразие этой музыки с помощью мотивов моря (волны, пены), ажурных кружев.

Стихотворение «Это было у моря» – единственное появление польской темы в дореволюционном творчестве Северянина.

Совсем другую картину мы видим в дальнейшем. Весь последующий материал привлекается к исследованию впервые и по сути дела незнакомому русскому читателю.

Любовь к музыке, к опере отразилась у Северянина в посвященном певице польского происхождения стихотворении «Сонет Ольге Гзовской» и в еще двух стихотворениях с упоминанием «утонченной пани», артистичной души, которая что-то поэту «твердила ласково и мягко..., прищурясь и куря».

Образ польки в «Сонете» традиционен – это утонченная, блестящая – и мягкая, лиричная женщина.

Живя в Эстонии, Северянин выезжал за границу. В Польше он был трижды. В 1924 году он совершил турне по восьми польским го-

родам. С этим связаны три стихотворения. В одном из них – опять Шопен. Поэта охватывает желание найти дом, где жил композитор:

Пойдем на улицу Шопена, –
 О ней я грезил по годам...
 Мы в романтическом романе?
 Растет или кажется нам куст?
 И наяву ль проходит пани
 С презрительным рисунком уст?...

Уже вообразив, что сейчас увидит дом Шопена,

Где вспыхнут буквы золотые
 На белом мраморе: «Здесь жил,
 Кто ноты золотом литые
 В сейф славы Польши положил»,

поэт убеждается в самообмане. Шопен не жил в Варшаве. Улица Шопена есть, а дома Шопена нет: «Обман мечты! Здесь нет Шопена». Так, в стихотворении увлеченность композитором-романтиком обгырывается в романтическом контрасте реальности и мечты.

Прогулка по центральным улицам Варшавы (Новы Свят и Маршалковска), их фешенебельность и шик, соблазнительные польки предстают еще в одном, написанном в Варшаве стихотворении:

Уже сентябрь над Новым Светом
 Позолотил свой синий газ...

Прелесть полек очаровывает Северянина так же, как звучание польской речи:

Они как персики с крющоном:
 Ледок, и аромат, и сладсть.
 И в языке их притушенном
 Такая сдержанная страсть...

В Варшаве Северянин гостил 3 недели у Лео Бальмонта, известного в Польше адвоката, поэта, критика и общественного деятеля. Все эти его разносторонние дарования отражены в посвященном ему стихотворении «Бриндизи Лео Бальмонту (литературный обед в варшавском «Эрмитаже» 6 октября 1924 г.)». Он воспевается как спаситель двадцати жизней (в качестве адвоката), как человек, протянувший руку в трудный момент русскому поэту К. Бальмонту, другу Северянина, и, наконец, как переводчик «Евгения Онегина»:

Вы вне пространства, вне времен:
 «Онегин» целиком на польский
 Не вами ли переведен?

В судьбе адресата стихотворения были черты, близкие автору, – непризнанность, незамеченность: «И ныне, путь свой завершая, | Не по заслугам вы в тени: | Не слишком ли душа большая | В такие маленькие дни?»

Во второй раз Северянин посетил Варшаву в 1928 году, дал три поэтических вечера, прошедших с успехом. Это событие отмечено в дневниках Зофьи Налковской, которая устроила по случаю приезда Северянина прием у себя дома, где было много польской интеллигенции¹⁹. Там была и Мария Домбровская, также отметившая это событие в своем дневнике²⁰. Известный ученый-русист С. Кулаковский приветствовал гостя в «Вядомостях литератцких» заметкой «Северянин приехал», давая в ней яркую положительную характеристику творчества поэта²¹.

Последний, третий, раз в Варшаве Северянин был в 1930 году, проездом, дав один поэтический вечер.

Вершиной зрелого творчества Северянина являются два его лирических цикла – «Классические розы» и «Медальоны», выпедшие в 1934 г. в Белграде. «Медальоны» – это сто сонетов о поэтах, писателях и композиторах. Пять из них посвящены полякам: С. Жеромскому, Э. Ожешко, В Реймонту, С. Пшибышевскому и Шопену. Для сравнения: англичанам (Байрону, Киплингу, Оскару Уайльду) посвящено три, французам – семь сонетов. Больше всего, конечно, портретов соотечественников, здесь нашлось место и автопортрету. Все «польские» сонеты написаны в 1926 году, но когда именно Северянин познакомился с творчеством Жеромского, Ожешко, Реймонта и Пшибышевского, сказать трудно. В анкете-автобиографии поэта 1916 г. никто из польских деятелей культуры в числе любимых назван не был. Но поскольку популярность этих польских писателей в России начала XX в. была велика, логично предположить, что поэт познакомился с их творчеством еще в России.

В сонете о Шопене – уже знакомая нам образность: «весенние кружева», «в отливе лунном пена», «плененность» возлюбленной; богатство аллитерации и ассонансов («То воздуха не самого ли вздох?»). Северянин называет Шопена «Богом музыки», творцом произведений,

Где все и вся почти из ничего,
Где всеобъемны промельки его,
Как на оси вращающийся глобус!

Сонеты о писателях демонстрируют глубокое знание Северяниным польской литературы. В каждом из них дана яркая характеристика творчества каждого, идей и настроений их произведений, обыгрыва-

ются их названия и имена героев. В сонете, посвященном Жеромскому, узнаются образы его романа «Бездомные» и проблематика романа «История греха»:

Безгрешных всех преследует удав...

.....
 О как же жить, как жить на этом свете,
 Когда невинные – душою дети –
 Обречены скитаться в нищете.

В «самом польском писателе», по определению Я. Ивашкевича (Жеромский, может быть, острее других переживал несвободу родины), Северянин находит и подчеркивает выражение отчаяния и безнадёжности:

Он понял жизнь и проклял жизнь, поняв.
 Людские души напоил полынью.
 Он постоянно радость вел к унынию
 И, утвердив отчаянье, был прав.

Может быть, есть даже и излишнее заострение этой горечи, замечательно то, что Северянин сам как бы до конца готов разделить с Жеромским это мироощущение.

Сонет, посвященный Элизе Ожешко, связан с ее романом «Над Неманом», его героем Яном Богатыровичем, крестьянином, отец которого погиб в восстании 1863 года. Верность героя идеям борьбы, свободы, труда подчеркнута в тексте сонета мотивом легенды о предках Богатыровичей – Яне и Цецилии, которые когда-то давно поселились над Неманом, чтобы возделывать землю и увидеть плоды своих рук:

Глядит на голубой цикорий Ян.
 И голубеет в пахаре преданье
 О тезке-предке, выбравшем заданье:
 Мечту труда увидеть наяву.
 «Рви лебеду – и там, где было него,
 Жизнь зазвенит», – подбадривает Неман,
 Любовно омывающий Литву.

Хорошо уловлена светлая тональность романа Ожешко, слияние мотивов природы, простого труда, родины. Это настроение близко самому автору-изгнаннику, живущему почти в нищете на берегу Финского залива среди дикой природы, занимающемуся чуть ли не каждый день ловлей рыбы. Да и многим русским читателям Ожешко импонирует своим демократизмом, поэзией природы и светлой надеждой.

В своей оценке Реймонта Северянин тоже традиционен. Он подчеркивает мифологизацию Реймонтом (в романе «Мужики») земли-кормилицы:

Сама земля – любовница ему,
Заласканная пламенно и нежно.
Я целиком всего его приму
За то, что блещет солнце безмятежно
С его страниц, и сладко, и элежно
Щебечущих и сердцу, и уму.

Солнце славил и сам Северянин в стихах. Близко русскому читателю в Реймонте смешение боли и радости, восторга: «Он мог в кровавом стоне | Расслышать радость», отыскать в «грубом сердце мужика» «добро и честность» – это, по Северянину, – «на века».

Афористичность, сжатость, емкость формулировок, характеристик, свойственные и предыдущим сонетам, в особенности присущи портрету Пшибышевского. 14 строк стихотворения вызывают в памяти читателя не менее десяти названий его произведений – романа «Дети сатаны», драмы «Снег», «Заупокойной мессы», рассказов «В час чуда» и «Аметисты», драмы «Вечная сказка», романа «Сыны земли», поэмы «Стезю Каина» и др. Такой переизбыток достаточно выразительных названий, мрачно-мистических по окраске, как бы вызывающих духа тьмы, является основным приемом создания образа писателя в сонете, похожем на ребус, рассчитанный на знатоков творчества Пшибышевского. Видимо, их было немало.

Отметим также знакомство Северянина с творчеством Мицкевича. Польского поэта читает возлюбленная Северянина, к которой он обращается в стихотворении «Солнечный луч» (1926, не вошло в изданные при жизни сборники поэта):

Вместилась в грудь строфа ль Мицкевича,
Строфа ль Мюссе вместилась в грудь?

В другом вершинном цикле Игоря Северянина – «Классические розы» – нет «наплыва иностранцев». Здесь глубже всего звучат мотивы родины, трагизма разрыва с ней, природы, любви, переживается горечь от сознания полного забвения в России своего имени в настоящий момент, надежда на хотя бы посмертное признание («Как хороши, как свежи будут розы, | Моей страной мне брошенные в гроб!»). Но его заключают два перевода. Включение этих имен в такого рода сборник, где подводятся итоги творчества и судьбы поэта, можно считать символическим. Это Пушкин и Словацкий. «Мой автопортрет» – раннее стихотворение Пушкина, написанное по-французски, отсюда – перевод, слегка «осеверяненный». Важнее всего само имя Пушкина, а также

самоирония и откровенность в характеристике, близкие творческой манере Северянина. Перевод «Моего завещания» («Testament moje») Ю. Словацкого, выполненный в Варшаве в 1928 г., очень знаменателен. Он близок к оригиналу, выдержан в строгой манере, без неологизмов и словотворчества. Это прямое обращение к романтической традиции, к поэзии польских романтиков-изгнанников, скорбь о судьбах родины, «о бедном сердце» и друзьях, которым очень нужна надежда, стойкость в испытаниях. Мужественное и мощное звучание северянинского перевода позволяет ему выдерживать сравнение с опубликованными у нас переводами «Моего завещания» Н. Асеева, и Б. Пастернака (асеевский ближе к оригиналу, Пастернак несколько русифицирует, осовременивает текст, приближая его к читателю нынешнего века, вносит в него разговорную интонацию) и даже, может быть, чем-то превосходит их. Впрочем, важно не превосходство (его можно оспорить), а то, как по-разному и оригинально отразилась личность переводчиков в следовании польскому гению. Приведем для сравнения заключительную строфу стихотворения:

Все же я завещаю незримую силу,
 Что была мне легка, лишь чело украшая;
 Но воздействовать будет она сквозь могилу,
 Пожирателей хлеба в святых превращая.²²

Н. Асеев

И как раз глубина моего сумасбродства,
 От которой таких навидался я бед,
 Скоро даст вам почувствовать ваше сиротство
 И забросит в грядущее издали свет.²³

Б. Пастернак

Мощь непреложная завещана вам мною,
 Мне в жизни лишняя. Но вот сойду я в склеп,
 И эта мощь моя, что станет вам судьбою,
 Даст крылья ангелов всем вам, едящим хлеб!

Игорь Северянин

Нетрудно заметить большую лирическую проникновенность у Пастернака и более торжественно-мужественное звучание у Северянина.

Сделав «Мое завещание» Словацкого заключительным аккордом своего лучшего лирического цикла, Северянин недвусмысленно манифестирует свою приверженность традициям славянского романтизма, возможно, видя в польских поэтах-изгнанниках далеко не прямую, но все же аналогию с положением русских поэтов-эмигрантов в XX в. (Не случайно «Мое завещание» переводил и Бальмонт.)

Тема русско-польских пересечений в поэзии русского зарубежья интересна для рассмотрения, для этого есть материал в произведениях В. Ходасевича, неизвестного пока у нас Л. Гомолицкого, до Второй мировой войны писавшего по-русски, а затем ставшего польским писателем (в его поэме «Варшава», 1934 г., проецируются мотивы «Медного всадника» Пушкина, «польской» поэмы Блока «Возмездие», можно почувствовать инспирацию Словацкого).

Северянин был знаком и с польскими поэтами-современниками. Его знал и переводил Ю. Тувим, он испытал даже влияние северянинской поэтики. Ф. Неуважный приводит в пример шутивную стихотворную рецензию Тувима на сборник Б. Ясенского:

Siewerjasień, pambambonczik,
Siewie-rani serca dam!
Ach, genialny, ach, butonczik,
Tangoprince par force pam bam!
.....
Przekrakoził siewierezję,
Wypoeził się jak z nut
I spambamił swą poezję
Coute que coute i but que but.²⁴

Переписка Северянина косвенно свидетельствует о его знакомстве с творчеством выдающегося польского поэта Казимежа Вежиньского, так как к нему русский поэт обратился в 1937 г. с открытым письмом – с просьбой о помощи: «Я поднимаю сигнал бедствия, в надежде, что родственная моему духу Польша окажет помощь мне, запоздалому лирику, утопающему в человеческой бездарной действительности»²⁵.

Живая, непрерывающаяся связь русской и польской культур, ощущаемая и поддерживаемая поэтами, в том числе такими, как Игорь Северянин, способствует формированию у русских читателей открытого и дружеского восприятия польского соседа, более глубокому пониманию его драматической истории, его богатой одаренности.

Примечания

¹ Польско-русским стереотипам в литературе и культуре посвящен ряд исследований последнего времени: *Хорев В.* О стереотипе и убеждении в литературе (на материале русской и польской литературы) // «Путь романтический совершил...». М., 1996. С. 150–167; *Kęmpirski A.* Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990; *Orłowski J.* Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Warszawa, 1992; *Giza A.* Polaczkanie i Moskale, wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917). Szczecin, 1993.

² *Kulczycka-Saloni J.* Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia // Przegląd Humanistyczny. Warszawa, 1993. Nr. 1. S. 1.

- ³ Бэлла С. «Польская тема» и переводы с польского в русской поэзии конца XIX – начала XX в. // Польско-русские литературные связи. М., 1970. С. 357.
- ⁴ *Białkożowicz B.* Przedmowa // *Dźwięki kruszonych oków. Polska w poezji rosyjskiej lat 1795–1917.* S. 45.
- ⁵ Цит. по: *Соловьев В.* Неподвижно лишь солнце любви. М., 1991. С. 371.
- ⁶ *Бэлла С.* Указ. соч. С. 356–357.
- ⁷ *Соловьев В. С.* Философия искусства и литературная критика М., 1991. С. 371.
- ⁸ *Кępiński A.* Op. cit. S. 177–178.
- ⁹ *Orłowski J.* Op. cit. S. 151.
- ¹⁰ Ibid.
- ¹¹ *Соловьев В.* О христианском единстве. М., 1994. С. 174.
- ¹² *Slavia Orientalis.* Warszawa, 1989. С. 651–652.
- ¹³ *Соловьев С.* Богословские и критические очерки. Томск, 1996. С. 207–248.
- ¹⁴ *Barański Z.* Polski poemat Aleksandra Błoka // *Spotkania Literackie.* Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1973. S. 231.
- ¹⁵ *Северянин Игорь.* Классические розы. Медальоны. М., 1991. С. 5. Стихотворения из этих сборников и не публиковавшиеся при жизни поэта цитируются в дальнейшем по этому изданию.
- ¹⁶ *Северянин Игорь.* Стихотворения и поэмы. 1918–1941. М., 1990. С. 291.
- ¹⁷ *Венок поэту: (Игорь Северянин).* Сб. Таллин, 1987. С. 73.
- ¹⁸ *Orłowski J.* Jeszcze raz o Szopenie w poezji rosyjskiej // *Język rosyjski.* 1989. Nr. 4. S. 199–204; *Śliziński J.* Fryderyk Szopen w poezji Słowian wschodnich // *Język rosyjski.* 1980. Nr. 5. S. 259–265.
- ¹⁹ *Nałkowska Z.* Dzienniki 1919–1929. Warszawa, 1980. S. 308.
- ²⁰ *Dąbrowska M.* Dzienniki 1914–1932. T. 1 Warszawa, 1988. S. 231.
- ²¹ *Nałkowska Z.* Ibid.
- ²² *Словацкий Ю.* Избранное. М., 1952. С. 121–122.
- ²³ *Словацкий Ю.* Стихи. Мария Стюарт. Пер. Б. Пастернака. М., 1975. С. 66–67. См. здесь интересный разбор этого перевода Б. Стахеевым. С. 10–12.
- ²⁴ Цит. по *Nieuważny F.* Julian Tuwim a poeci rosyjscy XX wieku // *Tradycja i współczesność.* Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1978. S. 234.
- ²⁵ *Северянин Игорь.* Сочинения. Таллинн, 1990. С. 512.

Поэтические способы концептуализации: образ Есенина в стихотворении Тадеуша Кубяка «Ваганьковское кладбище»

Попытки воссоздания коллективных представлений опираются на данные самого различного происхождения. Исследуя представления о поляке и русском, которые находят свое отражение в польской и русской литературе и культуре, прежде всего анализируют языковые стереотипы, отразившиеся в поговорках и фразеологизмах, функционирующие в широком коммуникационном поле¹. Эту картину дополняют суждения и мнения различных лиц: мыслителей, выдающихся личностей, государственных чиновников, послов, путешественников, ссыльных и т. п., а также художественные представления: образы поляков и русских, включенные в структуру литературного, театрального, кинематографического и др. произведений, созданных на основе различных идеологических предпосылок и подчиняющихся определенным правилам, организующим художественный вымысел в рамках отдельных видов искусства, жанров и поэтик. В целом, таким образом, мы имеем дело с весьма гетерогенным материалом – чисто вербальным или выраженным в других знаковых системах. Он включает тексты различной степени условности и общедоступности, данные, относящиеся к различным коммуникативным стилям – к публицистике, научному дискурсу, повседневному общению и к области литературы; к риторическим высказываниям или к высказываниям, не ориентированным на убеждение или языковую манипуляцию. Наконец, это непосредственно вербализованные характеристики, или оценки, выраженные опосредованным образом, и следовательно, нуждающиеся в реконструкции смысла и требующие различных интеллектуальных процедур – поиска установки или умозаключения. Накопление всех этих данных является бесспорно нужным и даже необходимым этапом, предваряющим исследование. Однако не следует забывать о разнообразии этих источников, и наряду с собиранием данных следует выявлять их понятийный статус и отмечать особые коммуникативные и смыслообразующие механизмы, которые их определяют.

Имея в виду эту разнородность данных, с которыми имеет дело исследователь коллективных представлений, я хотела бы обратить особое внимание на материал литературы, в частности – на примеры, содержащиеся в поэтических произведениях, подвергшиеся своеобразному смыслообразующему процессу, присущему поэзии. Под воздействием поэтического контекста слова естественного языка обретают новые семантические оттенки и становятся как бы омонимами

своих словарных соответствий (аналогов). Вследствие этого они не могут рассматриваться наравне с лексемами, используемыми в иной, непозитической сфере. Они требуют особого, индивидуализированного подхода – как к проекциям отдельных текстов и вписанных в них смыслообразующих механизмов.

В целях более детального анализа модификации значения слов в поэтическом контексте имеет смысл обратиться к различиям, принятым в рамках исследований лексической семантики и прагматики языка. Эти исследования показывают, что помимо инвариантного значения лексемы (значения, которое входит в словарное определение, охватывающее необходимые и достаточные для распознавания элементов кода семантические черты) в коммуникации актуализируется некое дополнительное значение: «коннотации», связанные с данным словом и включающие суждения относительно его обозначаемого, составляющие определенный фрагмент «знания о мире». Это корреляты коллективного и личного опыта, связанные с предметами, свойствами, событиями, закодированными в языке. Некоторые из этих коннотативных черт слова – «лексические» или «семантические коннотации» – особенно прочно укоренены и находят свое подтверждение в значениях других языковых единиц: семантических и словообразовательных дериватов, фразеологизмов и клише, например, поговорок (см. Ю.Д. Апресян², Л.Н. Иорданская и И.А. Мельчук³). От таких элементов прагматики слова, непосредственно контролируемых семантической системой языка, отличаются другие высказывания, связанные с обозначаемым данного слова: «энциклопедические коннотации»⁴, которые дополняют языковой образ предмета и соучаствуют в создании области взаимопонимания в актах коммуникации. Сфера этих коннотаций недостаточно четко очерчена. К ней относятся элементы общего «знания о мире», но также и субъективные суждения, или неиндивидуальные, но не разделяемые повсеместно в данной группе носителей языка.

Семантическое и коннотативное содержание слова, которое несет в языке данная лексическая единица, может быть по-разному использовано в отдельных текстах. Иногда это лишь прямая актуализация семантико-прагматического потенциала слова, однако всегда связанная с выбором одного из нескольких возможных значений и с селекцией или переоценкой исходной иерархии свойств. Но иногда – а это прежде всего встречается в поэтическом контексте (хотя и сфера повседневного общения – языковой игры, шутки – не ограничивается использованием шаблона и очевидного значения) – происходит более основательная реорганизация смысла. Слово приобретает новые коннотативные компоненты⁵, взаимодействующие в процессе построения связного значения целого высказывания. В нем оказывается выделенным неконвенциональное, периферийное, редкое или просто неожиданное. Оно может также приобре-

сти понятийное содержание, которого оно было лишено в силу своей категориальной принадлежности. Это касается, например, имен собственных, которые выполняют в языке референтную функцию: указывают на единичный объект, присваивая ему постоянный фонетический ярлык, но при этом не имеют содержательного значения десигнативного характера, отражаемого в словарных определениях.

Такую радикальную переоценку содержания слова под влиянием поэтического контекста я хотела бы проиллюстрировать на примере стихотворения Тадеуша Кубяка «*Ваганьковское кладбище*»⁶. Это произведение представляет собой элегическое воспроизведение образа русского поэта Сергея Есенина. Эта фамилия станет здесь предметом детального анализа.

В соответствии с кодовой конвенцией *Есенин* – это некто с фамилией «Есенин». Принимая во внимание факт, что большинство людей связывает с этой фамилией не 'кого-то из семьи Есениных', но определенного человека с этой фамилией – Сергея Есенина, русского лирического поэта, который жил в 1895–1925 гг., – эта фамилия может рассматриваться как имя собственное, денотатом которого является единичный объект, относящийся к кому-то определенному с фамилией «Есенин». Это денотативное содержание, конечно, обогащается энциклопедическими коннотациями – в зависимости от того, каким знанием о Есенине обладает данный человек. Образованный поляк, даже такой, которого не интересует русская поэзия или литература, наверное, связывает с фамилией Есенина следующие энциклопедические коннотации: «Есенин это русский; <...> это поэт». Возможно: «...поэт до- и послереволюционной эпохи; поэт - жертва советской системы». Возможно также: «...поэт – певец деревни и традиционной деревенской культуры». А также: «...муж Айседоры Дункан, американской танцовщицы» и т. д. Любители поэзии, знатоки творчества Есенина будут связывать с его фамилией значительно более богатые ряды коннотаций, включающие сведения о его жизни и творчестве, поэтике его произведений и т.п. Это не меняет факта, что сама его фамилия не приобретает понятийного содержания и остается совокупностью звуков, позволяющей идентифицировать объект, а следовательно, обслуживающей лишь референтную функцию.

Такую роль слово *Есенин* выполняет в языке. Носителем каких смыслов становится фамилия *Есенин* в стихотворении Кубяка?

Wagankowskoje kladbiszczce

Deszcz koła na wodzie. Widnokręgi cieni.
Horyzonty czasu godziny ostatniej.
Zamknięte pierscienie trzydziestu jesieni.

Z roztańczonych palc w Isadory Duncan
 stracony na ziemię najcięższy z piersieni.

Pod wierzba, o deskę, od matki – to tutaj,
 i nigdzie i nigdzie gdzie indziej na ziemi

Jesienin. Jesienin.

Ваганьковское кладбище

Дождь – круги на воде. Кругозоры тени.
 Горизонты времени последнего часа.
 Замкнутые перстни тридцати осеней.

С пляшущих пальцев Айседоры Дункан
 оброненный на землю самый тяжелый из перстней.

Под ивой, о доску, от матери – это здесь,
 и нигде и нигде в другом месте на земле

Есенин. Есенин.

Заглавие стихотворения, использующее оригинальное русское звучание названия кладбища, на котором – рядом со многими известными людьми – был похоронен Сергей Есенин, не только локализует лирическую ситуацию, но и показывает ее в языковой перспективе, присущей описываемому месту: Ваганьковское кладбище является частью русской действительности. Название трактуется как непере译имый естественный знак, неразрывно связанный с называемым объектом. Акт называния имплицитно погружает в мир иной культуры, родной культуры Есенина.

Стихотворение, в котором нет ни одной личной формы глагола, описывает некое состояние остановки событий. Ничего не происходит, а все, что произошло, пребывает остановленным. И лишь присутствие лирического субъекта – его пребывание под дождем «здесь» – придает целостной картине некое темпоральное единство, относя описываемую ситуацию к «я-здесь-сейчас» говорящего.

Это остановленное во времени, вневременное состояние вещей кроет в себе некое движение: движение следов дождя, кругами расходящихся по воде, движение воображения, очерчивающего поле зрения («кругозоры» и «горизонты»), периодическое движение во времени (определенное метафорой «перстней»). Кругообразность объединяет разные моменты и измерения существования: восприятие дождя (который замечается лишь в одном своем проявлении – в «кругах на воде»), пейзаж (в котором тени обозначают кругозор, или кругозор наполнен тенями), время-пространство, отмеченное умиранием («горизонты времени последнего часа»), протекание жизни, представленной как периодическая система («перстни тридцати осеней») и форма перстня, утерянного кру-

жащейся в танце, а значит, описывающей круги Айседорой. Как мы увидим, это не все кругообразные системы, вписанные в этот текст.

Ностальгический осенний пейзаж скрывает в себе ауру смерти, смерти, не названной непосредственно, но однозначно определенной рядом эвфемизмов. Прежде всего такое значение скрывает в себе фразеологизированный эвфемизм «последний час». К смерти относятся также два символических определения: «замкнутые перстни» и «упавший на землю самый тяжелый из перстней». Со смертью связана кладбищенская мизансцена, обрисованная в финальном фрагменте стихотворения. Но и в этом случае поэтический образ – образ смерти – выражен еще и иными средствами, что я постараюсь показать в процессе дальнейшего разбора произведения.

Говоря о «замкнутых перстнях» как об образе завершившейся жизни, исчисляемой периодами лет, я привела одну из двух метафор, структурирующих это понятие в различных культурах: время может пониматься как линейное или круговое движение. Это второе, архаическое понимание времени связано с понятийной структурой мифа, и его можно найти там, где живо мифологическое мышление, например, в христианской литургии, но также и в фольклоре, в народной культуре. Круговое представление о времени является, следовательно, особенно адекватным, если речь идет об измерении длительности жизни Есенина – поэта, связанного с деревней. «Тридцать перстней» – это тридцать лет его жизни, которая, развиваясь во времени, описывала круги спирали, замкнутые в определенный момент смертью.

Жизнь Есенина в стихотворении Кубяка измеряется нетипичным образом также и с той точки зрения, что его возраст определяется количеством не «лет», а «осеней». Эта поэтическая инновация развивает некую присутствующую в языке схему. *Лета* – это не только множественное число от лексемы *год*, но и множественное число слова *лето*, обозначающего жаркое время года. Наряду с выражением *иметь столько-то лет*, в польском языке встречается поэтическое выражение *иметь столько-то весен*, сейчас уже устарелое, но еще употребляющееся в возвышенном книжном стиле для определения возраста молодых людей, особенно девушек. Совокупность четырех времен года предоставляет возможность и для двух других определений, где использовались бы зима и осень. Но подобные определения обычно не употребляются из-за табу, распространяемого на «плохие» времена года, связанные с остановкой вегетации и угрожающими жизни человека атмосферными явлениями. Однако, поэтическая периодизация, примененная в стихотворении Кубяка, использует именно одно из этих «плохих» времен года – осень: жизнь Есенина измеряется количеством осеней. Это придает его жизни особый оттенок грусти, перенося на поэтический образ жизни коннотации осени, образ осеннего умирания

природы. Такой способ концептуализации обусловлен звучанием фамилии поэта, которая в этом контексте перестает быть случайным фонетическим ярлыком, служащим идентификации и исчерпывающимся референтной функцией, но становится значащей фамилией: Есенин – это «осенний» человек, человек, который обречен на печальную жизнь, полную меланхолии, на жизнь в перспективе умирания. Неверная поэтическая этимология приводит к тому, что с фамилией поэта, понимаемой как производное от слова *jesien* ('осень'), связываются негативные коннотации осени, как если бы эта фамилия принадлежала к категории имен нарицательных. Эта смыслообразующая операция осуществляется, благодаря включению фамилии Есенина в языковое пространство польского языка ⁷.

Трагическая судьба Есенина в стихотворении представлена в виде следствия действий Айседоры Дункан, причем этот смысл выражен при помощи серии символов. Айседора, кружащаяся в танце, – это нечто значительно большее, чем Айседора-танцовщица; это символ забытья, беспечности – даже по отношению к серьезным проблемам существования. Перстень, который она роняет на землю, – это символ ее связи с Есениным, но также и – по законам поэтической диалектики – один из перстней лет жизни поэта, тот «самый тяжелый», поскольку завершившийся трагическим финалом. Падение на землю становится падением в гроб ⁸, что окончательно подтверждают кладбищенские декорации, возникающие в конце стихотворения.

Завершающий фрагмент произведения более загадочен, чем предыдущие части. «Здесь», описанное свободными образами, предстает как кладбище. Кладбищенским деревом является ива, ибо это может быть плакучая ива (*Salix vitellina pendula*), но также и символика других видов ивы вполне соответствует образу места, где покоятся умершие ⁹. Метонимическим (синекдохическим) соответствием гроба можно считать упомянутую в этом фрагменте «доску» (ср. *любовь/дружба до гробовой доски*), хотя это может быть и доска креста. Однако вся строка:

Pod wierzbą, o deskę, od matki – to tutaj
(Под ивой, о доску, от матери – это здесь)

остаётся неясной, неопределенной синтаксически. Она оставляет разные возможности интерпретации.

Однако, если в этом несвязном ряду с неясными синтаксическими функциями отдельных членов искать смысл за пределами значений, выраженных словесно, то анализируемая строка обнаружит связность и окажется интегрированным знаком. В этой строке скрыта фонетическая фигура, ономапоэя. Здесь можно обнаружить особое скопление смычно-взрывных согласных:

p-d-b-d-k-d-tk-t-t-t,

что в сопоставлении с вербальным описанием падения перстня может трактоваться как звуковая иллюстрация этого события, а следовательно, как иконический знак, надстроенный над словесным рядом. Этот знак, вместе с тем, значительно более объемный и сложный. В анализируемой строке аллитерацию согласных подчеркивает регулярная система акцентных созвучий – трехсложных амфибрахий (- ' -) с дополнительной звуковой регулярностью в начальных слогах, где во всех созвучиях-стопах выступает гласная *o*. Впрочем, амфибрахический ритм охватывает и следующие строки, создавая объемную звуковую фигуру, надстроенную на ранее принятом силлабическом течении 12-сложного (6+6) стиха. Эту фигуру можно интерпретировать как кинетический образ катящегося перстня, а значит, периодического движения, возвращающегося, описывающего круги, что является аналогом представления о периодичности жизни поэта как «перстней тридцати осеней». Падающий на землю перстень постукивает, но также и звенит. Начиная от слов «и нигде и нигде» вплоть до конца стихотворения, можно различить нагромождение полуоткрытых носовых согласных, выступающих в сопровождении гласной *i*:

i ni - i ni - in - mi - nin - nin,

что несомненно является звукоподражательным иконическим знаком. Подобные ониматопеи широко использовались в поэзии для иллюстрации звука колокольчиков или позвякивания, звучания металлических предметов. Этот иконический знак имеет свое соответствие в польском языковом коде в виде ониматопеи *дзынь – дзынь-дзынь*.

Последнее двустипие произведения, уже участвовавшее в описанных выше ониматопеических упорядоченностях, встроенных в регулярную амфибрахическую систему, обнаруживает и другие возможности семантизации. Повторы «и нигде и нигде», «Есенин, Есенин» содержат в себе нечто от причитания и наводят на мысль о плаче с характерным для него монотонным запевом и призывом умершего. Плач является жанром погребальной поэзии, связанным с кладбищенским пространством, и именно об этом говорит стихотворение Кубяка. Дважды повторенная фамилия поэта становится частью плача. Она является фамилией Умершего.

Вписанная в это двустипие звуковая фигура, подражающая позвякиванию покотившегося перстня, связана и с иной фонетической системой с чрезвычайно изысканной структурой. Трехкратное повторение слога *gdzie* создает ряд в виде:

gdzie- gdzie- gdzie- dzie - zie - sie - sie,

в котором очередным повторам слога сопутствует постепенная редукция ее согласных элементов. Вначале это замена группы звонких согласных *gdz* одной звонкой смычно-щелевой согласной *dz*, сохраняющей мягкость

начального соотношения. Далее исчезает начальная смычность этой согласной и остается мягкий щелевой звонкий компонент *z*, который, наконец, утрачивает звонкость, переходя в *с*. Это все возможные стадии редукции фонологических черт в изменяемом палатальном ряду. Зрительно их можно представить в виде исчезающей полосы звука:



Следовательно, в этот звуковой образ катящегося перстня вписано замирание его звука. Звук умолкает, и его приглушение, выраженное исчезновением звонкости фонемы, происходит тогда, когда произносится фамилия Есенина. Если катящийся перстень является в стихотворении символом хода жизни поэта, то падение перстня и угасание его звука символизирует его смерть. Фамилия Есенина начинает означать плохую судьбу, обреченность, тяготеющую над ее носителем. Носить фамилию *Есенин* – согласно поэтическому видению Кувьяка означает быть приговоренным к смерти.

*

Тонкая сеть соотношений, оплетающая фамилию Есенина в анализируемом поэтическом тексте, становится смыслообразующим механизмом и насыщает эту фамилию многими текстовыми коннотациями. Фамилия *Есенин* становится значащей фамилией, причем в значительно более радикальной степени, чем в случае обычной словообразовательной деривации. Она обретает понятийное содержание, обычно не встречающееся в этой разновидности наименований. Оснащенное подобным образом слово невозможно сопоставить с одинаково звучащей фамилией лица, находящегося вне лирической ситуации, описанной в произведении. Есенин из стихотворения Кувьяка лишь мнимо тождествен Есенину реального мира.

Показанный здесь процесс семантизации имени собственного в заостренной форме демонстрирует возможности преобразования значений, которые скрывает в себе поэзия. Эти преобразования касаются и других типов слов. Слова, включенные в поэтический контекст, подвергаются различным семантическим воздействиям и всегда претерпевают некую модификацию значения.

Эта банальная, по сути, истина об автономии поэтических миров и интенсификации семантических процессов в поэзии должна, тем не менее, постоянно приниматься во внимание при использовании литературных текстов в исследованиях коллективных представлений.

Примечания

- ¹ Документированные таким образом в польском языке стереотипные представления о поляке и русском рассматривает Анджей Кемпиньский (см. его: *Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu*. Warszawa; Kraków, 1990). Обзор основных проблем, связанных с проблематикой стереотипов, представляют Jerzy Bartmiński и Jolanta Panasiuk (см. их статью «Stereotypy językowe» в: *Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny Język polski*. Red. J. Bartmiński. Wrocław, 1993).
- ² Ср.: *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974, с. 67–68, 179; *Его же.* Прагматическая информация для толкового словаря // *Прагматика и проблемы интенциональности* / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 1988.
- ³ См.: *Иорданская Л., Мельчук И.* Коннотация в лингвистической семантике // *Wiener Slawistischer Almanach*. 1980. Nr. 6.
- ⁴ Различные типы коннотации и возможности их использования рассмотрены, в частности, в: *Konnotacja*. Red. J. Bartmiński. Lublin, 1988.
- ⁵ J. Puzynina назвала их «текстовыми коннотациями» и определила следующим образом: «Речь здесь идет о тех недефинируемых семантических свойствах слов, которые для описываемого текста (или совокупности текстов) представляются исключительно существенными в плане содержания, а также формы; они влияют на сочетаемость этой лексемы, переносные значения, сравнения, противопоставления, отождествления и т.д. Они обнаруживаются путем анализа контекстов – близких и отдаленных, а также анализа данной лексемы в сопоставлении с ее этимологией, словообразовательной семьей и синонимической группой» (с. 56). «Текстовые коннотации в еще большей степени, чем языковые, представляют собой открытые группы <...> Совокупность текстовых коннотаций лексем обычно составляет группу, пересекающуюся с группой языковых коннотаций этой лексемы: с одной стороны, она может не включать некоторых стереотипных коннотаций, с другой стороны, может содержать коннотации, выходящие за рамки языкового стереотипа, характерные для данного автора или его среды» (с. 56–57). – *Puzynina J.* Opis i funkcje konnotacji leksemów w tekście: BLUSZCZ i POWOJ w poezji Norwida // *Słowo Norwida*. Wrocław, 1990, rozdz. III.2.
- ⁶ Стихотворение из тома *Zdjęcie maski*, 1960. Цит. по изданию: *Kubiak T.* Wiersze wybrane 1946–1976. Warszawa, 1978. Некоторые элементы анализа этого стихотворения использованы ранее (для иных целей) в монографии: *Dobrzyńska T.* Metafora. Wrocław, 1984, см. s. 223 и след.
- ⁷ Русское слово *осень* не вступает в аналогичные соотношения с фамилией Есенин и не обнаруживает ее внутренней формы.
- ⁸ Земля в мифопоэтическом мышлении, отразившемся в современной польской фразеологии, это материнская среда, к которой тело возвращается после смерти (ср.: «ziemia-matka» – «мать-земля», *niech mi ziemia lekka będzie* – «пусть земля ему будет пухом», «*niech go ziemia pochłonie*» – «пусть земля его примет» и т. п.)
- ⁹ О том, что ива в польском фольклоре выступает как демоничное дерево, в котором живут дьяволы и колдуны, следовательно, как соединяющее земную и потустороннюю реальность, пишет М.Р. Маснова – *Trochę polemiki: w obronie granic metafory* // *Studia o tropach*. I. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław, 1988; *Mayenowa M.R.* *Studia i rozprawy / Wyb. i opr.* A. Axer, T. Dobrzyńska. Warszawa, 1993.

**«Лях-девятьденник» и «москаль-людоед»
(представления этнических соседей друг о друге)**

Положение о том, что в системе традиционной народной культуры отношение к представителям других народов во многом определяется понятием этноцентризма, вполне утвердилось в науке [1]. Основу фольклорно-мифологических представлений о других народностях составляет противопоставление «своего» и «чужого». Когда взаимные представления друг о друге формируют этнические соседи, к тому же родственные народы, картина усложняется и становится более интересной, поскольку на архаические модели накладываются стереотипы, обусловленные конкретно-историческими контактами.

Оппозицию «свой–чужой» в этнокультурном аспекте можно рассматривать с различных позиций: это и соотнесение этнического соседа с каким-либо мифическим (враждебным) народом, и сближение «чужих» с мифологическими персонажами (наделение инородцев или иноверцев зооморфными и демоническими чертами), и определяемый практикой соседства «бытовой» стереотип, находящий колоритное воплощение в анекдотах и присловьях о привычках и чертах характера «не наших».

Особенность взаимоотношений восточных славян (русских, украинцев, белорусов) с поляками состояла не только в наличии непосредственных и длительных контактов (что, кстати сказать, отнюдь не уменьшало «мифологической наполненности» фольклорных образов тех и других). Ситуация во многом определялась различиями вероисповедания (фактор этнического родства «зачеркивался» принадлежностью к другой конфессии), и в глазах православных поляки оказывались в одном ряду с «латынянами проклятыми» и прочими «нехристями», а католики отказывали православным в праве называться христианами. При этом этнографическая ситуация в зоне, например, полесско-польского пограничья (а именно оттуда происходит основная часть приводимого в статье фактического материала), отличалась пестротой. В одном и том же селе (Речица Ратновского р-на Волынской обл., Комаровичи Петриковского р-на Гомельской обл., Ковнятин, Синин и Лисятичи Пинского р-на Брестской обл.) издавна проживали полешуки и этнические поляки, православные и католики. Не являясь этническими поляками, католики-полешуки всячески подчеркивают свою принадлежность к «польской вере», мотивируя это не только внешней стороной обрядности (красивые изображения в костеле и «черные», темные иконы в «русской церкви»; подробнее см. [2. С. 26–28]). В Гомельском

Полесье (с. Комаровичи) нами было зафиксировано свидетельство о том, что, с точки зрения местных католиков, «русские вроде пративники Иисусу Христу, ани идутъ протиў сонца из цэркви. А Божа Мати не злюбила [русскую веру за это] и пашла за сонцем» (Полесский архив ИСл РАН, 1983). Согласно другому рассказу, Иисус Христос получил свое «правильное», божественное имя в костеле, после того как он сначала перешел из «еврейской веры» в «русскую» и сменил имя Юд Навин на Петро-Илья. Но Богородице «не панравила руска цэркаў. И ана перевяла яго ў касцёл. И перекрэстили его. И дали имя Иисус Христос» (ПА, 1983; см.: [3. С. 47]).

Обращает на себя внимание тот факт, что различные локальные восточнославянские традиции по-разному интерпретируют образ «поляка», выделяя в нем те или иные черты. Наиболее ярко соотнесение поляков с неким мифическим народом проявилось на Русском Севере. Популярный персонаж севернорусских исторических и топонимических преданий – «паны» – являет собой пример многослойного фольклорного образа, в котором сочетаются представления об аборигенах края, мифической «чуди» и событиях периода Смутного времени. Рассказы о «панах» или «литве» – это отражение в народной памяти событий 1613–1617 гг., связанных с конкретными локусами. Таковы предания «Панское озеро», «Панской ручей», «Паново болото», «Паны у д. Данилово под Кречетовым», «Нападение панов на д. Волкова», «Паны в Алмозере» [4. С. 158–159, 161–162]. Но описания столкновений местных жителей с польско-литовскими отрядами органично включают мотивы избавления от внешних врагов посредством магической силы или чуда, и образ «панов» разворачивается здесь явно в мифологической перспективе, сближаясь с представлениями о мифических великанах, враждебных людям. Согласно преданиям, лагерь воинственных «панов» чудесным образом превращается в озеро, поляки поражены слепотой (за угрозу осквернить церковь) или молнией, оставлены крестом с надписью, часовней или высокой горой. Исчезнувшие «паны», подобно великанам, оставляют после себя следы – огромные кости, находимые в земле, и зачатые клады.

В народном сознании инородцы традиционно сближаются с животными. Мотив происхождения различных этносов от животных или превращения «чужих» в зверей и птиц – один из самых распространенных в этиологических легендах. Отразился он и в этнокультурном диалоге между восточными славянами и поляками.

На Украине рассказывали, что первого ляха св. Петр сделал из пшеничной муки, но его съела собака. Тогда св. Петр стал бить собаку и выбил из нее много ляхов [5. С. 175]. Обыгрываются в украинских народных легендах и польские фамилии: Бог сделал поляка из

теста, но его съела собака. Рассердившись, Бог ударил собаку о мост – вышел «пан Мостовецкий», ударил об землю – вышел «пан Земнацкий» [5. С. 175–176]. По полесскому преданию, Бог вытрясал панов из собаки, «ухапіўши сабаку за хвост <...> а з сабаки сыплюцца паны і бегуць куды від, а дзе каторы астановіцца, так Бог яго і называе. Астанавіўся пад берозаю – пан Березоўскі, пад дубам – пан Дубіскі, пад ольхаю – пан Альховіч, пад гарою – пан Падгурскі, а як каторы ачнуўся за балотам або за рекою, то пан Заблоцкі і пан Зажецкі» [6].

Представления о «родстве» иноэтнических соседей с собакой находят выражение в поверьях о «черном небе», которым якобы обладают русины. Поляки называют их *czarny* (ср. *czarny* и как эвфемизм черта), говоря, что можно определить – собака является поляком или русином по тому, какого цвета у нее глотка. Русины не остаются в долгу и отвечают: «U Mazuga czaгна гуга (глотка)» [7. 1923. Т. 22. S. 180–181].

Жители Волковысского повета считали, что мазуры, подобно животным, рождаются слепыми и прозревают только на третий день [8. S. 233]. Данная особенность послужила объяснением мазурской храбрости – в сражениях «слепые мазуры» бесстрашно (*na ślepo*) шли на смерть, т. к. «не видели» числа врагов [7. 1903. Т. 9. S. 70]. Этим же поверьем объясняется западноукраинское прозвище поляков «лях-девять-денник»: считается, что слепого новорожденного мать 9 дней держит «под макитрой», пока у него «не откроются глаза». «Ляхи» рождаются слепыми, как котята, и потому само их название имеет отрицательный оттенок, отражая якобы их нечеловеческую природу: «погане 'му імя: Лях» [9. С. 369–370].

В свою очередь мазуры думали, что слепыми рождаются русины; с точки зрения русинов, это безусловно было заблуждением: «Мазур сліпий ся родит, а дурний умирае». По этому поводу существует такая русинская байка: «Питав сі Мазур Русина: А ци то правда, зе се Русінек сълепи родзі. – То правда, – каже Русин, – бо завше Мазура наймают, аби му девйить день у сраку дув, поки не провидит» [9. С. 371]. Интересно, что в этом рассказе, записанном от русина, делается попытка передать особенности польского произношения, мимо которых не могли пройти внимательные соседи.

Согласно еще одной версии из Западной Белоруссии, в начале света был человек, который никому не уступал дорогу. Однажды он встретился с чертом и стал с ним драться. Черт ударил его и выбил ему зубы. Человек стал шепелявить, и от него пошел целый такой род, т. к. дети переняли его речь (волковысск. [8. S. 232–233]).

Народная традиция часто приписывает «чужим» (инородцам, иноверцам) черты людоедов, причем людоедами оказываются не только полумифические «дикие народы» (*песиголовцы, niedowiarki* и др.), но и

непосредственные этнические соседи. В польской песне в качестве людоедов рисуются русские – «москали» – как продавшие душу черту и сами выступающие как «демоноподобники»:

Przeog w Tuśmienicy ślubu by mi nie dał,
Bo Moskal niewiara czartu duszę sprzedał.
Na naszym kościele Boże słońce świeci,
Mówią, że Moskale jedzą żywcem dzieci [7. 1923. Т. 22. S. 139].

Что касается бытовых наблюдений друг за другом, то они чаще всего реализуются в юмористических присловьях и дразнилках, имеющих взаимную направленность. В центре внимания оказываются черты характера соседней, особенности их быта и жизненного уклада. Так, украинцы следующим образом объясняют склонность поляков к воинской службе: когда евреи схватили Иисуса Христа, то повели его сначала к ляхам. Ляхи хотели отбить Христа, и за их доброе сердце Христос дал им награду – воинственность: «что лях, то и вояка» [5. С. 174–175].

Жители западных районов Белоруссии (Сокольский, Волковысский пов.) так характеризовали своих соседей: «Мазуры из Польши смеются над нами, называют нас *русинами*, *капустниками*; но сами они не лучше – одеваются в покупное, а их женщины – *hultajki* (бездельницы, гуляки). Каждый мазур бежит за девками, как кнур» [8. С. 233].

С точки зрения поляков, основная отличительная черта их восточных соседей – это пристрастие к горячительным напиткам и любовь к потасовкам. Образ москаля – пьяницы и драчуна (но в общем-то, недалекого и безвредного) – пожалуй, является наиболее распространенным и устойчивым в народных присловьях, именно таковы россияне – *kasary*, *burłaki*. Отметим, что эти же черты этнического стереотипа, но уже «патриотически», разрабатываются в шуточном рассказе о том, как москаль перепил мазура:

(Мазур говорит):
Wiek nas krótki,
Napijem sie wódki
(после чего пьется первая чарка).
Wiek nas nie długi,
Wypijem drugi
(пьется вторая).
Wiek nas prędko leci,
To wypijem trzeci
(пьется третья).
Wiek nas malo warty,
Wypijem sobie czwarty
(пьется четвертая).

(Далее инициатива переходит к русскому:)

Nu bratiec, mat' twaju jati,

Wyjtem srazu pa piati

(после чего подводятся итог:)

Tieper' mat' twaju jati,

Wyjtem pa desjati [8. S. 235].

В таком широком диапазоне на протяжении не одного столетия вели разговор друг с другом «свои чужие» – русские (украинцы, белорусы) и поляки. Этнические соседи являлись глазам друг друга то подобием мифологических персонажей, то воинственными противниками, то партнерами за пиршественным столом. Однако во всех этих ситуациях традиционная культура активизировала свои стереотипы в восприятии «чужих», проецируя непосредственные этнокультурные контакты в мифологическую перспективу.

Литература

1. См.: *Bystroń J.S. Megalomania narodowa. Warszawa, 1935.*
2. *Белова О.В. Этноконфессиональные стететипы в славянских народных представлениях // Славяноведение. 1997. № 1. С. 25–32.*
3. *Белова О.В. Народное православие Полесья // Живая старина. 1994. № 3. С. 46–47.*
4. *Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб., 1991.*
5. *Булашев Г.О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Киев, 1909.*
6. *Толстая С.М. О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции // От Бытия к Исходу. М., 1998. С. 21–37.*
7. *Lud. Lwów, 1895. T. 1.*
8. *Federowski M. Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków, 1897.*
9. *Етнографічний збірник. Львів, 1908. Т. 24.*

Конфессиональный образ поляка в русской народной и письменной традиции

С точки зрения русского православного сознания XVI–XVII вв. образ поляка складывался, по преимуществу, как образ не столько этнического, сколько конфессионального чужака. И для обыденного православного, и для богословского сознания данного времени наиболее релевантными были те черты этого образа, которые отличали католика от православного человека и тем самым включали образ поляка в более общий контекст представлений о католическом, а следовательно, западном мире. Таким образом, перефразируя слова Пушкина, можно сказать, что это был не столько «старинный спор славян между собою», сколько не менее старинный спор католического и православного мира. С наибольшей прямотой и непосредственностью оценку католическому миру и полякам, как части этого мира, дал непримиримый протопоп Аввакум со свойственной ему резкостью и нелицеприятностью заявивший: «Мы же, правоверные, сие блядское мудрствование Римского костела и выблядков его, поляков и киевских униатов за все их еретические нововведения анафеме трижды предаем» (Аввакум 1927, стлб. 268). Характерной чертой этого взгляда с православного Востока на католический Запад было неразличение (или плохое различение) внутреннего членения западного мира на отдельные этносы, сливавшегося для русского человека в недискретный образ чуждого еретического Запада. Поэтому даже особенности чисто бытового поведения поляка, его национальная одежда, прическа и прочие детали служили не для осмысления его индивидуального национального облика, а воспринимались как знаки его конфессиональной принадлежности, ставящие поляка в общий ряд с другими латинскими «еретиками».

Этот подход проявился и на чисто лингвистическом уровне: жителей польско-литовского государства на Руси именовали собирательным термином «Литва» (в севернорусских преданиях о польско-литовской интервенции начала XVII в., которая в народе получила название литовского разорения, говорится о том, что здесь «литва стояла» или «литва взяла Зубцов» и под., см., в частности, ИОЛЕАЭ 1874/1, 114–118). Подобное оформление этнонимов свидетельствует о восприятии этого этноса как некоего нерасчлененного, неразличимого, и поэтому непонятного мира. Ср. также имеющие пейоративный оттенок собирательные этнонимы типа: *татарва*, *чудь белоглазая*, позднее – *китаеза*, указывающие на то, что тот или иной народ воспринимается как некая единая безликая масса, не расчленяемая на отдельные индивиды.

С точки зрения средневекового православного мышления католичество как бы уже не являлось христианством, потому что католики из-за своих многочисленных отступлений от канонов семи вселенских соборов утратили всякое право называться христианами. Здесь показателен ответ Иоасафа, архимандрита Троице-Сергиевой лавры, осаждавшим ее Петру Сапеге и Александру Лисовскому, предлагавшим Иоасафу сдаться и перейти в католичество: «Како же вечную оставити нам святую истинную свою православную христианскую веру... и покориться новым еретическим законам, отпавшим христианския веры... и покорится <...> ложному врагу вору и вам, латине, иноверным, и быти нам яко жидом или горше сих...» (Палицын 1955, 137).

Эта же точка зрения характерна и для светских авторов: в «Новой повести о преславном Российском царстве» (1610–1611 гг.), описывавшем историю польско-литовского нашествия, изменники-бояре, примкнувшие к полякам, недвусмысленно именуются «врагами креста Христова», т. е. попросту – нехристиами, а неизвестный автор «Плача о пленении и конечном разорении превысокого и пресветлейшего Московского государства», написанного в 1611–1612 гг. во время оккупации поляками Москвы, так описывает венчание Лжедмитрия I с Мариной Мнишек: самозванец «хотя разорити нашу непорочную христианскую веру, приняв себе из Литовския земли невесту, Люторския веры девку <...> и не устыдився ни мало ниже бессмертного Бога, ввел ее, некрещену, в соборную апостольскую церковь...» (Платонов 1888, 106). Таким образом, с точки зрения автора этого текста, отражавшего, безусловно, позицию широких кругов русского общества, Марина Мнишек не была христианкой, а поэтому не имела права входить в православную церковь и тем более венчаться по православному обряду.

Характерно также, что слово «костел» в эту эпоху означало не только католический храм, но и вообще любое нехристианское святилище. Так, летописец, сообщая о покорении Сибири Ермаком и о введении там православия, называет костелами мусульманские храмы: «И послал их [т. е. войско Ермака] Бог... победить бусурманского царя Кучюма и разорить богомерзкие и нечестивые их капища и костелы», а после того, как казаки стали воздвигать православные церкви, «отпала вся бесовская служба и костелы и требища идольские разрушились...» (ПСРЛ 36/1, 120). Показательно, что в этом тексте, как и во многих подобных, слово «костел» по существу синонимично идольскому требищу и капищу – понятиям, применимым к сугубо языческим объектам. Стоит напомнить также, что в севернорусских говорах слово «пан» до сих пор имеет значение «варвар, нехристь» (ИОЛЕАЭ 1874/1, 94).

И поведение, и одежда католиков не просто ассоциировались в глазах православного русского человека с нехристианским миром, но со-

вершенно однозначно связывали образ католика с нечистой силой. И эта связь была одинаково несомненной и для высокообразованного богослова-монаха и для полуграмотного крестьянина. В «Сказании» Авраамия Палицына, в частности, рассказывается о старце, которого мучили бесы, при этом подчеркивается, что бесы являясь к нему в литовских высоких шапках. Широко известно, что, согласно восточнославянским верованиям, черт ходит в польском платье.

Необходимо заметить, что отношение поляков даже к общехристианским святыням никогда не было особо уважительным, вспомним, хотя бы, эпизод Ливонской войны (2-я половина XVI в.), когда Александр Полубенский «чудному Николе глаза колол», т. е. выколол глаза на иконе Николая Чудотворца (Успенский 1982, 93). Эта тенденция лишь усилилась в период интервенции начала XVII века, когда поведение поляков трудно было назвать христианским даже самому лояльному наблюдателю: «и с оружием скверными поляки... ходяще в церковь» (нахождение в храме с оружием запрещено в православной традиции – *Е.Л.*)» (Палицын 1955, 263); «святые же и поклоняемые образы владыки Христа и пречистыя его Богоматери и всех святых разсечены и очеса извертаемыи...» (Палицын 1955, 229). Массовые случаи осквернения поляками церквей и надругательства над иконами и мощами святых укрепляли в русском сознании представление о католиках как о безбожниках и нехристях. Чего стоит один только поступок поляка Блинского, который стрелял в икону Богородицы, находившуюся в воротах одной из московских стен (Платонов 1888, 97).

Обвинения в колдовстве, чародействе и связи с нечистой силой особенно интенсивно выдвигались в адрес Дмитрия Самозванца и Марины Мнишек, поведение которых, согласно историческим песням, полностью соответствовало поведению колдунов:

Стоит Гришка розстришка Отрепьев сын
Против зеркала хрустальняго,
Держит книгу в руках волшебную,
Волхвуе Гришка розстрижка Отрепьев сын...

Скромную еству сам кушает [в пятницу – *Е.Л.*],
А постну еству роздачей дает;
А местные иконы под себя стелет,
А чудны кресты под пяты кладет (Миллер 1915, 621).

Согласно другой песне, в пасхальное воскресенье, когда все нормальные люди идут в церковь,

А Гришка да розстрижка со своею царицею Маришкой...
Они не на службу христовую пошли,
Пошли в парну баенку (Миллер 1915, 91).

Не менее характерны слухи о том, что скоморошья маска висела у Лжедмитрия вместо икон. Марине Мнишек, как известно, предъявляли обвинения в оборотничестве – черта, характерная для всех ведьм. Считалось, что после бесславной смерти первого Самозванца она обернулась сорокой и вылетела из окна. Поэтому, по преданию, пришлось в Москве перебить всех сорок, чтобы избавиться от Марины Мнишек.

Еще одно свидетельство «нечистого», языческого поведения поляков приводится в упоминавшемся «Плаче о разорении...» – это сыроедение, т. е. потребление сырой, необработанной пищи, людоедство и питье человеческой крови: «Тии же окаяннии поляки, седша в Москве в осаде и ждуще помощи от короля своего... и таково убо сих окаянных сыроядцов и кровопивцов жестокосердие..., яко плоти человеческия ядоша и кровь пьюще и с жребия друг друга убиваша и ядуще» (Платонов 1888, 109).

Подобные примеры можно продолжать, однако среди них есть один постоянный мотив, связанный с образом католика вообще и поляка-католика, в частности, и с точки зрения русского сознания особенно возмутительный и нетерпимый – это бритый подборок, безбородость. Эта особенность одинаково возмущает и митрополита Макария, и средней руки чиновника того времени и, безусловно, крестьянина. В северно-русской исторической песне о литовском разорении говорится:

Знать прогневали мы Господа,
 Что послал нам беду лютую,
 Поднималась туча черная...
 Да не туча поднималась –
 Шла великая рать несметная,
 Был тут лях – душа поганая,
 Был чухна из-за синя моря,
 Борода его кошениая... (ИОЛЕАЭ 1874/1, 94).

В данном случае «поганая душа» ляха – не столько и не только характеристика его моральных качеств, сколько характеристика его религиозного статуса – поганая душа – значит нехристианская, языческая. Но при чем тут «кошениая», т. е. стриженная, борода чухны? Очевидно, это не просто этнографическая деталь. Она является не менее убедительным доказательством нехристианской сущности захватчиков, чем «поганая душа» ляха. В этой песне безбородость связывается с образом чухонца, пришедшего вместе с ляхом разорять русскую землю, однако в других текстах первой половины XVII века это относится в первую очередь к полякам.

В уже упоминавшемся «Плаче о разорении...» рассказывается о том, как поляки, заняв Кремль, раку Василия Блаженного разрубили на много частей, а сам одр, на котором покоилась рака, сдвинули с места и на

этом месте поставили лошадей и «с женообразными лицами безстудне и безстрашне того святого блаженного Василия в церкви блудное скаредие творяще» (Платонов 1888, 114). С точки зрения современника этих событий осквернение гроба святого и вхождение в церковь без бороды – «с женообразными лицами», что уподобляет мужчину женщине, грех примерно одинаковый. Заметим, что у старообрядцев до сих пор сохраняется запрещение входить в церковь бритому человеку, а если старообрядец, живущий «в миру», брился и перед смертью в этом не покаялся, его хоронят без выполнения похоронного обряда, т. е. фактически уподобляют нечистому, «заложному» покойнику (На путях, 301). С этим согласуется мнение, бытующее среди старообрядцев, что без бороды невозможно попасть в царство небесное (Мельников 1910, 267). Ср. также свидетельство петровской эпохи, согласно которому противники петровских реформ утверждали, что «таких людей, кто бороды бреет, невелено в земле погребать <...> и поминку творить», а следует «яко же пса кинуть в ров» (Голикова 1957, 175). Поэтому при насильственном пострижении бород в эпоху Петра многие старались сохранить свои бороды и завещали положить после их смерти в гроб, чтобы предъявить на том свете (см., в частности, Исполнение 1870, 594–595).

В русских источниках встречаются обвинения в безбородости в адрес не только поляков, но и русских людей. Характерно, что этот факт осмысливается именно в конфессиональном плане как отступление от православной веры и впадение в латинскую ересь.

Пострижение бород и усов считалось настолько тяжелым прегрешением, что в послании митрополита Макария в Свяяжский городок 1552 г. этот грех стоит наряду с такими прегрешениями, как мужеложество и прелюбодейство, и наказывается ни много ни мало отлучением от церкви. При этом Макарий подробно объясняет, почему грешно постригать бороды: «И сотворил нас Бог по образу своему, а мы неблагодарные, стали заботиться о плоти своей, а не о духе, забыв, что плотская мудрость враждебна Богу и закону Божию не повинуется... бритву накладываем на свои бороды, стараясь угодить женщинам и свою совесть поправ, но в православной вере истинным рабам Божиим не подобает этого делать, потому что это есть дело Латинской ереси и чуждо христианским обычаям» и далее: «А те, кто, забыв страх Божий, и впредь станут бороды брить или усы подрезать, или начнут с отроками в содомский грех впадать, или с пленными женами и девицами в прелюбодейство впадать, тем быть по священным правилам отлученным от церкви...» (ПСРЛ 13, 183). С точки зрения главы русской церкви середины XVI в. бритье бороды стоит в одном ряду с мужеложеством и прелюбодейством.

Показательно, что в перечне грехов, за которые, по мнению авторов начала XVII в., наказал нас Господь, настав на Россию поляков, бритье

бороды встречается наряду с такими прегрешениями, как колдовство, обращение к бесам, оскорбление имени Божьего и др. Грехи, переполнившие чашу терпения Божия, начались еще при Борисе Годунове, которого обвиняют в том, что он опустился до волшебства и чарования, т. е. по существу стал колдуном, а также потакал последователям латинской и армянской ересей, которых он очень любил, и при нем взрослые мужчины бороды свои постригали, уподобляясь юношам. Так, о Борисе Годунове говорится: «Ереси же арменстей и латынстей последующим добр потаковник бысть; и в женскоподобных любящеи бровити [царей веселити], зело любими от него быша» (Палицын 1955, 258), «и старии мужи брады свои постризаху, в юноши переменяхуся» (там же, 109).

Еще более выразителен этот мотив в «Повести о видении, бывшем неизвестному мужу духовну» (1606 г.). В этой повести рассказывается о чудесном видении, бывшем одному человеку: будто стоит он в дверях Успенского собора в Кремле и видит сидящего на престоле Господа нашего и стоящих перед ним Богородицу и Иоанна Крестителя. Господь говорит, что русские люди настолько погрязли в грехах, что переполнили его терпение. Богородица и Иоанн Креститель умоляли Его помиловать русских, но Он оставался непреклонен и перечислил те грехи, которые вывели Его из терпения: «церковь мою оскверниша злыми своими праздными беседами, и Мне ругатели бывают, взявше убо от скверных язык мерзкие их обычая и нравы, брады своя постригают и содомская дела творят и неправедный суд судят и ...грабят чюжие имения...» (Платонов 1888, 59). Как видим, в словах, приписываемых самому Господу, пострижение бород упоминается тотчас за хулой на имя Божие и, очевидно, по своей тяжести считается даже большим грехом, чем неправедный суд или грабеж чужого имущества.

Почему же такая, казалось бы, совершенно бытовая деталь, как пострижение или бритье бороды, вызывала в русском обществе такое неприятие и так тесно связывалась в сознании с ересью, колдовством и грубым отступлением от истинной христианской веры? Очевидно, что это неприятие шло с двух сторон – сверху – от церковных иерархов, и снизу – от самого народа, но аргументация той и другой сторон, естественно, была разной. Почему грешно брить бороды с точки зрения церкви, объяснил митрополит Макарий в уже цитированном Послании: человек создан по подобию Божию и, следовательно, грешно по своему своелюию чем бы то ни было исказать этот облик.

Народная точка зрения требует более подробных объяснений. Мы не будем здесь подробно останавливаться на общеизвестной интерпретации бороды как символа мужского и человеческого достоинства – об этом много писалось, в частности, в связи с пострижением бород в петровский эпоху и реакцией на это русского общества (см., например, Ус-

пенский 1982, 173–175). Заметим только, что в русском праве повреждение бороды расценивалось как тяжелое оскорбление и преступление большее, чем убийство: в «Псковской судной грамоте» (XIV–XV вв.) за это полагался наивысший штраф в два рубля, тогда как за убийство взимался лишь один рубль (СД 1, 229). Полякам, безусловно, было известно это отношение русских к бороде, и они использовали его для оскорбления. Об одном таком случае упоминает Симон Азарьин в своем «Житии и новых чудесах преп. Сергия Радонежского»: захватив в плен одного русского боярина, поляки «сбрили ему усы и бороду, издеваясь» (Азарьин 1997).

В восточнославянском народном сознании бритый подбородок как бы уподоблял мужчину женщине, о чем свидетельствует постоянный эпитет поляков – «женообразные», или «с женообразными лицами» – то есть люди, бреющие бороду, как бы постоянно находятся в состоянии травести, а любая травестия, применявшаяся, кстати, во время святочных и масляничных ряжений, есть форма оборотничества и однозначно связывается с демонизмом. Изменение пола или сексуального поведения, своеобразный гермафродитизм – характерная черта украинского *опыря* (разновидность нечистого ходячего покойника), который один месяц пребывает в облике мужчины, а другой месяц – в облике женщины, а по другим свидетельствам, его характеризуют гомосексуальные наклонности. Здесь можно вспомнить соответствующий эпизод из романа А. Мельникова-Печерского «В лесах»: бес, явившийся отцу Евстафию, «бьяше же женомуж», т. е. был гермафродитом (Мельников 3, 68).

Бесконтрольное смешение мужского и женского начал опасно тем, что возвращает мир в состояние первобытного хаоса (вспомним о существовании и в славянской культуре представлений о нерасчлененности мужского и женского начал в первичный период бытия и о разделении первочеловека-андрогина как акте Божественной воли, Яворский 1915, 3). Поэтому в традиционной культуре существовал ряд запретов, связанных с бородой, нарушение которых как бы вело к смене половой принадлежности или, по крайней мере, к вовлечению лица одного пола в сферу противоположного пола: запрещалось, в частности, мальчику или юноше смотреть в дежу (осмысляемую как сугубо женскую принадлежность), иначе у него никогда не вырастет борода. Если женщина нарушит запрет ходить во время месячных регул в церковь (т. е. будет игнорировать особенности своего пола), у нее вырастет борода.

В славянской народной традиции нормальный рост волос во всех положенных природой местах являлся свидетельством не только физической, но и духовной нормальности человека, а любая патология в этой области, как и другие физические недостатки (например, кривизна, хромота и др.) указывала на причастность такого человека к демоническому миру. Нормальный рост волос связывался в народной культуре с нормальным коли-

чеством жизненной силы того или иного человека, а отсутствие или недостаток ее характерны, прежде всего для представителей потустороннего мира, ведьм и колдунов, которые восполняют ее тем, что воруют жизненную силу у людей, животных и растений, отнимая молоко у коров, здоровье у людей, силу у цветущего хлеба, т. е. занимаются, по существу, вампиризмом. Чаще всего отмечается бесплодность, бездетность подобных персонажей (ведьм, опырей, колдунов), внешним выражением которой является отсутствие вторичных половых признаков, в том числе отсутствие бороды, бровей, растительности на половых органах и под мышками. Характерно, что бесы на русских иконах изображались безбородыми и вообще безволосыми (ср., в частности, русские названия черта *лысый бес*, *лысый черт*, *голенький*), по севернорусским представлениям, черт не имеет бровей, согласно белорусским, украинским и сербским поверьям, ведьмы и упыри не имеют растительности на половых органах. Таким образом, отсутствие бороды в народной культуре является признаком нечистого, демонического существа, который, сам не имея достаточно жизненной силы, крадет ее у других людей. Поэтому бритые подбородки поляков и других представителей западного, католического мира воспринимались русскими людьми не просто как бытовая деталь, а как признак их демонической природы.

Литература

- Авакум 1927 – Памятники истории старообрядчества. Л., 1927. Кн. 1. Вып. 1.
 Азарьин 1997 – *Азарьин Симон*. Житие и новые чудеса отца нашего преподобного Сергия Радонежского. М., 1997.
 Голикова 1957 – *Голикова Н.Б.* Политические процессы при Петре I по материалам Преображенского приказа. М., 1957.
 ИОЛЕАЭ – Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при имп. Московском университете.
 Исполнение 1870 – Исполнение указа Петра Великого о бритье бород в Соликамске 1705 г. // *Русская старина*. 1870. Т. 1.
 Мельников 1910 – *Мельников П.И.* Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Сборник в память П.И. Мельникова. Нижний Новгород, 1910. Ч. 11.
 Мельников 3 – *Мельников П.И.* Собрание сочинений в 8 томах. М., 1976. Т. 3.
 Миллер 1915 – *Миллер В.Ф.* Исторические песни русского народа XVI–XVII вв. Пг., 1915.
 На путях – На путях из земли Пермской в Сибирь. М.
 Палицын 1955 – *Палицын Авраамий*. Сказание. М., 1955.
 Платонов 1888 – *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII как исторический источник. Спб., 1888.
 ПСРЛ 13, 36 – Полное собрание русских летописей. Т. 13; Т. 36.
 СД I – Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1.
 Успенский 1982 – *Успенский Б.А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
 Яворский 1915 – *Яворский Ю.А.* Памятники галицко-русской народной словесности. Киев, 1915.

Образ поляка на русской и украинской сценах XVIII в.

Оппозиция свой/чужой в культуре ведет себя по-разному. В мифологии она определяет взаимодействие того и этого мира, мира живых и мира мертвых. В формирующемся историческом сознании эта оппозиция, зачастую не утрачивая мифологических черт, характеризует и разделяет различные этносы, оставляя за чужим значение опасности. Служит она дифференциации членов различных социумов, где чужой также наделяется негативными чертами.

Эта оппозиция лежит в основе зарождающегося национального самосознания, когда самописание строится от противного. Она различно реализуется в общественной жизни разных эпох, где, порой усиливая свои мифологические значения, организует полемические выступления различного рода. Она определяет и смысл художественных произведений. Здесь противопоставление своего и чужого может решаться в мифологическом ключе, как в эпоху романтизма, примером чему могут служить произведения Н.В. Гоголя. Эта оппозиция работает и в социальном ключе, как, например, в дидактическом искусстве Польши и России в эпоху борьбы с галломанией. Так она способствует созданию идеального образа «своего».

Иногда эта оппозиция теряет остроту и остается только невидимым фундаментом для характеристики одного из двух членов пары в отсутствие другого. Тогда оппозиция свой/чужой уходит в «глубины» текста, и на поверхности остается только один «чужой» или только один «свой». В этой ситуации внешне «свой» и «чужой» разделены и не образуют последовательного противопоставления, но внутренне они не теряют связи друг с другом. Выступая самостоятельно, «чужой» характеризуется тем же набором черт, что и в полной оппозиции. Этот постоянный набор не предполагает инноваций. Характеристика «чужого» в отрыве от «своего» практически не меняется, тем более что она часто поддерживается и вне-текстовыми средствами. Она остается такой же, какой мы ее видим в развитой оппозиции свой/чужой.

Так создаются устойчивые характеристики, которые участвуют в создании национальных стереотипов и никуда не уходят из пространства культуры и время от времени появляются на поверхности, как в высоком, так и низовом искусстве, а также в фольклоре. Они участвуют «в той постоянной игре смыслов, характер которой определяется необходимостью постоянно решать проблему сходства и различия во всех ее конкретных вариантах»¹.

Стереотипы эти складываются из черт внешнего облика чужого, в них выражается отношение к чужому языку и этикету. Имеет стереотип

и ряд постоянных психологических черт. Стереотипные черты возникают в искусстве как в полном виде, так и усеченном, и всегда легко узнаваемы как в сложных художественных текстах, так и в бытовых анекдотах, хранящих память об оппозиции свой/чужой зачастую в наиболее ярком виде.

Русская культура подошла к Новому времени с развитой оппозицией свой/чужой, но она не помешала впитыванию «чужого», потому что противопоставление «своего» и «чужого» не было абсолютным. «Чужой» в одном отношении мог оказаться «своим» в общности более высокого порядка. «Рязанец-кособрюхий» был чужим в противопоставлении москвичу, но своим – в противопоставлении к немцу; точно так же и немец мог стать своим по отношению к внеевропейским народам². Не-абсолютность оппозиции не мешала существованию ее устойчивых значений. Войдя в более близкие контакты с «чужими», русская культура сохраняла предубежденность против них и манифестировала ее в устойчивых стереотипах «чужого».

Эти стереотипы частично были, если так можно выразиться, заимствованы за счет того, что русская культура XVII–XVIII вв. испытывала влияние со стороны украинской культуры, деятели которой, оказавшись в России, передавали свой опыт видения «чужого», в том числе, в таких художественных формах, как театр. Если украинский театр, как вся украинская культура XVII–XVIII вв., имел самые непосредственные связи с Польшей и создал свои формы отношения ко всему польскому, то русский театр, как и русская культура в целом, опирался во многом на украинский опыт и повторял его, тем более что в организации русского театра значительное место занимали украинцы. Вместе с серьезными пьесами и интермедиями на русскую сцену пришел и образ поляка. Тем не менее можно усмотреть и собственно русское отношение к образу поляка и Польши на сцене. Таким образом, внешняя точка зрения на стереотип за счет связей России и Украины как бы удваивалась³.

Обращение к театру, культурному феномену, бытующему на среднем уровне культуры, представляется продуктивным, так как он дает обобщенный образ «чужого». Как всякую срединную форму, театр подпитывал фольклор. Связи с ним были достаточно активными, следовательно, театр отражал и народные представления о «чужом». В нем существовал и ряд литературных форм, а также риторически правильно построенные сюжеты, развитый символично-аллегорический язык, с помощью которого также воссоздавался образ «чужого».

Для изображения «чужого» избираются ближние этносы, но не дальние, что характерно для этнического сознания любых эпох. В поле зрения попадают, соответственно, близкие соседи. Этнический портрет, наблю-

даемый с ближней точки, детализируется, но не вырастает в законченное целое. Он остается набором не связанных между собою черт. Обычно он представляет «чужого» как врага, или по крайней мере как носителя иной, враждебной и непонятной системы ценностей. Кроме того, он подается в комическом ключе – чужое всегда подвергается осмеянию.

В украинском театре поляк выступает в ряду представителей других соседних этносов: на сцене, кроме поляка, появляются цыган, еврей, москаль. Поляк – герой многих интермедий. Но польские темы входят в театр и в серьезном плане, приобретая исторические очертания, правда, это бывает довольно редко. С этой точки зрения интерес представляет украинская пьеса «Милость Божия», где польско-казацкие сражения подробно описаны в огромных монологах, и стереотип «чужого» не переводится в сценический план.

Здесь на сцену выходит сама Украина. Богдан Хмельницкий напоминает, что казаки засвидетельствовали ляхам свою верность, одерживая для них победы на суше и на море. Кошевой перечисляет обиды, нанесенные ляхами. Казаки рассказывают, как они с ними расправились, обещая завести за Вислу и гнать по лесам. «Муза і Аполлон грядущую ляхом погибель предвозвіцають»⁴, обвиняя ляхов во всех бедах казаков, которые не щадили своих жизней для короля: «Крові не жаліли, Голов не щаділи, тебе заступає, тебе прославляє?»⁵ Ляхи, которые завидуют казацкой славе и умаляют ее, именуется зайцами, «плюгавцями», а Польша – «врагом и озлобителем раздраженным». Так выстраивается образ врага на исторической основе. В монологах перечисляются имена реальных действующих лиц на театре истории: польских гетманов, Потоцкого, Салеги, Шембрака.

Примечательно, что в монологе Вести подробно перечисляются богатства ляхов, оставленные ими на Украине при позорном бегстве: тут и соболи, и горностаи, и «ванни, конви, імбрики, намети, Мідинці сребрянніє, фарини, паштети, Цукри, креденси, столи, скрині»⁶ и многое другое. Здесь явно просвечивает неприятие чужого быта, чужой склонности к роскоши и богатству, которое презирают казаки. Так стереотип врага поддерживается стереотипом чужого быта.

В «Разговоре Малороссии с Великороссией» также отсутствуют персонажи, олицетворяющие «чужого». Зато аллегории говорят о том, «как жили под Польшею с запорожской сечью», в тексте мелькают такие словосочетания как: «польская корона», «поляки злобно надо мною издевались», «бремя ляхов», или определения типа: «лестные ляхи». И здесь стереотип поляка складывается только на уровне слова, и представления о «чужом» имеют исторический характер.

Историческое знание дает себя знать и в смеховом регистре, в интермедиях, где например, Поляк выступает с такой речью: «Niechże ро

wszystkich granicach polska sława słynie»⁷. Он вспоминает о том времени, когда сидел в Киеве, был губернатором.

На языке аллегорий исторические события изображены и в русском театре. В шестом явлении пьесы «Страшное изображение второго пришествия» появляется аллегория, Гениуш Польский, который шествует в Сенат (Сенат называется также Сеймом, или Советом), где Самоволие и Гордыня сердца «к несогласию разжигающе»⁸. Фигура Гениуша Польского взаимозаменяема с фигурой Королевства Польского. Она укоряет сенаторов Лядских «о погибели многих стран». Марс роксоланский выносит трофейное оружие, взятое у ляхов, и украшает им столп, или трофеум. С огненным оружием слетает Орел и «Ляхов поражает»⁹. В этом аллегорическом действии выявляются темы русской победы, несогласия и своеволия ляхов. Такая характеристика поляков присутствует и в других пьесах.

В московской пьесе «Слава российская» является Polonia (Полония), восхваляющая свои победы, называющая себя «высокоумной», «в различных художествах зело быстроумной»¹⁰. Она не верит тому, что фигура Славы говорит о России, и уверяет, что «Нечаянно взлетела российская слава <...> Чаях, что всегда буду дань от Россов брати И в российских квартирах преславно стояти»¹¹. И здесь вновь обыгрывается историческое противостояние Польши и России, а из постоянных характеристик сохраняется тщеславие. В пьесе «Слава печальная», написанной на погребение царя Петра, Полония вместе с Персией и Швецией оплакивает Петра, вспоминая, как «Возстенали услышав коронные шляхты, жирпелны твои егда показали яхть»¹².

Итак, образ поляка, или точнее, Польши, подан в этих пьесах аллегорически в историческом и политическом плане. Стереотипные представления о поляках в них только едва проникают. Иначе обстоит дело в интермедиях, где смеховой регистр обеспечивает относительно детализированный образ поляка. В русском и украинском театре поляк, как и представители других народов, москаль, цыган, еврей, находится в сфере комического. Можно было бы предположить, что он манифестировал всякий образ ближнего чужого, который в народном мифологическом сознании (а также в мифологизированном историческом) опасен и таит в себе непосредственную угрозу, кстати, записанную в исторической памяти восточных славян. В таком виде, за редким исключением, о чем сказано выше, поляк не попал на сцену, а появившись в сниженном смеховом регистре, превратился в комического героя, ничем не отличавшегося от других. Потому можно утверждать, что перед нами образ, имеющий стандартный набор черт для персонажа комедии или интермедии.

Поляк, как всякий интермедийный герой, обычно выступает в паре. С ним действуют не только Казак, но и Запорожец, и Москаль, что

не меняет сути сценического конфликта, который сводится к потасовкам и обманам. Например, поляк входит в конфликт с Казаком, как в интермедии к пьесе Митрофана Довгалецкого «Комическое действие на Рождество Христово». Он выступает знатным паном, собирается на охоту с ястребом и наказывает крестьян, литвинов. Казак же давно мечтает «ляхів на той час піймати і сим кієм козацьким по ребесах дати»¹³ и вместе с Москалем прогоняет Поляка. Есть и другие сюжетные конфликты, где Поляка не только бьют, но и обманывают, например, меняясь с ним одеждой.

Основной тип, к которому восходит образ поляка – это тип хвастливого воина итальянской комедии дель' арте. В русской «Шутовской Комедии» он явно приобрел черты Капитана, ср.: «Три поляка, пять московичь, семи немцов, десят казаков, четырнатцат татар, да дватцат турок были мне вместо завтрика»¹⁴.

Он не представляет никакой опасности и вызывает смех. Правда, однажды он выступает как врач в интермедии из сборника А.А. Титова. Он лечит Гаера, обещая: «Я тебе зделаю здорова Без болцаго догово-ра»¹⁵. Конечно, на театре действуют и французский лекарь, и немецкий, и лекарь из Амстердама, прибывший в Москву на корабле, но, как видим, есть и польский.

Появляется поляк и в образе неудачливого жениха. Гаер хочет его женить на «чреватой девице», обещая ей, что легко уговорит Поляка: «Хощеш ли я отдам за Поляка? Обману ева как дурака»¹⁶. Поляк, который ласково называет Гаера «маскаликком», соглашается и ведет в свою хату девицу.

Кроме того, поляк беспрестанно вступает в споры, препирательства и хвалится своей силой, богатством и славой.

Этот ряд примеров показывает, что привязывание к национальному началу героя оказывается достаточно условным, что Поляка легко заменить Москалем, Женихом, Лекарем, Воином. Это еще раз подтверждает предположение о том, что образ поляка на московской и киевской сценах – сложная структура, в которой явственно выступают как черты комического героя, так и образ чужого, подлежащего осмеянию. Важно подчеркнуть, что Поляк появляется в ряду других иностранцев, Гишпана и Француза. Ему часто сопутствует Херликин, который однажды представляется «галанцем».

Если характеристика персонажа и тип сценического конфликта не дают нам повода для рассмотрения черт национального стереотипа на сцене, то такие характеристики персонажа, как речь, атрибуты и сценический костюм, отсылают к собственно польскому началу и позволяют его увидеть на сцене. Эти характеристики поддерживаются обращениями к ономастике и к этикету. Таким образом, они представляют

записанный в театральном тексте национальный стереотип, данный штрихами и повторами, и следовательно, комические сцены все же содержат представления о соседе, пусть помещенном в смеховой мир и выполняющем стандартные для этого мира функции. В этих характеристиках выделены те черты, которые положены в основу современной этнологии. Естественно, не все, но лишь некоторые, но тем не менее это совпадение примечательно. И в старинном театре, и в современной науке они участвуют в процессе описания этностереотипа.

Как известно, язык всегда служит характеристике «чужого». Используется он и при создании устойчивого стереотипа в театре. Это не означает, что вся роль персонажа написана по-польски, хотя такое бывает, как в интермедиях к пьесе М. Довгалевского «Комическое действо на Рождество Христово». Чаще в русский текст вкрапляются небольшие польские вставки, призванные создать характеристику персонажа в национальном отношении. Это устойчивые словосочетания, приветствия, формулы вежливости или ругательства: «Падам до ног ясневельможного пана!», «А бут же ласков, змилуйся», «А пудзь до дзембла, лайдак! Батогами забую!», «скурвей сын!» «скурва мать». Ругательства, кстати, повторяются очень часто, ср. небольшую реплику одного персонажа: «Идишь, скурва твоя мать, ис хаты, Не делай болше мне траты <...> А ты скурва мать неплодна ...»¹⁷. Часто ругательства сочетаются с приветствиями: «Да щож, як человек пришел, Скажи, скурва мать, якое дело нашол?»¹⁸

Мелькают и устойчивые словосочетания: «Як Бога кохам!», «Ой, змилуйся, панику, саблю утратил», «Да, не жартуйся». Гаер называет Поляка «паником», Девица к нему обращается: «Наимилейший мой пане!» Он же к Раскольнику: «Пане Росколниче!» Все эти словосочетания выступают в роли элементов этноязыковых стереотипов.

Редко, но встречаются отдельные полонизмы, например, зробил. Возникает однажды и пословичный оборот: «Ну-тка, душа, Даром то бес контуша»¹⁹, ср. – *Hulaj dusza bez kontusza*.

Драматурги не только вставляют в речь персонажей польские обороты, чтобы указать на их национальную принадлежность, но и стараются передать особенности произношения. Этот прием используется в народной и в профессиональной культуре для создания комического эффекта, но для нас он важен как показатель языка «другого». Искаженная польская речь звучит, например, в вертепе: «А цо тута за галаци? Нех дзембло веэме гайдамаци!»²⁰

Как пишут Е. и А. Шмелевы²¹, этноязыковые стереотипы служат для передачи представлений о национальном характере и о речевых особенностях. Они обычно создают комический эффект, а не только ориентируют зрителя в национальных типах театральных персонажей.

Не только естественный язык, но и язык культуры попадает на сцену. Устоявшиеся формы общения всегда отличают один народ от другого и первыми бросаются в глаза. Этикет формулирует стиль поведения, столкновения этикетов не только раскрывают различные грамматики культуры, но и создают комический эффект по принципу: чужое всегда смешно. Например, поляк не владеет основами народного украинского этикета, что и приводит к столкновениям с другими персонажами. Поляк «неправильно» здоровается, не снимает шапки, «Помагай-Бог не дав», за что и получает наказание. Знак чуждости и комический эффект здесь сливаются.

Собственно этикет составляет целую серию признаков польскости на сцене. Его устойчивые формулы обязательно входят в текст интермедий. В украинском вертепе, например, Польша ни с того ни с сего говорит: «Пшепрошам пана Яна!»²² В украинских интермедиях мы встречаем развернутые этикетные формулы: «Kłaniam iegomosci panu Sraczkowskiemu, Ia, sluga najniższy komputu sa temu»²³. В интермедии из сборника А.А. Титова один поляк обращается к другому: «Да будь здоров, панику шляхов!» Формулы этикета реализуются в сцене пира в «Шутовской комедии», где Поляк пьет за здоровье всех приятелей.

Не только язык и этикет, но и наименование героя имеет очень большое значение для создания устойчивых клише на сцене. Герой именуется в пьесах часто не по имени, а по этническому названию – лях, поляк. Перед нами один из архаических оборотов, указывающий на тесную связь человека с пространством, в котором он пребывает. На сцену перенесена особая культурная ситуация, в которой находится полиэтническое общество, где люди применяют этнические названия друг друга как своего рода шифр. В старинном театре он используется для представления персонажей.

Название страны дает наименование аллегорическим фигурам. На сцене, как уже было сказано, выступают Гениуш Польский, Королевство Польское, Полония. Этот оборот может конкретизироваться, как, например, в украинском вертепе: «А, як ся маш, моя варшав'яно?»²⁴

Связь героя с конкретным пространством выражается и в указаниях географических пунктов, откуда герой следует или куда направляется. Очень часто в этом списке фигурируют Варшава, Висла. Перечисление географических названий также служат этнохарактеристике персонажа; вот как это делается в вертепе: «Я бил-ем ве Львове, Бил-ем і в Кракове, Бил-ем і Кийове, Бил-ем и в Варшаве, Бил-ем и в Полтаве, Бил-ем в Богуславе»²⁵. Настойчивое повторение названий польских городов кажется достаточным для создания образа героя.

Эта традиция называния городов с тем, чтобы создать этнический ореол вокруг персонажа, и даже подменить имя персонажа именем го-

рода, живет достаточно долго. Она дает себя знать в поздней украинской «Комедии униатов с православными» Саввы Стрелецкого. Аспирант, пытающийся сдать экзамен, сообщает, что прибыл «z Wielko-Polskiej, z Województwa Bełzskiego». Есть в этой пьесе упоминания о Радомышле, а также о Днепре и Висле: «Alboż bywałeś w szkołach? I nie w jednych, począwszy od Dniepru, aż po Wisłę, y tam dalej»²⁶. Аспирант повторяет это свое сообщение по-латыни, таким образом указывая на свою принадлежность к польскому кругу культуры.

Конечно, не только названия городов и воеводств, но и имена персонажей появляются в текстах русских и украинских интермедий. В украинском вертепе, например, фигурирует имя Ян.

Имя возникает в сниженном виде подобно тому, как это происходило в совизжальской литературе – «Mospan Zdupupadsky, panowie Guwnowie. Schodcie się do porady, bierćcie arme swoich!»²⁷ – перечисляет герой украинской интермедии. Тут же появляется и pan Sraczkowski. Эти имена дают себе сами комические персонажи, похваляясь своим родством со знатными фамилиями. В «Шутовской комедии» встречается имя, отсылающее к образу рыцаря-сармата – Гавриил Турнир. В связи с этим заметим, что в другом месте присутствует наименование героя через воинский чин – «изящный полковник».

Не только имя, но и костюм на сцене отсылает к этностереотипам, так как он всегда свидетельствует о национальном начале. «Способность костюма нести информацию, за которой стоит определенная культурная, историческая или идеологическая реальность, всегда осознавалась в культуре»²⁸. Эта способность костюма усиливалась с превращением его в элемент сценического пространства. Костюм помогал распознаванию персонажа наравне с действием, монологами, гримом. мода, как известно, не универсальна, по костюму всегда легко отличить «чужого». Костюм, как важный знак культуры, перенесенный на сцену, демонстрировал внешний вид «чужого», непривычный, неправильный, нарушающий правила «своей» культуры. «Здесь играл роль и цвет, и покрой костюма»²⁹.

Персонаж описывается в текстах через костюм, который становится частью его этнохарактеристики, ср.: «На нім бути, сукни шарі»³⁰. В вертепе обязательно все персонажи появлялись в народных костюмах, на что всегда есть указания. Иногда описание костюма дается в выступлениях персонажей, а не только в ремарках: однажды москали называют поляков долгополыми. В тексте одной интермедии упомянут контуш.

Как видим, хотя костюм и участвует в создании этнохарактеристики, его описание в тексте не развито; очевидно, что основные его значения находятся в сфере художественного оформления спектакля.

Гораздо больше, чем о костюме, говорится об атрибутах персонажей. Они становятся важными сигналами этнического стереотипа. Эти атрибуты постоянны: конь и сабля.

Так как конь «по техническим причинам» не выводился на сцену, о нем персонажи говорили в своих монологах. В «Шутовской Комедии» коню посвящен огромный монолог Поляка. Конь этот был просто необычайным: «Тот бахмат за одним кормом двести верст взад и вперед перебежал, и то ему ни за что было»³¹. Герой, который, как видим, и коня-то не кормил, рассказывает о том, как гонял на этом коне турок, перепрыгивал через высокие городские стены и укрепления, переплывал через Днепр и Вислу. Практически создается «биография коня», описание его жизни и смерти: погиб конь под Каменец-Подольском. Потеря была столь велика, что Поляк даже хотел сделать из него чучело, набитое бумагой. Вспоминает герой о трогательных отношениях с конем – он спал вместе с ним на соломе, а конь с ним пил мед и горилку и напивался пьян, будто мужик.

С одной стороны, монолог настаивает на комическом эффекте. С другой – в нем присутствуют и лирические нотки, свойственные и польской барочной поэзии и польской живописи XIX в.

Сабля не только воспевается так же, как и конь, но и выносится на сцену, становится важным атрибутом персонажа. В «Шутовской Комедии» Поляк выходит с вопросом: «Где моя сабля?» Он хватается за нее при первой возможности и называет «преизрядною полосою к кровопролитию». Это та самая сабля, от которой отлетали турецкие и татарские головы, которой Поляк и друзьям «нарочитые знаки <...> давал». С этой саблей герой отправлялся в «подъезды», и сам крымский хан был счастлив, что ушел из его рук: «Но всяк знает, какие у них, у скурвых сынов, кони, и кол скоро они на них уходит могут»³². Поляк машет саблей, завидев «Ветряной мельницы мельника», а тот хватается за дубину: «Прошу тебя, не бранис, чтоб моя дубина с твоим горбом товарищества не учинила»³³.

В интермедии «Пан, Шляхта-Москаль, Гаер» Поляк «ходит <...> по театру, выневши саблю»³⁴. С восторгом встречает он «шлифофалного» мастера, который обещает ему саблю отполировать. Все действие интермедии строится на постоянном атрибуте Поляка, который, как и полагается, переходит из рук в руки. Поляк оплакивает свою потерю в лучших интермедийных традициях.

Таким образом, можно утверждать, что атрибут играет на сцене и способен передать представления об этническом стереотипе.

Этноразличительным признаком на сцене служит и тип сценического движения, в первую очередь танец, один из «сгустков» национального начала, зримо представленный в спектакле. Перенесенный

на сцену, он отображает «другого». В украинском вертепе поляк пляшет краковяк: «Я ту краков'яку витанцьоваць стану»³⁵, сначала один, а затем в паре с варшавянкой. Ему подыгрывают на скрипке, и он поет. В танец вмешивается хлопчик, пускается впрысядку и портит краковяк.

На русской сцене поляк занимает срединное положение между господином и слугой. Он служит у Шута, но и сам имеет слуг: один у коня, другой за другим делом послан. Он – маршалек. В «Шутовской комедии» поляк-маршалек устраивает танцы, посылает за музыкантами: но как танцевать, когда есть только одна пара башмаков. Тем не менее он приглашает «до танца»: «Вы, господа, еще однажды пейте кругом, а после того извольте до танца»³⁶. О том, что гости начинают танцевать, сообщает ремарка. Другие герои понимают, что поляк знает толк в танцах.

Тема польского танца возникает в одной из интермедий сборника П.Н. Тиханова. Здесь Арликин (Херликин) якобы играет на органе: «Полагаются под прикрытием на театруме несколько робят разного возраста с тем, когда во образ орган как тянуть будет, чтоб в разные голоса голосили»³⁷. Арликин перечисляет различные танцы, «менуэ», русский, привлекает зрителей «нарочитыми антрашами» и обещает также за грош сыграть и «полской весма хорош».

Все эти внешние признаки «поляка» – речь, атрибут, костюм, танец – постепенно начинают участвовать в этническом стереотипе. Они складываются в единое представление о «другом», и хотя строятся на чисто внешних признаках бытового поведения, работают на создание национального стереотипа. Этому же способствуют, пусть еще слабые, но все же присутствующие в тексте психологические характеристики.

Поляк никогда не выходит на сцену в роли купца или мельника. Он – военный или просто воинственный, всегда готов собрать войско и выступить в поход: «Numy też, bracia, chwytac do swego oręża!»³⁸. Он бряцает саблей, которая «приобрывает» ему княжество и всем нанесет увечья. Поляк рвется в бой, как конь к воде. Всегда готов сразиться и дать отпор и начинает первым. «Маскалик бодрився, А як же моей сабли устрашився!»³⁹ – восклицает он, выходя на сцену. Не раз поляк сердится на своих слуг, которые не выказали ему должного уважения: «А rapskiego gniewu już nie wicie?»⁴⁰. Он никогда не является носителем патерналистского начала по отношению к ним.

Поляк устойчиво представляется как чревычайно гордый и заносчивый. В русской пьесе «Страшное изображение второго пришествия» является фигура Гордыни, знаменующая черты Гениуша Польского. Эта черта поляка постоянно работает на сцене. Поляк такой гордый, что не хочет выполнять указаний Шута, у которого он служит «маршалком».

Поляк на русской и украинской сцене непременно хвалится. Есть почти что постоянная ремарка: «Выходит Шляхта и хвалитца» – сво-

ей мощью, храбростью, всем предлагает восхищаться своим богатством, имуществом, титулами и своей мужской силой. «Окай я поляк детина! ... Как я во свете стал плодови́т, В 3 дни зроби́л мали́нкова сына, ой хоро́ш тепе́рь и детина»⁴¹, – восклицает он, узнав, что через три дня после свадьбы жена рождает ему сына. После этих блестящих выступлений поляк тут же попадает в комические ситуации.

Вне комических ситуаций поляк, или Польша, также хвалится: «Аз же какова храбра являю́сь на свете, Сие, чаю, всем царствам е́сть весма в приме́те»⁴². Полония – высокоумная, в различных художествах зело быстроумна. Все перед ней склоняют скипетры, все окрестные царства ее признают. После всех этих высказываний ее прогоняет российский Марс.

Самоволие наряду с Гордыней – главная фигура, олицетворяющая черту польского своенравия на русской сцене. Оно и Гордыня не слушают Гениюша и препираются между собой, терзая Сейм, или Совет. Их сердца склонны к несогласию, как и Сенаторов Лядских. Их Королевство Польское укоряет в погибели многих стран, ради «самовольного и гордынного несогласия». Они и удаляются после «несогласного совета».

Для того чтобы расширить список черт этностереотипа, не грех было выпустить на сцену и пьяного поляка, как в русской «Шутовской комедии». Он ругается с Мельником, а потом они мирятся за чаркой горилки. Худо быть в маршалках, когда приходится довольствоваться «двема чарками горелки да кусом хлеба»⁴³, – говорит Поляк, которого Шут непременно называет «пьяным поляком». Поляк обещает, что все станут «поболше пить», пьет «про здравие всех приятелей». Пьянство здесь – один из способов создания комического эффекта. Состояние алкогольного опьянения у другого всегда вызывает смех.

Пьянство переходит в более общие мотивы застолья, пира. Это поляк ожидает гостей полный зал. Это он устраивает роскошный пир. Это он знает, как нужно организовать праздник, как пить за здоровье гостей и как начать танцы. Это он перечисляет, что нужно купить к праздничному столу: шук, линей, карасей и пирожок с кулебякой. Как видим, здесь код еды не содержит примет национального. Тема пира явно снижается, когда шляхтич жалуется, что ходил по гостям, а там его никто не накормил.

Итак, русский и украинский театр в число своих постоянных персонажей ввел поляка и включил его прежде всего в смеховой регистр драмы и спектакля как всякого чужого. Поляк выступает наравне с другими комическими героями, поименованными по национальному признаку. Тем не менее на старинной сцене шла напряженная работа

по собиранию воедино отдельных черт хорошо знакомого соседа, что способствовало формированию его особого портрета. В его написании участвовали, как мы показали, устойчивые стереотипы восприятия «другого», и элементы этого портрета относятся к различным уровням: они участвуют в формировании исторического сознания, свободно входят в смеховую народную культуру: в театр, фацецию, этот будущий бытовой анекдот.

Примечания

- 1 *Байбурин А.К.* К проблеме стереотипизации поведения: быт, событие, ритуал // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Тезисы конференции. М., 1995. С. 1.
- 2 *Бусева-Давыдова И.Л.* «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века // Филевские чтения. Тезисы конференции. 22–25 декабря 1997 г. М., 1997. С. 9–10.
- 3 *Байбурин А.К.* К проблеме стереотипизации. С. 2.
- 4 *Милость Божія* // Українська література XVIII ст. Київ, 1983. С. 307.
- 5 *Милость Божія*. С. 307.
- 6 *Милость Божія*. С. 315.
- 7 *Інтермедії до драми Митрофана Довгалевського «Комичеськое дійствие»* // Українська література XVIII ст. С. 363.
- 8 *Страшное изображение второго пришествия* // Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.). Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974. С. 85.
- 9 *Страшное изображение*. С. 86.
- 10 *Слава российской* // Пьесы школьных театров Москвы. С. 266.
- 11 Там же. С. 268.
- 12 *Слава печальная* // Пьесы школьных театров Москвы. С. 297.
- 13 *Інтермедії до драми Митрофана Довгалевського «Комичеськое дійствие»*. С. 360.
- 14 *Шутовская Комедия* // Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.). Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974. С. 392.
- 15 *Интермедии из сборника А.А. Титова* // Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.). Пьесы любительских театров. М., 1976. С. 682.
- 16 Там же. С. 614.
- 17 Там же. С. 616.
- 18 Там же. С. 644.
- 19 *Интермедии из сборника Н.П. Тиханова*. С. 575.
- 20 *Вертеп*. С. 432.
- 21 *Шмелевы Е., А.* Русская речь нерусских: этноязыковые стереотипы // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. С. 147.
- 22 *Вертеп*. С. 432.
- 23 *Інтермедії до драми М. Довгалевського*. С. 363.
- 24 *Вертеп* // Українська література XVIII ст. С. 432.
- 25 *Вертеп*. С. 432.
- 26 *Komedyя Unit w z Prawoslawnemi* // Драма українська. Вип. шостий. У Києві, 1929. С. 205.
- 27 *Інтермедії до драми М. Довгалевського*. С. 363.
- 28 *Кирсанова Р.М.* Костюм в русской художественной культуре 18 – первой половины 20 вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. М., 1995. С. 13.

- 29 *Бусева-Давыдова И.Л.* «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века. С. 9.
- 30 Піснь мандрованого ляха з Варшави // Українська література XVIII ст. С. 105.
- 31 Шутовская Комедия. С. 393.
- 32 Там же. С. 392.
- 33 Там же. С. 394.
- 34 Интермедии из сборника А.А. Титова. С. 644.
- 35 Вертеп. С. 432.
- 36 Шутовская Комедия. С. 406.
- 37 Интермедии из сборника П.Н. Тиханова // Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.). Пьесы любительских театров. С. 577.
- 38 Інтермедії до драми М. Довгалевського. С. 364.
- 39 Интермедии из сборника А.А. Титова. С. 644.
- 40 Інтермедії до драми М. Довгалевського. С. 361.
- 41 Интермедии из сборника А.А. Титова. С. 616.
- 42 Слава российская. С. 266.
- 43 Шутовская Комедия. С. 403.

Ю. Лабынец

Белорусско-русская идея во II Речи Посполитой: Церковная, политическая и литературная деятельность сенатора В. Богдановича

*Полска квітнет лаціною,
Литва квітнет русчизною...*

Ян Казимир Пашкевич, 1621 г.

Революционные события 1917–1918 гг., имевшие определяющее значение для последующей истории Европы, стали судьбоносными для народов, населяющих восток континента, особенно территорию огромной Российской империи. Образование новых независимых государств и восстановление ранее существовавших, прежде всего Польши, не означало одномоментную ликвидацию всех существовавших до той поры на их территории инокультурных начал, к чему руководство этих государств в той или иной мере тогда стремилось. Восстановленная в 1918 г. Польша, именовавшаяся II Речью Посполитой, являлась многонациональным государством, в состав которого оказались включенными обширные «восточные земли»: около половины современной Белоруссии, значительная часть Литвы и Украины. Это были преимущественно восточнославянские этнические территории, заселенные в основном православным населением, составлявшим по данным государственной переписи 1931 г. около 12% всех жителей Польши. При этом доля православных в восточных воеводствах II Речи Посполитой измерялась многими десятками процентов и доходила, например, в Полесском воеводстве до 80%. Заметной она была и в центральной части тогдашней Польши, в Люблинском воеводстве – около 9%¹.

В 1939 г., согласно официальной церковной статистике, Православная Церковь в Польше имела пять епархий с более чем 4 миллионами верующих², 2500 церквей и часовен, около 3000 духовных лиц³, 17 монастырей и скитов, в том числе Почаевскую Свято-Успенскую лавру⁴, Православный Богословский лицей в Варшаве, духовные семинарии в Вильне и Кременце, Православный Богословский Отдел при Варшавском университете им. Иосифа Пилсудского, Митрополитальный Семинарий Иконографии, Псаломщицкую школу, Синодальную типографию, различные периодические издания, архив^{*}.

13 ноября 1924 г. константинопольский патриарх Григорий VII подписал томос о даровании Православной церкви в Польше формаль-

^{*} Долгое время при Священном Синоде работала Ученая Археологическая и Археографическая Комиссия, председателем которой был митрополит Дионисий, а секретарем известный знаток древностей Н.Г. Пиотровский.

ной автокефалии, фактическое принятие которой наступило только после II мировой войны, хотя в межвоенный период, начиная с 1925 г., Церковь уже считалась автокефальной, что в значительной степени объяснялось стремлением государственных властей Польши во что бы то ни стало исключить малейшую зависимость православных граждан страны от Церкви-Матери – Русской Православной церкви и ее центра в Москве.

Основу православного населения межвоенной Польши составляло крестьянство, искони населявшее земли восточных воеводств Польши – около 93% всех православных⁵. Процесс национального самоопределения в ту пору еще не только не завершился, но кое-где даже и не начинался, особенно в Полесье и самом центре польско-восточнославянского пограничья. Православные люди говорили о себе, что они «тутейшие» – тутошние, здешние, а язык их «тутейший», «простой» или «русский». В официальных документах той поры было узаконено определение «тутейший», которых по различным данным насчитывалось около 1 миллиона человек. Согласно переписи 1931 г. более 1 миллиона православных считали родным языком украинский, почти 1 миллион – белорусский, полмиллиона – польский, сто тысяч – русский, почти 22 тысячи – чешский.

Таким образом, по национальному составу православные делились на несколько далеко не равных по числу групп, среди них доминировало украинское и белорусское коренное население, преимущественно крестьянство; русские, а число их значительно менялось в различные периоды истории межвоенной Польши (от нескольких сот тысяч до ста тысяч человек), были представлены не столько старожильческим населением городов, городков и местечек, сколько эмигрантами, покинувшими Россию в результате революции и гражданской войны*. Впрочем, нередко русскими называли себя и представители местной православной интеллигенции, в том числе и священники.

По данным английского статистика Д.Х. Симпсона, пожалуй как никто серьезно разрабатывавшего проблему учета русских эмигрантов, межвоенная Польша занимала лидирующее положение по их числу во все времена, начиная с первых послереволюционных лет вплоть до конца 1930-х гг.⁶. Общее количество русских эмигрантов во II Речи Посполитой может быть сравнимо лишь с числом русских беженцев во Франции в 1930-е гг. Это, в частности, объясняется тем, что в состав межвоенной Польши вошли огромные восточнославянские этнические территории, заселенные в основном православным населением, и «восточные земли» II Речи Посполитой продолжали сохранять свой

* На землях II Речи Посполитой издавна проживали также русские старообрядцы. Общее их число в межвоенной Польше приближалось к ста тысячам человек.

«русский» характер. Вместе с тем на всех сторонах местной жизни здесь сильно ощущалось влияние политической, правовой, экономической и церковной культуры бывшей Российской империи. Многие русские эмигранты имели родственников на территории II Речи Посполитой, среди которых были представители всех без исключения слоев общества, включая и довольно состоятельных местных помещиков, владевших значительными земельными угодьями. Во II Речи Посполитой сложилась уникальная этноконфессиональная и культурная ситуация, понять которую лучше всего на примере отдельной человеческой судьбы...

Ни в одном из специальных справочных пособий, посвященных белорусской литературе, даже в шеститомном биобиблиографическом словаре «Беларускія пісьменнікі»⁷, сведений о Вячеславе Васильевиче Богдановиче нет. Выдающийся литератор и общественный деятель, оставивший очень заметный след в истории белорусского национального движения, в возрождении белорусской культуры, белорусского языка, оказался забытым.

Причин подобного, в общем-то невольного, забвения немало. Главные связаны с обстоятельствами совсем недавнего времени, когда живший в ту пору в Вильне В. Богданович был арестован органами НКВД (осень 1939 г.) и пропал без вести. Под запретом оказалось и все написанное им, тем более, что писал он в основном на религиозные темы. Была и еще одна весьма существенная причина. В. Богданович выступал против полного отделения Православной церкви в Польше от Церкви-Матери, против автокефалии, стал инициатором внутрицерковного сопротивления подобным устремлениям, оказался организатором приходской церковной жизни в Польше, получившей название «старой церкви», то есть верной патриарху Тихону.

Сын православного священника Витебской губернии, В. Богданович, родившийся в 1878 г., получил высшее богословское образование. Уже в годы учебы в Киевской духовной академии, а особенно с началом работы в качестве инспектора Литовской духовной семинарии в Вильне, он увлекается литературной деятельностью, позднее знакомится с белорусским национальным движением и принимает в нем участие. В 1915 г. вместе с эвакуированной семинарией В. Богданович переезжает в Рязань, откуда возвращается в Вильно уже после революции и осенью 1919 г. на правах ректора возобновляет занятия в семинарии. В октябре 1922 г. «по просьбе митрополита Георгия с Синодом»⁸ В. Богдановича вместе с архиепископом Елевферием арестовали и вывезли в Краков. Митрополит Георгий «захватил в свою власть и Виленскую епархию и семинарию..., епархиальный Совет был преобразован в Консисторию, а во главе семинарии был поставлен архимандрит Филипп (который после принял унию)». Тогда же, 20 октября 1922 г., В. Богдановичу, являвшемуся ответственным редактором «Литовских епархиальных ведомостей», издававшихся по его ини-

циативе Литовским Епархиальным Советом в 1921–1922 гг., из создаваемой Виленской Духовной Консистории было направлено следующее сообщение: «Гражданину В. Богдановичу. Ввиду того, что по определению Виленской Духовной Консистории издание Литовских Епархиальных Ведомостей прекращено, Консистория уведомляет Вас, что Вы освобождаетесь от занимаемой Вами должности редактора Литовских Епархиальных Ведомостей, последующий номер которых предназначен Вами к выпуску, в данное время приостановлен»⁹. В том же, 1922-м, году В. Богданович был избран членом Сената II Речи Посполитой, где он многое сделал «для защиты православной церкви», что способствовало его известности «среди православных не только в Польше, но и во всем мире»¹⁰.

Одной из центральных тем в литературном творчестве В. Богдановича была тема судеб общеправославного духовного наследия в новой Польше, которая теснейшим образом связывалась им с вопросом об автокефалии и решениями Московского Церковного Собора 1917–1918 гг. О Соборе им было написано несколько специальных статей, воспоминания и опубликован дневник участника Собора¹¹. Собор виделся В. Богдановичу событием огромной важности не только в жизни Российской, но и всех православных церквей. Принципиальное значение его решения имели и для православной церковной жизни в границах новой Польши.

Непримиримость В. Богдановича в вопросе об автокефалии Православной церкви в Польше стала причиной гонений на него и его сподвижников со стороны высшей иерархии в лице самого митрополита Дионисия. Позднее он даже был «отлучен от польской православной церкви польской иерархией»¹², хотя и не принадлежал к новой церкви, всецело оставаясь в лоне Русской Православной Церкви. «Отлучать и лишать сана, – писал В. Богданович, – не могли нас те, кто не имел на это право, так как мы никогда не принадлежали к „Автокефальной Польской Церкви“ и не были подчинены ей, а действительное наше духовное начальство (патр. Тихон) за верность канонам прислал нам свое благословение ... мы не отлучились от „Московской“ („Всероссийской“) церкви, как не отлучились православные и других стран, и безусловно мы здесь представляем эту церковь. Теперь на всей территории Польши остался наш только один такой приход»¹³.

В силу сложившихся обстоятельств полемические мотивы в литературном творчестве В. Богдановича доминируют довольно долгое время. Полемический оттенок носит и почти все, что было напечатано им в журнале «Праваслаўная Беларусь», выходившем в 1927–1928 гг. в Вильне. Собственно журнал можно было бы с полным правом назвать печатным органом самого В. Богдановича, ибо именно он был главной идейной и литературной силой издания, которое оказалось преследуемым властями и было даже запрещено. Такое положение не удивительно, ибо «Праваслаўная Беларусь» поднимала широкий круг жгучих проблем бе-

лорусской национальной жизни в условиях II Речи Посполитой, боролась за общегражданские и религиозные права белорусского народа.

В своей писательской и парламентской деятельности В. Богданович всегда выступал как общенациональный белорусский лидер, независимый от конфессиональной ориентации. В этой связи весьма показательным его отношением к белорусам-католикам, которых он всячески защищал от религиозных гонений. «Я был бы односторонним, – говорил В. Богданович на заседании Сената, – если бы не прибавил здесь несколько слов об отношении Правительства к белорусам-католикам. Вследствие совершенно иного положения р[имско]-католического костела в государстве здесь дело идет уже не о религиозных преследованиях, но и здесь ярко выступает существо отношения правительства к религиям, от которых оно требует действий определенного политического направления. На основании этого принципа безусловно попираются всякия проявления национальной жизни в церковной жизни белорусов-католиков. Отсюда видно, что в отношении р[имско]-католического костела правительство одинаково не хочет считаться с действительными нуждами самого народа. Только, вследствие иного строя в этом костеле и принятого конкордата с Апостольской Столицей, не имея возможности создать каноническое представительство, оно направляет свой гнет непосредственно на клир и народ, при чем считает каждого католика белоруса, будь то светский или духовный, явно симпатизирующего национальной белорусской жизни или принимающего в этой жизни деятельное участие, – враждебно настроенным против государства.

Вот, например, против ксендза В. Годлевского, настоятеля костела в Жодишках Свенянского у[езда], говорящего по желанию народа проповеди по белорусски, возбуждено судебное дело, причем, по имеющимся в белорусском клубе данным, судебный следователь в отношении к кс[ендзу] Годлевскому применил такую форму полицейского надзора, по которой этот белорусский ксендз должен через день являться для регистрации в местную полицию. Я спрашиваю коллег ксендзов-сенаторов, заставляли ли когда либо ксендзов в русские царские времена через день являться для регистрации к уряднику.

Когда Виленский р[имско]-католический епископ выслал в Жодишки специальную комиссию, составленную только из ксендзов-поляков с целью расследования существа дела, местная полиция терроризировала народ, принесши на костельный погост пулемет и целясь в безоружную толпу богомольцев. Не смотря на этот террор полиции белорусское население в значительном большинстве высказалось за употребление белорусского языка в костеле.

Ксендза В. Шутовича настоятеля в Бороденичах, ведущего преподавание Закона Божия в школах на белорусском языке, местные поль-

ские учителя по приказу Дисненского инспектора народных училищ безобразным образом физической силой не допускают в школу.

За употребление белорусского языка уволены с должности школьных префектов ксендзы Семашкевич, настоятель в Лаворишках и Петровский, настоятель в Долгинове.

Белорусскую католическую прессу, освещающую факты преследования в белорусско-католической жизни и заступающую за преследуемых, беспощадно конфискуют. Из-за этого в прошлом месяце конфисковали №№ 20 и 22 белорусского журнала «Криница».

Миную из-за недостатка времени безчисленные другие факты. Вспомню здесь еще только о весьма характерном в этот отношении факте, о несправедливом отказе властей в легализации общества белорусских ксендзов «Светочь», религиозно-просветительного характера»¹⁴.

Будучи одним из признанных вождей белорусского национального движения, В. Богданович оставался сторонником самого тесного белорусско-русского сотрудничества, а в условиях политической жизни межвоенной Польши «белорусско-русского блока», действенность которого с особой силой проявлялась в период парламентских выборов. Во многом основой для такого единения служило православное культурное наследие, в сбережении и защите которого роль В. Богдановича была без преувеличения выдающейся. Примеров тому огромное множество, отметим лишь его призывы в Сенате к недопущению разрушения Варшавского Александро-Невского кафедрального собора. «Достаточно пойти на Саскую площадь, – говорил в отчаянии В. Богданович, – и посмотреть на оголенные купола наполовину разрушенного собора. Не говорите, Господа, что он должен быть разрушен, как памятник неволи. Я бы сказал, что, пока он стоит, то является наилучшим памятником для будущих поколений, поучаючи их, как нужно уважать и беречь свою Родину; разобранный же будет памятником – позорным памятником нетерпимости и шовинизма! Нельзя не обратить внимания на то, что в этом соборе есть выдающиеся художественные произведения, в которые вложено много духовных сил лучших сынов соседнего народа, – и те, кто создавал эти произведения искусства, не думали ни о какой политике. Польский народ чувствует это, а также угрожающее значение этого поступка, и уже сочинил свою легенду относительно разрушения собора... Но наших политиканов это никак не трогает. А вот приезжают иностранцы, – англичане, американцы, – с удивлением взирают на это, фотографируют и фотографии распространяют по всему миру – естественно вместе с мнением о польской культуре и цивилизации...»¹⁵.

В роковом для того времени выборе «народ и интеллигенция» В. Богданович постоянно склонялся на сторону народа, о чем не боялся откровенно писать, объясняя, а порой и защищая свою позицию.

Вообще понятие народ имеет у него поистине вселенское значение, хотя применительно к условиям конкретно-историческим это у В. Богдановича прежде всего этническая и этно-политическая категории. Особенно сложным является у него по своему наполнению определение «православный народ», тесно связанное с такими явлениями, как традиция и соборность. Идее соборности В. Богданович посвятил многие свои работы. Она стала одним из самых значимых элементов его собственной литературной доктрины, его отношения к миру и церкви. Можно даже сказать, что соборность, по мнению В. Богдановича, выступает как особая сила, определяющий вектор в судьбе всего «православного народа» и отдельных его представителей, таких, например, как патриарх Тихон. «Не только он сам, – писал о патриархе В. Богданович, – но и могила его служит теперь неким объединяющим стягом, возле которого группируется вся бывшая Святая Русь, как возле тех, кто отошел от него, – группируется «Русь поганая»... И это инстинктивно чувствуют как враги Церкви, так и люди простые, но сильные своей верой, хотя подчас это еще непонятно для «премудрых и разумных»¹⁶.

В своей оценке миссии патриарха Тихона в истории православия и России В. Богданович оказался близок протопресвитеру Терентию Теодоровичу, взгляды которого были весьма отличны от суждений некоторой части тогдашней русской эмиграции, вполне объясненных самим сенатором остротой политического момента, превалированием сиюминутности над вечностью. «В наши дни господства политики и политической разногласности еще нельзя с полной ясностью представить себе тот величественный подвиг христианской любви, который понес на своих плечах патриарх во время государственной и церковной разрухи в России. Час оценки этого подвига еще не настал. Для русских эмигрантов и до сих пор еще душу „омрачает мысль“ (см. фельетон Арцыбашева в газете „За Свободу“ за 10-е марта 1925 г.) о том, что патриарх признал советскую власть и отказался в тоже время послать благословение войскам генерала Деникина. Ничего удивительного, ибо изболевшимся политическим душам так хотелось бы видеть в патриархе политического борца за их идею, – видеть его на своей стороне. И патриарх знал, что своим отношением к большевистской власти он накликает на себя гнев всей русской интеллигенции, однако пошел на это, пожертвовал даже свою собственную политическую репутацию дабы только сохранить влияние и связь с массами православного народа, которые тогда или осознанно или неосознанно не шли и не хотели идти вместе с „белыми“»¹⁷.

Ключевая проблема, о которой В. Богданович много писал вплоть до своего ареста в 1939 г., – «церковь и государство». Уже в самых ранних своих произведениях, посвященных ей, он очень точно нарисовал историческую картину феномена этих взаимоотношений, определил

для СССР «тот крайний вид социализма (коммунизма), который сам фактически стремится стать религией»¹⁸. Без сомнения, все, что было написано В. Богдановичем на эту тему, не потеряло своего значения и до сего дня, а предложенная им формула сосуществования церкви и государства представляет особую ценность прежде всего для нынешнего времени, для современных условий, для новой Европы. Увы, для Польши 1920-х – 1930-х гг., а тем более СССР, предлагаемое В. Богдановичем было совершенно неприемлемо, а сам он попадал в разряд лиц весьма опасных для государства, которое неоднократно применяло к нему всевозможные репрессии.

В. Богданович был не только отвлеченным мыслителем, бумажным доктринером, но и весьма деятельным исполнителем, воплотителем своих идей в жизнь. Он показал себя и умелым политиком, сплотившим вокруг себя большое число однодумцев, организатором особой православной партии* и даже объединения ряда православных групп политического характера, наиболее ярким свидетельством чего служит составленный им «Мемориал членов объединенной церковной комиссии из представителей белорусского национального комитета и русского народного объединения в Вильне»²⁰.

Так же, как и теме соборности в жизни церкви, В. Богданович много внимания уделял вопросу взаимоотношения языков в среде православного народа Польши, прежде всего судьбам церковнославянского языка. А по поводу сосуществования русского и белорусского языков он писал: «Этими двумя языками пользуется православное население в своей домашней и церковно-общественной жизни. Два этих языка понятны населению... Существование двух языков в нашем быту не поселит в народе православном распри, ибо вера православная, догматы ее, соборное начало в управлении и церковно-славянский богослужебный язык явятся связующим звеном всех православных в нашем крае для созидания церкви»²¹.

В одной из своих ранних работ, написанных в ответ на дикие обвинения с польской стороны в связи с отстаиванием В. Богдановичем церковнославянского языка в богослужении, он писал: «Славянский язык... употребляется в церкви не только в России, но и у многих иных славянских православных народов. Употреблялся он некогда и поляками, которые вначале приняли Христову веру от учеников святых братьев Кирилла и Мефодия. Для нас белорусов церковно-славянский язык является исторической основой нашей культуры... пристало ли нам начинать вести борьбу с этой мощной основой нашей культуры и наше-

* «Политической партии под названием „Православно-Белорусское демократическое объединение“»¹⁹.

го литературного языка? Борьба с церковно-славянским языком как раз и является одним из большевистских лозунгов. Большевики не только выгнали его из школ и из советской жизни, но и поддерживают борьбу с ним в церковной жизни через те церковные группы (обновленцы, живоцерковники), которые склонились к большевистской идеологии. К сожалению, отсюда эта борьба с церковно-славянским языком перекинулась и в Польшу, на Западную Украину и, как можно видеть из газет, поддерживается Правительством и уже внесла в гущу украинского православного народа нежелательный для них раскол и внутреннюю борьбу. Вот тут и пошли в ход демагогические политические лозунги, которыми и стараются подогреть эту борьбу. Этого мы и не хотим для Белорусского народа. «*Ślowo*» утверждает..., что всю белорусизацию церкви мы ограничиваем только проповедями в церкви на белорусском языке. Это не правда, ибо мы стоим за родной язык и в духовной школе и во всей административной жизни церкви. Не исключаем и так называемого „дополнительного богослужения“ на белорусском языке, которое в свое время разрешил (вернее, разъяснил, так как это и ранее не запрещалось) патриарх Тихон еще в 1921 г. А когда славянский язык останется в основном богослужении белорусского народа, то это ничуть не помешает его национальному возрождению и росту его родной культуры, а даже поможет этому. Не помешало же национализму польского народа употребление латинского языка в костеле... Однако же латинский язык для Поляков, как славян, чужой, а славянский для нас – свой»²².

Один из ближайших сподвижников и однодумцев В. Богдановича протоиерей Лука Голод, автор большого числа литературных работ, о котором наши нынешние издания даже не упоминают, высказался еще более категорично о значении церковнославянского языка для белорусского национального возрождения: «славянский язык должен быть сохранен в церкви как одно из средств культурного развития белорусского языка»²³.

Позднее, незадолго до начала Второй мировой войны, В. Богданович подведет некий итог своей многолетней полемике в защиту церковнославянского языка: «...политиканствующие из наших украинцев и даже белорусов (реже), воюют против церковно-славянского языка, да еще как „русификационного средства“, забывая, что он лег в основу их собственной также, как и культуры великорусской. Политические мотивы и предубеждения заставляют умалчивать о том, что их знаменитые родичи, эти Епифании Словинецкие, Мелетии Смотрицкие, Симеоны Полоцкие, Димитрии Ростовские, Феофаны Прокоповичи и пр. не менее потрудились над развитием даже, и того же „великого, могучего, свободного и правдивого языка“, как и Ломоносовы и внесли

в дело выработки его филологического содержания и форм много «русских», т. е. украинских слов и оборотов.

Отсутствие чутья к прекрасному мешает таким людям преодолеть на пути к красоте малейшие политические воспоминания и заставляет их часто находить политику там, где ее нет и быть не должно – в сфере религиозной. Не даром такие отрицатели выходят большею частью из среды малоцерковной и мало религиозной, даже часто антирелигиозной, т. е. по существу малокультурной, а следовательно и далекой от народной души. Народные массы никогда почти не обманывающиеся в своем национальном инстинкте, твердо стоят за церковно-славянский язык; и слава Богу, идя за ними начинают, кажется, отказываться от гонения на родной богослужебный язык, т. е. на источник своей культуры, даже и этого рода деятели.

Мы ничуть не думаем насиловать ничьей свободной воли. Если украинцы и белорусы, хотя и сами вложили много труда и сокровищ своего языка в литературный русский язык, теперь все-таки желают создать свой отдельный, более близкий к разговорному народному языку литературный язык, – пусть создают. Это их воля. Но невольно здесь хочется им дать совет в этой их национальной работе не отрывать от культурных основ своего языка, т. е. от языка церковно-славянского, чтобы тем не «обобрать» – самих себя»²⁴.

Являясь одним из лидеров белорусского национального движения в межвоенной Польше, В. Богданович установил самые дружеские отношения с русскими эмигрантскими кругами и опирался на их поддержку на выборах. «Временный Русский комитет по выборам в Вильне» распространил весной 1928 г. призывы, фрагмент которых необходимо процитировать: «Мы призываем всех русских идти вместе с Блоком Нац.Меньшинств в Польше, с Белорусским Центральным Объединенным Выборным Комитетом Блока Нац.Меньшинств, который в лице своих представителей в прошлом Сейме и Сенате, стойко отстаивая права нац.меньшинства, тем самым отстаивал и наши права, а также общие нам, Русским, с Белорусами права славянского меньшинства, связанного общностью происхождения, общею родиною, наконец, общею матерью – Русскою Православною Церковью, самоотверженно борясь за свободу и независимость последних. Пострадавшие в борьбе за общее благо, они обрели русское нац. доверие. Отдадим же решительно наши голоса на выборах Бел. Центр. Об'ед. Выборн. Комитету Блока Национальных Меньшинств!

Все Русские за список № 18, в числе кандидатов которого значится б[ывший] сенатор В.В. Богданович! И да не будет у нас, Русских, другого списка!

Мы ничего не обещаем, мы призываем всех Русских к исполнению гражданского долга, к труду, во имя общего нац. освобождения, ибо

только таким путем наши представители смогут выполнить возложенные на них задачи.

Да здравствует Блок Нац.Меньшинств!

Да здравствует славянское единение Белорусов и Русских!

Да здравствует Русская культура!»²⁵.

Вне всякого сомнения подобные слова и взгляды появились во многом и благодаря деятельности В. Богдановича, внутрицерковной, политической, литературной. Ему удалось сплотить различные национальные силы на основе общеправославного, общецерковного единства. Объединить мнения и чаяния «православного народа», основу которого составляло местное белорусское крестьянство, а меньшую, но наиболее образованную часть, этнические русские, в значительном числе эмигранты, и те, кто считал себя русским*. Не случайно В. Богданович многое из написанного адресовал «живущим здесь православным русским, в уверенности, что они полюбят этот край, его язык и его национальные особенности»²⁶.

Это в основном для них, для русских эмигрантов на вечере по случаю 75-летия со дня смерти Н.В. Гоголя, устроенном 19 марта 1927 г. Союзом русских организаций в Варшаве, он произнес в своем докладе такие слова: «...не время теперь считаться. Ведь трагедия Гоголя не окончилась еще с его смертью. Она переживается и теперь в тысячах и миллионах русских сердец и здесь в близкой Руси в Польше и на шоссейных дорогах Балканских славянских стран, в шахтах французских заводов и на знойных полях Аргентины и Южной Африки и везде, везде, а главное там, где по-прежнему «грозно объемлет нас могучее пространство, страшную силою отражаясь в глубине души», где, может быть, по-прежнему еще раздастся песня «что зовет и рыдает и хватает за сердце». И все эти миллионы русских людей вместе с Гоголем повторяют теперь:

– «Русь! Русь! Куда несешься ты? Дай ответ!

– Не дает ответа».

Нет! Трагедия Гоголя еще не окончилась. Она окончится тогда, когда окончится трагедия Руси»²⁷.

* Характерный пример русского, ведущего свою родословную от исконных жителей здешних мест, мы находим в лице Александра Каллиниковича Свитича, более известного в среде русских эмигрантов межвоенного периода под псевдонимом Туберозов. Член Предсоборного Собрания во II Речи Посполитой от Варшавско-Холмской епархии, директор издательства «За Свободу», талантливый журналист и писатель, он был сыном священника Виленской епархии, умершего в 1928 г.²⁸ А. Свитич называл В. Богдановича «виднейшим церковно-общественно-политическим деятелем того времени»²⁹.

Более сложные примеры русских, местных уроженцев, видим в Союзе Русских Студентов Университета Стефана Батория в Вильне и особенно в академическом конвенте «Ruthenia Vilnensis» при Университете Стефана Батория, отдельные члены которого определяли свою национальную принадлежность латинским словом «ruthen».

Примечания

- 1 *Papierzyńska-Turek M.* Między tradycją a rzeczywistością: Państwo wobec prawosławia: 1918–1939. Warszawa, 1989. S. 6 и др.
- 2 *Kosonocki W.* Liczba i rozmieszczenie ludności prawosławnej w Polsce // *Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce.* 1939. № 3. S. 6–7.
- 3 *Wyszomirski T.* Polskie prawosławie // *Materiały problemowe.* 1988. № 6. S. 55–56.
- 4 Церковный календарь на 1939 год. Варшава, [1938]. С. 55–58.
- 5 *Powszechny Spis Ludności z dnia 9.XII.1931* // *Statystyka Polski. Ser. D.* Warszawa, 1939. Tabl. 4.
- 6 *Simpson J.H.* The Refugee Problem // *Report of a Survey.* London; New York; Toronto, 1939. P. 78–80 и др.
- 7 Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. Мінск, 1992–1995. Т. 1–6.
- 8 *Vasilevič V.* Віленская праваслаўная сэмінарыя // *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 4. С. 9–10.
- 9 Lietuvos centrinių valstybinių istorijos archyvas. F. 605. № 1433. Л. 1.
- 10 Сябра. Беларуская выбарная справа // *Праваслаўная Беларусь.* 1928. № 6. С. 10.
- 11 *Багдановіч В.* 10-гадоў таму назад: З успамінаў аб працы Маскоўскага Сабору ў час бальшавіцкага перавароту // *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 5, 6; 1928. № 1–7. «Слов». 1927. № 279. С. 1.
- 12 *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 6. С. 9–10.
- 14 Речь сенатора В.В. Богдановича, произнесенная 23 июня 1925 г. на заседании Сената Польской Республики при обсуждении бюджета министерства исповеданий и просвещения. Вильно, 1925. С. 10–11
- 15 Сын Беларуса. 1924. № 22. Оттиск: Прамова сэнатара В. Багдановіча у Сэнаце 23.VII.24. [Вильна, 1924].
- 16 *Багдановіч В.* Патрыярх Ціхан // *Праваслаўная Беларусь.* 1928. № 9. С. 3.
- 17 Там же.
- 18 *Багдановіч В.* Царква і Дзяржава // *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 1. С. 3.
- 19 *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 3. С. 1–7.
- 20 *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 1. С. 9–10; № 2. С. 5–6.
- 21 *Віленскі праваслаўны календарь на 1927 год.* Вільна, 1927. С. 3.
- 22 *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 6. С. 9.
- 23 *Прат. Голад Л.* Нацыянальная мова ў праваслаўнай царкве // *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 1. С. 8.
- 24 *Багдановіч В.В.* Церковно-Славянский Язык как религиозно-культурная ценность. Гродно, 1938. С. 19–20.
- 25 Архив Центра белорусоведческих исследований ИСЛ РАН. Материалы экспедиций 1996 г. Русская эмиграция в межвоенной Польше.
- 26 *Віленскі праваслаўны календарь на 1927 год.* Вільна, 1927. С. 3.
- 27 *Праваслаўная Беларусь.* 1927. № 3. С. 1–7.
- 28 *Царкоўная хроніка* // *Праваслаўная Беларусь.* 1928. № 10. С. 8.
- 29 *Свитич А.* Православная церковь в Польше и ее автокефалия. Буэнос Айрес, 1959. С. 5.

Восточнославянское, польское и западноевропейское в литературной культуре Подляшья XV–XIX вв.

Одним из важнейших регионов многовекового взаимодействия восточного и западного христианских миров является такая историко-культурная область, как Подляшье, где расположен известный славистам всего мира Супрасльский монастырь. Подляшье – восток Польши, где ныне проживают несколько сот тысяч православных, преимущественно белорусов. Это «редкостное место, где культуры славянского Запада, Юга и славянского Востока, равно как западноевропейские и восточнославянские культуры, приходили в непосредственное самое тесное взаимодействие на протяжении многих столетий, крайняя западная область распространения восточнославянских культур, западная граница их существования»¹ и одновременно ярко выраженная, исторически, культурно, литературно, «зона перехода», «центр активного, двустороннего и взаимовыгодного общения»². И «именно здесь ключ к постижению многих закономерностей не только филологического, но и национально-исторического и этно-культурного свойства»³.

Соприкасавшиеся в Супрасле многоязычные литературные потоки в максимальной полноте представляли вариантности всех векторов общения христианского Востока и христианского Запада, слагавшегося с течением столетий и в некую целостность, что способствовало созданию «благоприятных условий для культуры, не только воспроизводящей старые ценности, но и творящей новые»⁴. Книжность и литература стали наиболее универсальными средствами взаимопроникновения, взаимообогащения, узнавания друг друга, наконец, различных аксиологических самооценок. «Взаимодействие Восточного и Западного христианства... является отражением закономерностей более широкого плана: христианство, несмотря на разделение Церкви и межконфессиональные противоречия, сближало (духовно, культурно, эстетически) европейские народы внутри одной – общей – цивилизации и способствовало циркуляции художественных ценностей православия также и в кругу католичества»⁵.

Супрасльский Благовещенский монастырь, основанный в 1498 г. маршалком Великого княжества Литовского Александром Ивановичем Ходкевичем, был с конца XV до середины XIX вв. средоточием особой зоны литературных контактов запада, востока, центра и юга Европы. Его значение в истории культур многих народов, прежде всего белорусского, украинского, польского и русского, трудно переоценить. Сохранившиеся инвентари книжных собраний библиотеки Супрасльского монастыря, составленные в XVI–XIX вв. и хранящиеся ныне в собраниях разных

стран, рисуют весьма подробную картину культурной жизни монастыря, его постепенное вхождение в орбиту западной традиции, которая скорее лишь оттеняла восточную, но не заменяла ее.

Динамика изменения состава книжных собраний Супрасльской библиотеки, связанная с конкретными событиями, дает редкую возможность проследить процессы историко-литературного взаимодействия двух славянских христианских миров – восточного и западного – на протяжении почти полутысячелетия; помогает описать литературное пространство польско-восточнославянского пограничья XV–XIX вв., рассмотреть процесс латинизации кирилло-мефодиевской традиции, а также ее сохранение в качестве стержневой основы, связанной с обрядовой стороной тысячелетнего христианского славянского Востока.

В числе первых насельников монастыря были местные жители, а также выходцы с Афона и из Киево-Печерской лавры⁶. Очень быстро эта православная обитель становится одной из крупнейших в Великом княжестве Литовском и хорошо известной в Европе, в том числе и в Московском государстве. Православные монахи, пришедшие в конце XV в. в леса в верховье реки Супрасль, принесли с собой сюда и первые книги. До наших дней сохранился целый ряд рукописных книг, которые были принесены в создававшийся монастырь монахами или же были переписаны в нем в первые годы его существования.

В 1557 г. архимандрит о. Сергей Кимбар составил обширный инвентарь Супрасльского монастыря. Отдельно, в качестве особой драгоценности, в нем были описаны книги монастырской библиотеки. Фактически опись 1557 г. состояла из двух частей: книг «старых», т.е. бывших в Супрасле до 1532 г. и книг «новоприбавленных» за время архимандритства о. Сергея⁷. Первоначально в библиотеке Супрасльского монастыря насчитывалось 129 различных книг, почти исключительно рукописных. Среди 20 книг, представлявших собой различного рода сборники, находилась и знаменитая Супрасльская рукопись XI в.

К 1557 г. Супрасльский монастырь имел уже 209 рукописных и печатных книг на церковнославянском, старобелорусском, а также латинском (1) и греческом (5) языках, т.е. за 25 лет библиотека Супрасля увеличилось на 80 книг. Столь значительное увеличение книжного собрания говорит о высокой роли, которая отводилась книге в монастыре. (Для сравнения, в Киево-Печерской лавре в тот же период было почти втрое меньше книг.) Следует также отметить разнообразие и полилингвистичность библиотеки Супрасля уже в начальный период ее существования – XV–XVI вв.

Следующая известная нам опись Супрасльского монастыря появляется в 1645 г. За это время в судьбе монастыря произошли большие изменения. Он перешел в унию, стал одной из крупнейших обителей базилианского ордена. Но это обстоятельство никоим образом не сказалось на за-

боте о пополнении монастырской книжной сокровищницы. Забота эта остается неизменной.

За прошедшие почти сто лет со времени составления прежней описи 1557 г. численность монастырского книжного собрания выросла более чем вдвое. Столь значительный рост библиотеки произошел в основном за счет поступления книг на латинском, а также польском языках. Так если в 1557 г. была только одна книга на латинском – Апостол, то в 1645 г. их числится уже 201.

Согласно описи 1645 г.⁸ в библиотеке Супрасльского монастыря тогда насчитывалось 587 книг, из них 201 – на латинском языке (в этот раздел составители описи включили и несколько грекоязычных книг); 152 – на польском, в число которых составители включили также две книги на чешском языке; 234 – кириллические книги.

Кириллическая часть Супрасльской библиотеки увеличилась с 203 до 234 книг, изменился и их состав. Среди них «Книг Иова Великого, друку Скориноного 3», «Евангелий учительных друкованых 2», т.е. 2 заблудовских Евангелия 1569 г. В этой описи также по-прежнему числится «Сборник на паргамине писаный» – знаменитая Супрасльская рукопись XI в.

Репертуар латинской части библиотеки представлен в основном произведениями различных проповедников и толкователей Священного Писания; книгами полемическими, в основном антипротестантскими; множеством литературы по церковному и гражданскому праву; различными словарями; книгами по истории.

Репертуар польских книг представляют в основном книги нравоучительные, проповеднические. Значительную часть польскоязычной литературы в описи 1645 г. составляли книги полемической направленности. В отличие от латинских полемических книг, носивших преимущественно антипротестантский характер, в польскоязычных полемических книгах отражена в основном полемика с православием: «Antygraph na skript uszczypliwy», «Anthelenchus, to iest odpis na skrypt uszczypliwy». Среди польскоязычных книг – известное сочинение Я. Кохановского «Satyr» – «Satyra Kochanowskiego x.1»; знаменитая хроника Матея Стрыйковского.

Следующая опись Супрасльского монастыря составляется в 1668 г.⁹ По сравнению с описью 1645 г. число книг в монастырской библиотеке уменьшилось с 587 до 371 книги, что было вполне объяснимым явлением, если учесть, что на этот промежуток приходятся изнурительные военные действия, в том числе тяжелые польско-российские войны.

По описи 1668 г. числились 371 книга, из них 194 – кириллические, 105 – латинские, 72 – польские книги. Уменьшение числа кириллических книг по сравнению с 1645 г. было не столь значительным, как для латинских и польских книг. Их количество уменьшилось почти вдвое – с 353 до 177 книг в 1668 г.

Основная часть кириллических книг в описи 1668 г. осталась той же, что и в описи 1645 г., но есть и новые прибавления. Появляется несколько полемических сочинений – «Дискурс о походе Духа Святого 1», «Оборона собору Флорентского 1». В опись книг вносятся и два супрасльских Поминника «Поминник писанный 1» и «Другий Поминник на пергамене 1».

Количество латинских книг по описи 1668 г. значительно сократилось, хотя репертуар латинской книжности остался почти без изменений. Появляются и новые латинские книги. Это труды Цицерона, Овидия, халдейская грамматика «Gramatika Chaldeika 1».

Количество польскоязычных книг уменьшилось, но их состав также не претерпел больших изменений: в основном это книги нравоучительные; книги Священного Писания и толкования его; книги полемического содержания, направленные в основном против православных.

Анализ репертуара книжных собраний библиотеки Супрасльского монастыря 1645, 1668 гг. наглядно демонстрирует небывалую активизацию процесса взаимодействия, взаимопроникновения двух европейских христианских миров – восточного и западного. В культурное пространство Slavia Orthodoxa вливается мощный поток латино- и польскоязычной литературы. Встреча Востока и Запада происходит в большей мере не в форме равномерного слияния, а динамичного столкновения. Западное явно не может подчинить себе восточное, а лишь дополняет его, что проявилось в бережном отношении к мощному пласту кириллической книжности, которая издревле бытовала в этом обширном крае, на территории польско-восточнославянского пограничья, и которая как самая большая, неотчуждаемая драгоценность хранилась в Супрасле в «скарбцу».

Вместе с тем, на том же пограничье и в том же пространстве мы наблюдаем противоборство католического и протестантского, а также активную полемику и даже борьбу с православием.

О книжных собраниях Супрасльского монастыря в XVIII в. мы можем судить только по краткой сводке наличия книг в монастыре из неопубликованного инвентаря 1764 г., сделанной архимандритом Николаем Далматовым¹⁰. Здесь мы впервые видим четкое разделение имевшихся в то время в монастыре книг на «Церковно-богослужебные книги» и собственно «Опись Библиотеки».

Латинские и польские книги в тот период составляли в библиотеке абсолютное большинство – 1141 книга. Среди них превалировала латиноязычная литература – 836 книг. (Ср.: в библиотеке Славяно-греко-латинской академии в Москве согласно описи 1740 г. было 969 книг, из которых 545 были на латинском, 122 – на русском, 29 – на польском языках¹¹.)

Далее в кратком перечислении книг следуют разные книги «на французском и итальянском» языках – 140 книг, книги на немецком языке –

12 книг, без указания на языковую принадлежность упоминаются «книги писанные богословские и философские» – 60 книг. Книг «писанных и печатных на славянском языке» в «Описи Библиотеки» перечислено 102, что вместе с 78 кириллическими книгами, описанными в разделе «Церковно-Богослужбные книги», составляло 180 рукописных и печатных книг.

В первой четверти XIX в. Супрасльская библиотека с невероятной быстротой превращается в своего рода славистическую исследовательскую лабораторию мирового значения, в которой предстояло сделать ряд важнейших научных открытий. В числе основателей этой «лаборатории» одним из первых должно быть упомянуто имя о. Михаила Бобровского, открывшего миру знаменитую Супрасльскую рукопись XI в.

Современники из числа видных русских исследователей считали М. Бобровского «польским ученым»¹², В. Капитар называл его «prolascogusse Bobrowski de Vilna»¹³. Незнание учеными из европейских столиц реалий жизни на пограничье Востока и Запада континента, прежде всего в сфере религиозной и этноконфессиональной, заставили П. Бобровского, племянника о. Михаила Бобровского, дать такое весьма важное разъяснение, касающееся его дяди, в 1815 г. принявшего священнический сан, а в 1817 г. ставшего брестским каноником: «А. Востоков, а за ним и г. Бем, называют его ксендзом, но обыкновенно его титуловали каноником. Каноник (латинское) все равно, что русское протоиерей (греческое). И эта замена греческого или русского названия латинским произошла в унии в XVIII веке и удерживалась до 1829 года, когда Брестский каноник Бобровский высочайше назначен соборным протоиереем Жировицкой униатской кафедры. Ту же ошибку повторяет и Срезневский с тою разницею, что называет Бобровского то ксендзом, то патером. Мих. Бобровский возведен в сан Брестского кафедрального каноника в 1817 году. Русское общество в то время не в состоянии было делать различия между римско-католическим ксендзом или патером и униатским священником или иереем. Так приучили смотреть на белое духовенство, остававшееся единственным носителем русской старины в губерниях, от Польши присоединенных, обманчивая внешность и подчинение униатов римскому папе. В мнении русского общества униат мало чем отличается от католика, а житель западной губернии – от поляка. Даже западные губернии, от Польши возвращенные, назывались польскими. Между тем поляки последователей греко-униатской церкви называли русскими и их исповедание – русским. Так перепутались понятия даже в среде наиболее образованного класса в России; даже теперь иные образованные русские Литву называют Польшею»¹⁴.

Рукописные заметки самого М. Бобровского позволяют утверждать, что он уверенно относил себя к кругу «наши побратимцы», в котором перечисляет славян христианской ветви *Slavia Orthodoxa* «Русинов, Козаков, Болгар»¹⁵. Следует отметить, что церковнославянский язык М. Боб-

ровский «знал с детства», а родным его языком был «простой», местный разговорный язык, на котором он произносил проповеди. Основными литературными языками были для него польский и латинский.

Согласно неопубликованной и потому неизвестной широкому кругу исследователей описи Супрасльского монастыря 1829–1830 г.¹⁶, в библиотеке в этот период насчитывалось 1473 книги (не считая тех 29-ти книг, которые были взяты из библиотеки под расписку для работы о. А. Сосновским и 18-ти книг, взятых под расписку о. М. Бобровским).

Интересной особенностью этой описи является отсутствие деления книг по языковому принципу, как в предыдущих описях. Книги описаны по функционально-содержательным разделам без разбивки по языковому признаку. Так например, в разделе «Manuskrypta» перечислены перемежку кириллические, латино- и польскоязычные рукописи.

Наиболее полной и подробной является неизвестная широкому кругу исследователей опись библиотеки Супрасльского монастыря 1836 г.¹⁷. Обширная информация, содержащаяся в этой описи, представляет собой богатейший материал для самых различных исследований, является ценнейшим источником для изучения состояния духовной культуры польско-восточнославянского пограничья, анализа итогов взаимодействия мира *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Romana* к началу XIX столетия.

В описи 1836 г. перечислены 1862 книги, выделенные в 6 основных отделов по языковому признаку: «Библиотека древних языков» (1067 книг), «Библиотека славянская» (129), «Библиотека французская» (55), «Библиотека немецкая» (21), «Библиотека итальянская» (110), «Библиотека польская» (375), и седьмой отдел – это «Библиотека книг, не принадлежащих к духовному просвещению» (105). Для каждой книги приводится имя автора, если он известен, название книги, год и место издания, если они указаны, а также вид переплета. Каждый экземпляр книги имеет свой отдельный номер, причем дублетных экземпляров в библиотеке почти нет.

Раздел «Библиотека славянская» в 1836 г. насчитывал 129 рукописных и печатных книг, по количеству ровно столько же, сколько их было в монастыре до 1532 г. согласно первой описи библиотеки 1557 г. Состав этих книг за прошедшие сотни лет, конечно же, изменился, но среди них сохранилась и часть тех рукописей, которые заложили в XVI в. основу библиотеки Супрасльского монастыря. Так, например, здесь можно видеть «Св. Григория Папы Римского Беседы на паргамино» (запись № 1093), «Поучения Дорофея Аввы и жития св. Иоанна Златоустаго» (запись № 1172), которые были в списке книг, поступивших в библиотеку Супрасльского монастыря до 1532 г.

Среди 129 «славянских» книг по описи 1836 г. числится 30 книг печатных, в том числе заблудовское Евангелие учительное 1569 г.; Библия, изданная в Москве в 1757 г.; Номоканон (Киев, 1620); «Служебник печатный»

таннный Мамоничем» 1616 г.; Служебник (Стрятин, 1604); «Молитвослов печатанный» (Москва, 1682); «Миня общая» (Москва, 1796); «Книга Иов» Франциска Скорины (Прага, 1517); «Грамматика славянская» Мелетия Смотрицкого (Евье, 1619) и целый ряд других.

Самой многочисленной и представительной была «Библиотека древних языков», основную часть которой составляла латиноязычная книжность. Здесь было и небольшое количество греческих книг. В «Библиотеке древних языков» в основном представлена богословская литература, а также труды по философии, словесности, истории, математике.

Польскоязычная литература в описи 1836 г. – вторая по численности. Основную часть ее составляли издания, отнесенные составителями к отделению «Проповедники». Это в большинстве своем разного рода «Kazania». Среди них есть, например, произведения А. Довгялло, напечатанные в Супрасле (Записи №№ 1396, 1397); труды П. Скарги (Записи №№ 1412–1414).

Репертуарный состав книг библиотеки Супрасльского монастыря, согласно описи 1836 г., был необычайно разнообразным. Следует специально отметить колоссальную работу составителей этой очень обширной описи по разработке ими подробной системы классификации. По содержанию признаку книги разбиты на 7 основных разрядов, а в каждом разряде дополнительно есть еще 8 отделений. Практически все разделы и отделения представлены только при описании книг библиотеки древних языков. При описании же книг других библиотек количество разделов и отделений меньше.

Среди книг, находившихся в этот период в монастыре, были рукописные кодексы и различные издания, начиная от постинкунабул, напечатанные в самых разных уголках Европы. К одной из самых ранних относится «Книга Иова» Франциска Скорины, изданная в 1517 г. в Праге (запись № 1174).

География обозначенных в описи мест издания книг, поступивших в библиотеку Супрасльского монастыря, весьма обширна – более 100 из различных мест Европы. Так, например, из числа тех книг, где место издания обозначено, наибольшее количество было напечатано в Вильне – 173 книги; Варшаве – 140; Кракове – 128; Риме – 123; Кельне – 108; Венеции – 98; Лионе – 90; Супрасле – 39; Париже – 33; Львове – 25; Познани – 24; Вене – 19; Базеле – 14; Ченстохове – 10.

Наибольшее число латинских книг было напечатано в Риме – 86 и почти столько же было напечатано в Вильне – 85. Имелись и латиноязычные книги, напечатанные во Львове – 7 и Почаеве – 3, а также в Супрасле – 8.

Из польскоязычных книг наибольшее количество было напечатано в Вильне – 85; 69 книг – в Варшаве; 54 – в Кракове; 25 – в Супрасле; 23 – в Калише; 13 – во Львове; 2 книги в С. Петербурге и 1 – в Киеве.

Анализ всех выявленных описей книжных собраний Супрасльского монастыря наглядно и убедительно показывает, что, несмотря на все историко-политические и религиозные перипетии, в том числе принятие Брестской церковной унии, в данном литературном пространстве был сохранен культурный стержень, культурная основа, базировавшаяся на кирилло-мефодиевской книжной традиции. Именно «Библиотека славянская» стала ядром книжных собраний Супрасльского Благовещенского монастыря, преемника и крупнейшего продолжателя тысячелетней православной духовной культуры, в том числе и культуры книжной, литературной культуры. Супрасль оказался также и «трансформатором, передатчиком западной литературы в течение долгого времени»¹⁸ для огромного культурного пространства, расположенного восточнее его, включая Московскую Русь и Россию.

Примечания

- ¹ *Лябынец Ю.А.* Международная славяноведческая программа «История книжной культуры Подляшья». Минск, 1992. С. 3.
- ² *Топоров В.Н.* Функция границы и образ «соседа» в становлении этнического самосознания (русско-балтийская перспектива) // *Славяноведение*. 1991. № 1. С. 30.
- ³ *Липатов А.* Взаимодействие латинского Запада и византийского Востока: кирилло-мефодиевская традиция, истоки польской литературы и проблемы славянской взаимности // *Palaeobulgarica / Старобългаристика*. 1993. № 1. С. 78.
- ⁴ *Софронова Л.А.* Старинный украинский театр. М., 1996. С. 12.
- ⁵ *Липатов А.* Указ. соч. С. 79.
- ⁶ *Николай (Далматов)*, архим. Супрасльский Благовещенский монастырь: Историко-статистическое описание. СПб., 1892. С. 5–6.
- ⁷ Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа. Вильна, 1870. Т. 9. С. 49–55; Научная библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей. F58-B1993, B1994, B2001, B2002.
- ⁸ Археографический сборник документов... С. 185–205.
- ⁹ Там же. С. 229–243.
- ¹⁰ *Николай (Далматов)*. Указ. соч. С. 562–563.
- ¹¹ Описание документов и дел архива Синода. СПб., 1903. Т. 11. С. 842–844.
- ¹² Библиографические листы 1825 г. СПб., 1826. № 1. Стлб. 3.
- ¹³ *Vonazza S.* Bartholomäus Kopitar. Italien und der Vatikan. München, 1980. S. 211.
- ¹⁴ *Бобровский П.О.* Судьба Супрасльской рукописи, открытой доктором богословия, магистром философии и филологии М.К. Бобровским: Историко-библиографическое исследование. СПб., 1887. С. 4.
- ¹⁵ Научная библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей. F2-KC 35. Л. 14об.
- ¹⁶ Литовский государственный исторический архив в Вильнюсе. F634. Оп. 1. № 3.
- ¹⁷ Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге. Ф. 834. Оп. 1. № 3317.
- ¹⁸ *Голенищев-Кутузов И.* Славянские литературы: Статьи и исследования. М., 1973. С. 216.

Научное издание

Поляки и русские в глазах друг друга

**Утверждено к печати
Институтом славяноведения РАН**

Компьютерный набор, обработка авторских файлов, подготовка к верстке
М. И. Леньшина

Издательство «Индрик»

**По вопросам приобретения книг обращаться по адресу:
117334, Москва, Ленинский проспект 32-а,
Институт славяноведения РАН (для издательства «Индрик»)**

тел. (095) 938-01-00

тел./факс 938-57-15

E-mail: matt@got.mmtel.ru

**ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
17,0 п. л. Тираж 500 экз. Заказ № 597.**

